ISSN 0131-6044

РОМАН-ГАЗЕТА

2 (1104) 1989

ИЗДАНИЕ ГОСКОМИЗДАТА СССР
МОСКВА

Анатолий Знаменский

КРАСНЫЕ ДНИ

РОМАН-ХРОНИКА

ОБСУЖДАЕМ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 1988 ГОДА

Дорогие читатели! Редакция получила много откликов на романы и повести, опубликованные в прошлом году. С наиболее характерными из них мы намерены вас познакомить в этом и ближайших выпусках.

«Уважаемые работники редакции! Спасибо Вам за прекрасную книгу Балашова «Симеон Гордый». Ведь это XIII—XV вв. Это история нашего государства. Она для нас, читателей, является подарком... И появилась для нас проблема изучить XIII—XV вв. Поэтому слезно просим по возможности включить в Ваш список по выпуску «Роман-газеты» книги Балашова «Младший сын», «Великий стол», «Ветер времени». И конечно, очень хотелось бы иметь его повести «Господин Великий Новгород», «Марфа-посадница». Историю нашего государства должен знать каждый, и каждая семья должна иметь книги Балашова. Но где их взять! Вся надежда на Вас. От имени многих любителей книги нашего города просим Вас написать в журнале, возможен ли выпуск этих книг».

(Любители книги г. Волгограда, Мурашова В. А.)

«Очень Вам благодарен за произведения Дмитрия Балашова «Бремя власти» и «Симеон Гордый». Увлекаюсь историей Древней Руси, особенно до и в период татаро-монгольского нашествия. Жду теперь, что Вы напечатаете и первые ранние произведения Д. Балашова: «Младший сын», «Великий стол» — и более поздний «Ветер времени». Так как все эти произведения идут неразрывно друг за другом. А то получается, что выхватили кусок из середины цельного произведения. А ведь хотелось бы почитать и начало. Тем более что знакомиться с этими произведениями мы смогли и можем только благодаря Вам. В библиотеках этих книг не достать, идут по «черному списку», а в книжных магазинах вообще пустота, одна политическая литература. Прошу Вас ответить мне, когда Вы их намечаете напечатать».

(Копылов Лев Борисович, врач, пос. Усть-Нера)

Во многих письмах наших читателей содержится просьба издать в «Роман-газете» все без исключения книги Д. Балашова. Практически это равносильно изданию собрания сочинений. Поэтому мы вынуждены огорчить многочисленных поклонников исторической темы и замечательного таланта Д. Балашова: «Роман-газета» не вправе издавать собрания сочинений, наш статус — публикация лучших произведений из числа новинок, напечатанных в журналах или издательствах за последние 2—3 года. Что касается романа Д. Балашова «Ветер времени», то редколлегия нашего журнала предполагает включить его в план выпуска будущего года.

РОМАН-ГАЗЕТА 2
(1104)·1989
Основана в 1927 г.
ИЗДАНИЕ ГОСКОМИЗДАТА СССР МОСКВА

Анатолий Знаменский

КРАСНЫЕ ДНИ

РОМАН-ХРОНИКА

(Окончание)

6

Наступали тяжкие, критические для красной Москвы дни.

В середине августа белополяки захватили Житомир и Новоград-Волынский, петлюровцы ворвались в Фастов и Белую Церковь, вместе с Добровольческой армией двигались на Киев. Колчак отдышался и наступал на Тобольск, англичанин Мюллер с севера шел к Вологде и Петрозаводску, Юденич прорвался в окрестности Петрограда. Но главное совершалось на юге: корпус Мамонтова 18 августа взял Тамбов, до ставки Южного фронта, города Козлова, оставалось семьдесят верст. Штабы и прочие учреждения фронта начали упредительную эвакуацию. Близ Воронежа, по слухам, мамонтовские «волки» захватили на путях личный поезд наркомвоена Троцкого со всей хозяйственной обслугой, аптекой и любимым псом английской породы с обрезанными ушами. Сам генерал Мамонтов пожелал отобедать в салоне красного вождя и теперь приучал английского тупорылого бульдога ходить чинно подле его генеральского лампаса.

В штабе Миронова кто-то пустил слушок: комкор будто бы съязвил по этому поводу, что сбылась-таки давняя мечта товарища Троцкого о глубоком рейде казачьих частей. Другие слышали, что Миронов в горячности называл Троцкого предателем и кричал, что никакой он не коммунист, а базарный жид и махинатор...

Вполне возможно, что Миронов и позволил себе такую дерзость: военные сводки летели из высших штабов, как осенние листья, и все ложились к нему на стол. И что делать прикажете в нынешней нелепой и жуткой обстановке, как не дерзить и не смеяться сквозь слезы? Мамонтов прорвал фронт на том самом месте, под станцией Анна, где месяц назад началось формирование корпуса Миронова. Если бы не эти подлые передислокации! Сейчас нудятся части

Начало см. «Роман-газета» № 1, 1989 г.

без дела в Саранске: четыре тысячи бойцов пехоты, около тысячи конных казаков, голутвенной партизанской бедноты, каждый из которых отчаюга, «оторви да брось!», готов хоть сегодня идти лавой на кадетов... А с ними всего четырнадцать пулеметов без патронов, две пушки с запасом учебных холостых снарядов, две тысячи винтовок с единой обоймой патронов в каждой магазинной коробке! Кто и над кем тут вздумал шутить? Что на свете творится?

И что делать, Миронов?

Написал в Казачий отдел письмо: «Мне доподлинно известно, что некоторыми политработниками поставлен в центре вопрос о расформировании корпуса... Это работа предателей, требую открытой политики со мною и исстрадавшимся казачеством!» Ждал неделю, ответа не было.

...Кутырев, сволочь, не без ведома Ларина, на последнем митинге пытался высмеять перед бойцами: «Вы, товарищ Миронов, не потому ли сопротивлялись в душе передислокации корпуса из-под Липецка в Саранск, что вашей драгоценной супруге, которая находилась в тягостях, было бы тряско на нынешних поездах? А?» И что же, кое-кто услужливо захохотал подхалимски-собачьим смешком, превращая обычный спор и выяснение причин в пошлый содом! Смеются, сволочи, у гроба революции, за которую лучшие люди... цвет народа... сотню лет уже борются, жизни свои кладут! Смеются под сатанинский хохот карателей Мамонтова и Шкуро! Им что, им, возможно, и выгодна со шкурных позиций эта волокита в корпусе: чем больше неразберихи, тем дольше не пошлют на фронт под огонь того же Мамонтова, который, слышно, идет, собака, чуть ли не под колокольный звон, «освобождает поруганную Русь»...

А тут — эти... Лисин и Букатин! Услышали, что в штабе свара, тут же за наганы! Размахивали кулаками и наганами, ходили по лагерю и кричали, что разнесут скворечник — так они называют штабной вагон командира корпуса, — вот до чего партизанщина довела! И вот до чего дожил ты, Миронов, боевой командир!

Приказал обоих арестовать, посадить под замок. Что еще?

Народ портится, вот что главное. Слишком много любопытных, а то и недоброжелательных взглядов, нелепые шепотки вокруг... Перестают люди верить, охватывает уже многих и странное равнодушие: эта катавасия, мол, долгая, теперь уж любой конец был бы хорош! О, люди, люди — почти как в стихах у Некрасова, которые он читал когда-то, еще молодым, в новочеркасской гауптвахте:

Когда являлся сумасшедший,
Навстречу смерти гордо шедший,
Что было в помыслах твоих,
О Родина!
Одну идею
Твоя вмещала голова:
«Посмотрим, как он сломит шею!»

Были стихи и еще более грустные, чуть ли не заупокойные:

Блажен, кто в юности слепой
Погорячится и с размаху
Положит голову на плаху...
Но кто, пощаженный судьбой,
Узнает жизнь, тому дороги
И к честной смерти не найти...

Много писем поступало с Юга, с Дона. И вот одно — от Блинова. Боже мой, не ему бы, отчаянному коннику, писать, не твоим бы глазам читать, Миронов!

«...Меня, Филипп Кузьмич, за Донцом тоже разжаловали, сделали командиром полка, а потом послали в Усть-Медведицу и там начали формировать новую кавгруппу. Поэтому знаю лишь из вторых рук, как наши бедствовали на переправах... А в хуторе Александроневском 2-й кавполк был окружен в десять раз превосходящим противником, при прорыве из окружения погиб комполка, наш незабвенный друг т. Мироничев... Пока дошли до Селивановки и Добринской — без остановки, — много погибло, а на переправе через Чир потеряли весь обоз и два пулемета... Такие вот успехи, дорогой Филипп Кузьмич! Да и с этой «группой» тоже. Непрестанная работа в тылах, неумение комдивов пехотных использовать конницу... Наша 23-я бригада потеряла больше половины состава, полное истощение лошадей, и ропот людей. Выбыло из строя пять компослков...» [1]

«Граждане, обратите внимание! — чуть не закричал Миронов от душевной боли. — Генерал Мамонтов бьет безнаказанно красную кавалерию, которую собрал и обучил воинскому умению сам Миронов! Бьет — не умением, правда, а числом, но ведь не легче от этого, не легче!» А что сделаешь в нынешнем положении?

На миг возникла почти шальная, предерзостная мысль: а если бы со своей бывшей дивизией, неудержимой в атаке и беспощадной, как божья кара, появиться бы с нею сейчас в тылу Мамонтова? А? Чтобы у них глотки перехватило от панического вопля: «В тылу — Миронов! Спасайся кто как может!»

Горячая кровь ударила в голову. Заколотило в виски от полубезумной мысли, как бывало в конной атаке, в рубке, когда человеком владеет смесь отваги и помрачения духа: без атаки, без сражения даже можно одним паническим криком остановить, смять, разнести в пух и прах весь мамонтовский корпус! Как бывало весной, когда они сдавались десятками полков на милость Реввоенсовета ударной группы войск под Морозовской и у самого Донца!

Да. Можно было бы с одной 23-й дивизией повернуть весь фронт острием к югу, да где она теперь, родная 23-я? Стоит на отдыхе, где-то под Царицыном...

Миронов ходил по кабинету из угла в угол как затравленный в клетке, стиснув виски руками, думал на пределе сил. Мысль начала работать более трезво, но из этой трезвости все основательнее вставал почти

---

[1] Боевой путь блиновцев. Ростов-на-Дону, 1930, с. 41—42; Ставропольская, имени Блинова. Ставрополь, 1971, с. 27.

сумасшедший рейд с недоформированным корпусом и одной — зато мироновской! — дивизией в тылы Мамонтова.

Да!.. Можно разгромить арьергард, забрать обозы с продовольствием и, главное, боезапасом, отбить пушки! Рассеять головные части Деникина, пленить самого Мамонтова, черта, а после доложить Ленину о главной причине всех наших провалов, о прямом предательстве наркома Троцкого со всей его свитой!

Спокойнее, спокойнее, Миронов. Ведь нет приказа, ты не имеешь права поднять корпус, штаб фронта, безусловно, не одобрит такого самоуправства... Да. Но вокруг идет не какая-то другая война, а именно г р а ж д а н с к а я! На панику под Воронежем и Тамбовом разве был приказ? На катастрофическое бегство 8-й и 9-й армий разве были санкции штабов?..

Миронов вызвал Булаткина, первого своего помощника по строевой части. Сказал, чтобы садился на диван и внимательно слушал, что пишут нынче Миронову земляки с Дона. Оттуда, где и сам Булаткин родился.

Первая бумажка была мятая, страдательная, попавшая сюда не почтой, а через десятки рук и карманов попутных людей. Но лежала она выглаженно и аккуратно в папке. Той самой, где много уже собралось писем, донесений и жалоб личного характера. Миронову писали и многие гражданские лица, обиженные красноармейские вдовы.

— Слушай, Константин Филиппович... «И вот, дорогой наш Филипп Кузьмич, изболевшись душой после ранения и немочи, оглядевшись кругом из голодного угла, должен я донести до тебя нынешний людской вопль и стон с родной твоей Донщины и обратить слова к тебе, равно как к давнему патриоту Земли Русской Сусанину: «Куда ты завел нас — не видно ни зги!» И белые нас казнят заживо за службу нашу совдепу, а теперь нас отдали им дуриком, без боя, и красные нас тоже не дюже милуют, не доверяют, как бывшим «каинам» с девятьсот пятого, какими мы, большинство, и не были... Куда деваться, скажи, потому что в нашем положении больше помочи ждать неоткуда! Многие тут из бывших тифозных и ранетых отсиживаются по буеракам, по сараям и котухам соседским и рады бы подмогнуть советским войскам, а ну как ихние ревкомы опять начертятся на нас да начнут шерстить, как весной?..»

Прочитал и посмотрел пронзительно на Булаткина. Булаткин сжал толстые свои скулы огромной ладонью — усы остро торчали в стороны, — сжал так, что багровой кровью налилось лицо и слезы выступили на глазах бывалого комбрига и краснознаменца. Но ничего не сказал Булаткин, нечего было говорить, надоели за последнее время всякие слова. Слов было ужасно много, а патронов и снарядов мало, военного соображения и того меньше, если фронт уже подкатывался к самой Туле!

А Миронов еще перелистал странички, молча, со вздохом, перекинул, не читая, и предсмертную записку своего бывшего комиссара Ковалева («Вы же знаете, Филипп Кузьмич, что ваша жизнь нужна народу и революции!..») и грохнул кулаком по столу:

— Слушай, Константин Филиппович! Мы с тобой — вояки, привыкли и смерти в глаза глядеть, так неужели теперь... сомлеем, а? Ты слушай! Слушай, как обернулись наши дела на Дону. Ковалев наш, председатель и комиссар, умер от чахотки и душевной боли по правде-истине народной, Подтелкова и Кривошлыкова повесили белые повстанцы, Селиванова тоже повесили чуть позже, Селиверстова закопали живьем в землю под Урюпинской! Макар Филатов, славный казак из 1-го сводного, погиб в честной атаке с клинком в руке... Мой бывший друг и народный комиссар Дона Петро Алаев расстрелян рядом с Подтелковым в хуторе Пономаревском, умный и демократичный офицер Лапин зарублен пьяными казаками как бы случайно... Куда же все идет, Костя? Какая такая сатанинская сила обрушилась, обернулась на наши головы? Неужели останутся на Дону одни Ларины и Сырцовы, продадут народ скопом, за тридцать сребреников, а то и вовсе бесплатно, за одни красивые слова? Мы с тобой, полномочные представители красного Дона, сидим чуть ли не взаперти, связанные по рукам и ногам. Восчувствуй это, брат, до глубины души и вникни в этот панический крик из тылов: «Куда ты завел нас, Миронов? Не видно ни зги!» А я ведь и сам, откровенно, ни черта не пойму, что делается-то кругом! Не пойму — и все!

Булаткин продолжал молчать, а Миронов в возбуждении вскочил и начал ходить по салону, размахивая перед собой сухим крепким кулаком.

— Теперь о политике и жизни, Константин! Вот простейшее рассуждение, смотри: если окончательно обескровить, уничтожить мужика — я имею в виду середняка-производителя, — то ни в городах, ни в самой деревне не станет хлеба, еды, опоры, все мы попросту сдохнем с голоду! И все же уничтожают, стараются обескровить самый трудовой костяк России. Тогда что же, какова же дальняя цель? И чья? Не допускаю, что это правительственная, партийная линия!

Булаткин, тяжелый не столько на подъем и свой клинок, сколько на слово, подумал и с усилием проговорил:

— Это верно. В этом Реввоенсовете руководят по правилу: полюби меня черненьким або смугленьким, а уж беленьким-то уж всякий полюбит! Чья-то злодейская рука орудует прям на наших глазах, а понять и точно взять в пулеметный прицел али на мушку, ну никак не получается!

— Вот-вот, угадай эту подлую руку, Филиппыч, и ты будешь причислен к сонму мудрецов! Выхода нет у нас никакого, письма до Ленина не доходят, их просто перехватывают. А потому прошу тебя, боевой командир и соратник, понять всей душой то, что я сейчас стану диктовать на аппарат в Пензу. Нехай почешутся там, чинуши!

Миронов вызвал связиста и велел передать шифром по телеграфу:

Срочно
Пенза. Штаб 9-й армии

Прошу передать Южному фронту, что я, видя гибель революции и открытый саботаж с формирова-

нием корпуса, не могу находиться в бездействии. Зная из полученных с фронта писем, что он меня ждет, ВЫСТУПАЮ с имеющимися у меня силами НА ЖЕСТОКУЮ БОРЬБУ С ДЕНИКИНЫМ И БУРЖУАЗИЕЙ.

На красных знаменах Донского революционного корпуса написано:

Вся земля крестьянам.

Все фабрики и заводы рабочим.

Вся власть трудовому народу в лице подлинных Советов рабочих, крестьянских и казачьих депутатов, избранных трудящимися на основе свободной социалистической агитации.

Я не одинок. Подлинная, исстрадавшаяся душа народа по правде — со мной, и в этом — залог спасения революции.

Все так называемые дезертиры присоединяются ко мне и составят ту грозную силу, перед которой дрогнет Деникин и преклонятся коммунисты.

Командующий Донским революционным корпусом гражданин *Миронов*.

ЗОВУ ВСЕХ, ЛЮБЯЩИХ ПРАВДУ И ПОДЛИННУЮ СВОБОДУ, В РЯДЫ КОРПУСА!

23 августа[1].

Телеграфист с некоторым недоумением посмотрел на командующего, хотел что-то спросить или уточнить, но взгляд Миронова, обжигающий нетерпением, отослал его в аппаратную комнату. Там застучал ключ связи, а Миронов вновь начал ходить из угла в угол, молча жевал ус. Лицо опять стало чугунным, готовым в атаку, бешеную сечу, а хоть бы и на казнь — двум смертям не бывать.

— Это могут расценить как мятеж, — сказал Булаткин, не ожидавший такого поворота от их беседы.

— Черт с ними, выхода нет! — на ходу выпалил Миронов. — Лучше смерть в открытом поле, чем возмущение на печке при виде народных мук!

— Это-то так, — немо, безвольно кивнул Булаткин, холодея душой.

— Собрать митинг, и в поход!

Булаткин вздохнул с великой тяжестью и предложил:

— Давай, Филипп Кузьмич, отложим это до завтра, все — и митинг, и поход. Утро вечера мудренее. Да и твой доклад в Пензу тоже пускай прочтут там... Так лучше будет.

Душа по-прежнему металась в безысходности, Миронов кивнул, соглашаясь:

— Добро. Утром соберем штаб и митинг.

Поздно ночью состоялись переговоры со штабом в Пензе, но Миронов ничего не добился: волнение и раздражение приводили к сбивчивости и ненужному многословию. Подошел к аппарату, сказал угрюмо и не ожидая добра: «Я Миронов. Слушаю».

Смилга. Я получил сведения, что вы собираетесь выступить со своими частями на фронт без ведома Южного фронта. Должен вам сообщить, что в связи с прорывом деникинцев на Тамбов Южный фронт покинул Козлов... Тамбов сегодня нами взят. Я категорически настаиваю, чтобы вы своими несогласованными действиями не затрудняли бы положение наших армий. Доложите мне ваши намерения.

Миронов. Согласованности не может быть там, где начался саботаж по созданию корпуса, формировать который я назначен. Вокруг меня такая атмосфера, что я задыхаюсь. Фронт определенно нуждается во мне, и это звук не пустой. Никакого осложнения на фронт не принесу, а принесу только моральную поддержку и силу штыков дивизии. Я согласен влиться с сотней преданных мне людей в родную дивизию, лишь бы не переживать тех душевных мук, которые преследуют меня с 15 июля. Моя платформа ясна: борьба с Деникиным и буржуазией. Но выносить издевательства над собой и людьми вообще не могу... Изменником революции не был и не буду, хотя именно это пытаются доказать люди, на совести которых много пятен...

Смилга. Речь идет сейчас о дисциплине...

Миронов. Если вы, тов. Смилга, имеете чутье государственного человека, то я тоже категорически настаиваю не препятствовать мне уйти на фронт. Я хотел бы, чтобы мою жизнь взяли на спасение революции... Я утратил всякую веру в людей, стоящих у власти, и вынужден не утрачивать веры в идею народных масс... Над моей докладной запиской от 16 марта в Реввоенсовет, видимо, посмеялись, а если бы она была принята во внимание, не было бы теперь местного фронта.

Смилга. Меня зовет Москва к проводу по поводу вашего выступления. От имени Реввоенсовета Республики приказываю вам не отправлять ни одной части без разрешения!

Миронов. Уезжаю один, но жить здесь не могу, меня жестоко оскорбляют.

Смилга. Приезжайте в Пензу, здесь сейчас командующий Особой группой Шорин и Трифонов, сообща решим план действий. Не создавайте сумятицы.

Миронов. Выехать в Пензу не могу, ибо не верю в безопасность...

Смилга. Вашей безопасности ничто не угрожает. Это я заявляю вам официально.

Миронов. Прошу разрешить конвой в 150 человек.

Смилга. Хорошо, возьмите 150 человек и приезжайте немедленно.

Миронов. Прошу поставить в известность 23-ю дивизию, что я вызываюсь в Пензу... Только вам, как человеку, которому я глубоко верю, товарищ Смилга, я поручаю себя.

Смилга. Выезжайте немедленно. Вполне уверен, что все недоразумения разрешим. Спешу на аппарат. До свидания...

Через некоторое время телеграфист отбил в Пензу дополнительно: «Тов. Миронов ушел и просил сказать, что с его гибелью погибнет Южный фронт... А вот тов. Скалов просит сообщить, где ему находиться в отсутствие Миронова?»

---

[1] ЦГАОР, ф. 1235. По докладной М. Я. Макарова во ВЦИК.

Смилга. Пусть Скалов приезжает вместе с Мироновым. Знает ли Скалов разговор?

Телеграфист. Все знает.

Смилга. Хорошо. Ждем...

Все, слава богу, утряслось. Повеселели глаза у Миронова. Сказал Булаткину мягко, осевшим голосом:

— Едешь со мной. Все уладим. Распорядись там насчет конвоя...

Казаки комендантского эскадрона начали седлать лошадей. Засыпали овес в переметные сумы, подтягивали подпруги. Ехать в седлах собирались вроде до Рузаевки, а там — поездом.

Миронов с Булаткиным и Скаловым пили утренний чай у открытого окна, переговаривались. Волнение спадало.

Влетевшая в окно оса пожужжала вокруг самовара, словно определяясь среди незнакомых предметов и запахов, и уверенно влетела в опустевшую фаянсовую баночку из-под пчелиного меда. Там, на самом дне, еще обсыхала сладкая сахаристая корочка.

— Чует, окаянная, куда ей надо, — засмеялся Булаткин благодушно.

— Лето кругом. Благодать, — вздохнул Миронов. — Глаз бы не отрывал от этих лесов, от земного цветения. А тут...

— Лето... — подтвердил и Скалов.

Внезапно к вагону прискакал Михаил Данилов на запаленном коне — он ездил с нарядом в Рузаевку, его все ждали. Вбежал в вагон, не похожий на себя от злобы; от его беспечной улыбчивости и следа не оставалось. Миронов еще от стола понял, что на станции не все ладно, поднялся навстречу.

— Так что ж, Филипп Кузьмич, насмехаются над нами, что ль?! — закричал Данилов, минуя уставные правила. — Там ни черта не знают, ничего слухать не хотят! Этот комендант станции... св-волочь, Мурашов! Я, говорит, вас обязан арестовать, а не вагоны вам выделять!

— Что-о? — почернел от гнева Миронов.

— Там был еще один политработник с Восточного фронта, проездом, товарищ Муралов, так он выслушал нас, говорит: надо поезд Миронову предоставить, а тот — нет, и все! И отбил, гад, телеграмму прямо в Серпухов, что Миронов-де самовольно требует состав!

— Как это так самовольно? Телеграмма же! — выругался Булаткин. — И точно сказано было: не вошь точит, а гнида!

Миронов молча оглядел присутствующих, сдерживая бешенство, спросил Михаила со скрытой издевкой:

— Говоришь, Данилов, что приезжий политотделец советовал вагоны Миронову дать? Видишь, со стороны оно видней! А-а, св-воло-чи, заговорщики проклятые, что делают, а?! Там, под Тамбовом, кровь рекой льется, а им хоть бы что, хоть трава не расти!

Он сорвался.

Вызвал адъютанта Соколова, приказал созывать митинг к выступлению на фронт.

— Вы не должны этого делать, товарищ Миронов, — перешел на служебный тон Скалов. — Это будет мятеж.

— Все, все! Разговоры окончены! — закричал Миронов. — Поведу корпус на Дон, к родной дивизии! Там много оружия, целые склады резерва, есть и снаряды. Остальное отобьем у белогвардейцев! Сейчас же, на митинге, опрошу каждого из командиров, кто со мной — тот и друг! Я им покажу! И Мамонтову, и этим гадам, слизнякам ползучим, что забрались к народу за пазуху!

— Товарищ Миронов... — увещевал Скалов. — Так же нельзя!

— Митинг, немедля! — словно в истерике закричал Миронов.

ДОКУМЕНТЫ

По телеграфу. Военная

Пенза

Члену РВС Республики гражданину Смилге И. Т.
Копия: Всему трудовому русскому народу

От лица подлинной социальной революции заявляю: Первое — не начинайте со мною и корпусом вооруженной борьбы, ибо платформа наша приемлема: вся власть — народу в лице подлинных Советов крестьянских, рабочих и казачьих депутатов, избранных на основе свободной социальной агитации всеми трудящимися.

2. Первый выстрел принадлежит вам, и, следовательно, первую каплю крови прольете вы.

3. Доказательством того, что мы не хотим крови, служит то, что в Саранске остаются все коммунисты на местах.

Мною арестованы две недели назад два коммуниста за организацию покушения на мою жизнь — Букатин и Лисин, — но и в этом случае я их освободил бы, если бы не знал, что на совести этих бывших уголовных элементов лежит много невинно пролитой крови населения слободы Михайловки. С первым выстрелом с вашей стороны они будут расстреляны, как элемент, способствовавший восстанию на Дону и грязнивший партию коммунистов...

Если на этих пунктах соглашения возможны, КЛЯНУСЬ, что генерал Деникин будет разбит и Социальная Революция спасена. Если нет, погибла она и погибло преждевременное, уродливое явление — коммуна и ее вдохновители...

Донской корпус ждет от вас политической и государственной мудрости, чтобы общими силами разбить Деникина. Но если он [корпус] доберется до фронта, он сделает это один!

Командующий Донским корпусом
Гражданин Усть-Медведицкой станицы *Ф. Миронов.*
24 августа 1919 г. [1]

[1] ЦГАСА, ф. 430/24406, оп. 1, д. 1, л. 23.

ПРИКАЗ
Председателя РВС Республики
№ 150
12 сентября 1919 г.

Бывший казачий полковник Миронов одно время сражался в красных войсках против Краснова. Миронов руководствовался личной карьерой, стремясь стать донским атаманом.

Когда полковнику Миронову стало ясно, что Красная Армия сражается не ради его, Миронова, честолюбия, а во имя крестьянской бедноты, Миронов поднял знамя восстания.

Вступив в сношения с Мамонтовым и Деникиным, Миронов сбил с толку несколько сот казаков и пытается пробраться с ними в ряды Н-ской дивизии, чтобы внести туда смуту и передать рабочие и крестьянские полки в руки контрреволюционных врагов.

Как изменник и предатель, Миронов объявлен вне закона. Каждый честный гражданин, которому Миронов попадется на пути, обязан пристрелить его как бешеную собаку.

Смерть предателю!

Председатель РВСР *Троцкий* [1].

Выписка из протокола № 100
Казачьего отдела ВЦИК
30.IX.19 г.

Присутствовали: тт. Чекунов, Коробов, Кузюбердин, Кайгородов, Нагаев, Седельников и Долгачев.

Слушали: Доклад тов. Чекунова по поводу речи тов. Троцкого на общегородской конференции РКП(б) (Москва), в каковой т. Троцкий, докладывая о мятеже Миронова, упомянул, что вместе с Мироновым участвовал и один из членов Казачьего отдела Булаткин...

Постановили: Ввиду того, что... вопрос о мятеже Миронова находится в стадии расследования и выяснения виновных лиц... признать, что указание т. Троцким в своем докладе на участие в мятеже члена Каз. отдела не только не отвечает действительности, но и вообще преждевременно. Тов. Троцкий не доложил о доверии Миронову со стороны и центральной Советской власти вообще и военной в частности... Подтверждая о полной непринадлежности т. Булаткина к Казачьему отделу, довести до сведения т. Троцкого, что т. Булаткин (командир 4-й бригады 10-й армии, награжденный орденом Красного Знамени) прибыл в Москву 8 июля 1919 г. в качестве командированного для поступления в красную Академию Генерального штаба, куда, однако, за окончанием приема впредь до 15 сентября не имел возможности поступить.

Принимая во внимание положение и деятельность т. Булаткина, Казачий отдел... нашел возможным командировать его... во вновь формируемый Мироновым корпус... так как высшая центральная власть проявила полное доверие тов. Миронову [2].

---

[1] Троцкий Л. Как вооружалась революция, т. II, с. 292.

[2] ЦГАОР, ф. 1235, оп. 82, д. 4, л. 73.

Вне закона.
Россия Советская именем Троцкого отказывает Миронову в доверии сражаться за ее свободу...

О, эти двадцать дней вне закона — пятьсот верст немыслимого похода-бегства из мордовских лесов и болот к родным куреням, к молчаливо ждущей в далеких тылах, в неописуемой дали родной 23-й дивизии!

Двадцать дней без сна, в стычках с заградотрядами, демонстрациях атак без выстрела со своей стороны, дни и ночи тяжелых раздумий, ярости, веры и надежды на сумасшедший случай и удачу, споров с близкими друзьями, наконец — раскаяния и черного молчания наедине с собой и своей совестью.

Еще под самым Саранском, в пятидесяти верстах, и под Малым Умысом, а затем при переходе через железную дорогу мелкие части ополчения из Рузаевки и окрестных сел пытались окружить и задержать Миронова, но демонстрацией конной атаки кавалерия Миронова рассеяла ополченцев. У разъезда Симбухово ждал на путях бронепоезд, ахнул над головами конников разрывным с картечью, половина пехотинцев бросилась в лес и не вернулась в строй. Глянула им в глаза красная, огненная смерть. Миронов вызвал комполка Фомина, приказал демонстрировать ложную попытку прохода под мост, по руслу какой-то пересыхающей речушки. Пока поезд усердно обстреливал маячивших в низине конников, позади него развинтили и разобрали рельсы, взрыли полотно, основная масса пехоты и конница миновали железную дорогу невредимо. Отряд Фомина имел урон, но все же сумел искусными вольтами на виду бронепоезда отвлечь на себя внимание, а потом пропал в мелколесье, будто его и не было.

Вначале Миронову ничего не стоило пробиваться через эти мелкие заставы ополченцев, без единого выстрела, не проливая крови, только одним воинским мастерством побеждая неопытных, а часто и необстрелянных штатских вояк. Но вблизи наводненной войсками и штабами Пензы устрашающие приказы Реввоенсовета все же дошли до мятежного корпуса. И тут был конец всему предприятию Миронова: узнав, что весь поход признан высшей властью мятежом, а командир ихний вне закона, пехотинцы стали уходить открыто. Часть их сдалась властям для опроса и примерного наказания, другие рассеялись по окрестным рощам и веретьям, откуда их еще недавно выманивали уговорами и строгостями в Красную Армию.

Однажды на привале Миронов устроился в тачанке, расчехлил пишущую машинку и сам отпечатал два десятка писем-воззваний от лица красного командования к дезертирам, а также копии своего письма к Смилге. Эти листовки раздавали по дворам в тех деревнях, которые в дальнейшем приходилось миновать в пути. Были и митинги в некоторых селах. Но успеха Миронов не имел, никто не хотел вступать в отряд, признанный мятежным.

— Дохлое дело, — сказал по этому поводу Булаткин. — Тут одно слово «казаки» всех настораживает. Если бы мы были на Дону — другое дело!

От Большого Вьясса, что на пензенской дороге, шли с Мироновым только кавалерийские эскадроны, около тысячи человек, и во главе этого единственного полка, рядом с мятежным комкором ехал начдив-1 Булаткин с орденом Красного Знамени на линялой летней тужурке и с ним еще двадцать семь коммунистов, которых объединял теперь в группе Александр Изварин, бывший нарком по контролю в правительстве Подтелкова и Ковалева. По утрам Миронов здоровался с каждым из них за руку, подчеркивая этим свою расположенность к членам партии, и хорошо знал каждого в лицо. Почти все были земляками: Горбунов Иван, Багдасаров Павел, Клевцов Иван, Соломатин Илья, Моргунов Тимофей, Хорошеньков Илья, Савраскин Григорий, Данилов Михаил, Якумов Степан, Соколов Никандр, Страхов Кузьма, Чекунов Николай (брат члена Казачьего отдела ВЦИК Чекунова Федора), Малахов Дмитрий, Попов Никифор, Братухин Петр и другие. А латыш Оскар Маттерн был знаменосцем отряда, под охраной двух рядовых казаков и эскадронного Кирея Топольскова...

Неукоснительно выполнялся приказ Миронова: не стрелять по своим, хотя бы они объявляли войну. Мы — не мятежники, мы — солдаты революции, красные бойцы!

Впрочем, два-три раза разведчики из боевого охранения все же отстреливались; Фомин, повинившись, сказал, что стреляли мимо и в воздух, но видно было, что врет...

Пятьсот верст по проселкам Пензенской, Саратовской, Воронежской губерний к Хопру и Дону, к родной Медведице. Слезы из глаз!

Когда миновали Пензу, Фомин опять подъехал к Миронову и указал на два телеграфных провода, идущих по столбам вдоль проселка.

— На Балашов ведь провод, Филипп Кузьмич. А нам его миновать придется...

Миронов посмотрел на него, словно очнувшись.

Небо было хмарное, и на бегущих тучах едва заметны были эти два тонких провода, по которым бежала уже наверняка депеша: перехватить и задержать отряд Миронова в окрестностях уездного города.

— Порви связь, — сказал Миронов хриплым голосом. И отвернулся...

Близ поселка Беково вышли наконец к Хопру, еще очень узкому и маловодному в верховье. Но все же поили коней на белой, чистой песчаной косе, среди привычных по-домашнему красноталовых кустов. Обнимались, многие молодые казаки не скрывали слез.

Миронов успокаивал, как мог, скрывая внутреннюю тревогу и усталость:

— Ничего, ничего, дай бог миновать Балашов, а там!.. Там пойдем безлюдными местами... Как только соединимся с дивизией, возьмем артиллерию и патроны, так немедля бьем по тылу Мамонтова, товарищи! В этом наше спасение!.. Считанные дни! Важно обойти без потерь Балашов, потом еще Новохоперск... И не нарваться раньше времени на авангард Мамонтова, с этой стороны мы перед ним еще слабоваты...

Казаки посматривали настороженно: верит ли он сам в такую удачу, кто знает?

10 сентября были обстреляны под Балашовом и атакованы каким-то смелым отрядом при переходе через Хопер. Миновали брод, потеряв несколько человек убитыми, рассеялись по низкому левобережному займищу, и тут ударила гроза с холодным предосенним ливнем. Укрыла от посторонних глаз беглый отряд.

По всему видно, начиналась осень. Стали обкладывать землю дожди, туманы, раскисали дороги, по ночам в рощах низал холодный ветер. Кони закуршавели, опали телом, приходилось чаще делать привалы и дневки. Всадники обросли бородами, со стороны походили на разбойников. Кутались в башлыки, проклинали судьбу, но никто не пытался задеть Миронова — все понимали непоправимость избранной им дороги...

За Хопром отряд перестали тревожить, погоня отстала.

13 сентября, вблизи от станицы Аннинской, выехали из речной поймы на чистое поле. Дождь продолжал моросить, переходя опять на грозу, видимость сократилась. Лошади месили супесную грязь, охлюстались до брюха, всадники тряслись в седлах, как неживые. Миронов, с красными, набрякшими от бессонницы глазами, подсчитал дни похода и остающиеся версты до Глазуновки и Скурихи, где располагалась 23-я. И тут из дождевой мглы, дорожной слякоти вывернулся на усталом коне начальник разъезда Илья Хорошеньков, прокричал за пять шагов:

— Конные массы впереди, товарищ Миронов! — и тут же поспешил успокоить командира, зная общую опаску о возможной встрече с белыми. — Но, кажись, кони короткохвостые там, не чужие в общем!

— Хорошо смотрел? — спросил Миронов.

— Видите, дощ какой, товарищ Миронов, черт ли за них поручится! Вроде — короткохвостые...

Миронов натянул поводья усталого коня.

— Сделаем привал, ребята, покурим... Илюха, а тебе — наметом назад! Разузнать точно! Хоть вывернись наизнанку! — и обернулся к ординарцу Соколову: — Никандр, проверь сам, пожалуй, тут ошибки понесть никак нельзя.

Соколов с Топольсковым скрылись в обложившей степь дождевой мути. Миронов подозвал Булаткина и постоянного своего «квартирмейстера» Данилова. Совещались тихо, не скрывая близкой опасности. Что, если мамонтовцы на пути? Целый корпус, на взлете успеха и торжества, а нас — один полк, без пулеметов и патронов, с одними шашками, что же делать? Отходить?

Впервые в жизни Миронов почувствовал не только сердцем, но и всей похолодевшей кожей, что такое страх. Мгновенный испуг не только от предчувствия смерти, но от сознания краха всех его надежд, утери жизни как возможности борьбы за свое, кровное, за всех людей, знавших и любивших его, за молодую жену и любовь свою Надю, несущую в себе зачатие новой, маленькой, дорогой ему души...

Неужели не исполнятся его надежды теперь, в пятидесяти верстах от дивизии, как исполнялись они десятки и, возможно, сотни раз в боевых переделках?

Противная штука — страх, леденящий душу, напрягающий горло до того, что его перехватывает невидимой удавкой, глохнут слова, да и сама душа расстается с подлым, дрожливым телом...

Минут пятнадцать не было вестовых, Миронов сверился с золотыми, наградными от Реввоенсовета, часами, приказал протронуть коней вперед. Грязь зачавкала и заплескалась под копытами, усталые кони шли оступаясь. От крупов, поливаемых дождем, — пар... Миронов напрягал слух и зрение, хотел не упустить какого-то решающего мига, но ничего не проглядывалось пока впереди. Двигались, словно темной ночью, вслепую, когда ничего не видно впереди, хоть выколи глаз!

Наконец стал различим топот копыт, замаячили всадники, весь разъезд Хорошенькова с Топольсковым и ординарцем Соколовым.

— Ну, что там?

— Товарищ Миронов, свои! В версте — корпус Буденного... Но слышите? — они, черти, разворачиваются к бою! Аннинская у них в тылу, не пропущают нас!

«Черт возьми, откуда же тут корпус Буденного? Он же был под Царицыном, неужели ради нас перекинули в эти места? Или шел с фланга на Мамонтова да замешкался?.. Вот это, кажется, и в самом деле конец!»

Дождь все моросил, всадники стояли под башлыками, нахохлившись, и только ближний Соколов да еще Булаткин видели, как медленно бледнело осунувшееся, чугунное лицо Миронова.

Да, только что мелькнувшая надежда — а вдруг моя родная дивизия, мироновцы, соколики родные, вышли навстречу своему бывшему командиру?.. — такая пустая и наивная, но и такая сладостная надежда сразу рассыпалась прахом, и вот уже до очевидности все стало ясно, определенно не только на много дней вперед, но и на всю оставшуюся в запасе жизнь...

Теперь уже не было страха в душе, как и всегда в решительные мгновения боя, а только горючее, сжигающее душу сожаление. Все кончено. Не дошел каких-то пятидесяти, может, ста верст! Как во всех российских былинах и сказках — не хватило одного конного перехода, черт возьми! Всегда у справедливого дела короткие ноги, у честного человека не хватает минуты, шага, взгляда, слова, какого-то заколдованного мгновения для исполнения мечты и долга!

«Не дошел. Судьба!»

Взял в руки последнюю волю свою, круто обернулся к Булаткину:

— Костя! Перестроение. Духовой оркестр — в голову отряда! Знамя расчехлить. Знаменщиков — ко мне!

Робость пропала, кони и люди задвигались, подъехали латыш Маттерн и начальник караула Топольсков. Расчехленное знамя кровавым пятном поднялось над рыжеватой блеклостью осеннего дня. Провисло в мелкой кисейной пряже осенних дождинок.

Старший из духовиков на белой, широкой в крупе, выносливой кобыле поднес к мокрым, напряженным губам мундштук коротенькой трубы:

— Начали!..

— Шагом, вперед! — сказал Миронов.

Одиннадцать медных труб и пронзительно звонкие тарелки оркестра рванули и вознесли к небу плачущую и гневную мелодию «Интернационала». Эта угрожающая медная музыка подтянула сникшие ряды всадников, и даже умные, вышколенные строевые кони из последних сил взбодрились, подобрали крупы, мгновенно запросили повода и заплясали дробным перебором копыт.

— Умирать — так с музыкой! — сказал вполголоса беспечный по гроб жизни Данилов.

— За то я тебя и люблю, Миша, — так же тихо сказал Миронов.

Дождь ослабел настолько, что видимость была уже на добрую версту. Лежала во все края унылая, осенняя равнина с блеклыми травами, и в этой беззащитной открытости сближались две группы всадников. С одной стороны — две полных дивизии Буденного, готовых к бою, и с другой — жалкие остатки саранского корпуса, семьсот безоружных всадников на качающихся от усталости и запала конях, при одной учебной пушке без снарядов.

Оркестр играл «Интернационал», духовики понимали власть этой минуты и выжимали из себя все, что могли, чтобы поднять мелодию на самую высшую громкость и силу.

Миронов вынул свою именную серебряную шашку и, держа клинок почти вертикально, положил кончик его на погонный ремень у плеча — это был сигнал к вниманию. Быть, как в бою, не бежать, если бросятся оттуда в атаку или откроют пулеметный огонь, умирать героями.

Никто не мог бы сказать ему, что станет с его всадниками даже через мгновение. Их могли попросту вырезать из пулеметов, не допуская сближения и не тратя слов попусту. Но Миронов еще цеплялся надеждой за какой-то последний, непредвиденный шанс...

Если — не вырежут?

Если будет хоть минута общения с конармейцами.

Если под этот революционный, гремучий гимн затеять митинг...

Если сказать им...

Если...

На одном из митингов, в попутной деревушке, женщины-крестьянки заплакали от слов Миронова, бьющего тревогу за жизнь своего народа, и благословили его. Так неужели же здесь никто не поймет его заботы?

Какая тут у Буденного дивизия? Шестая или четвертая? Сальские казаки или калмыки из Второго Донского округа?

Черт возьми, если бы и вправду организовать митинг, отпраздновать встречу прославленных конников по-братски, как и следовало бы перед общим ударом по Мамонтову!

Если бы!

Панически и беспомощно металась душа, билась застигнутая врасплох мысль, не находя выхода, ведь там разворачивались к конной атаке.

Трубы оркестра гремели революционным восторгом, рокотали, и вдруг иная, жалостливо-щемящая нота забирала силу, кричала пронзительно по павшим в борьбе и падала ниц от сознания неисполнимости человечьих надежд. И вновь поднималась над степью резкая, разрывающая душу, медная песнь:

...проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов!
Кипит наш разум возмущенный
И в смертный бой вести готов!..

Медленно вбиравшее влагу корпусное знамя уже не плескалось и не вилось от движения воздуха и хода лошади, а мертвенно повисало над плечом и стременем знаменосца, большевика Оскара Маттерна. Латыш верил, что пока революционное знамя в его руках, никто не посмеет назвать его изменником и мятежником...

Миронов по-прежнему держал клинок в руке, давал команду «внимание», а впереди развертывались подковой эскадроны и полки чужого корпуса. Потемнело в глазах от усталости и перенапряжения. И вдруг, в гуле оркестра, в шорохе мокрой одежды, скрипе седел, Миронов расслышал далекий, еле слышимый и все же предостерегающий шепоток станичного деда Евлампия, встречавшегося ему волею судьбы в самые решающие минуты; старичок был слаб, но говорил когда-то вещие слова, выветрившиеся из сердца Миронова и вновь ожившие в тяжкий миг: «У Идолища — три головы, Филиппушка, запомни. Три головы!..»

С трех сторон охватывала черная подкова встречных всадников немногочисленный отряд Миронова, никакого боя здесь не могло быть даже и по силам, не говоря о том, что Миронов с самого начала запретил подымать руку на своих... Люди все уже поняли, ехали понурясь, и лишь трубачи все еще напрягали последние силы, ибо не имели права в такую минуту прерывать этой последней мелодии, песни великого порыва к подвигу и смерти. Звенела и плакала матовая от дождя медь:

Кипит наш разум возмущенный
И в смертный бой вести готов!..

— Гроб с музыкой! И чего они там дудят, черти? — сказал Буденный, стоя на крыльце крайнего дома в Аннинской, под жестяным навесом с резным петушком на коньке. Тут было сухо, над головой не капало, но звуки оркестра доносились явственно. Вестовой доложил, что мироновцев совсем немного: сот шесть, может, семь всадников, и кони здорово приморены. Оружия практически никакого, да стрелять они, вроде, и не собираются.

— Гроб с музыкой! — смеясь, повторил Буденный и обернулся к столпившимся вокруг помощникам. — Ока! Где ты? Стрелять не надо, наши там... Возьми в кольцо и прикажи разоружиться. Приказ Реввоенсовета! Вокруг Миронова — отдельный конвой. Этого белого гада, полковничка, нынче же под трибунал и — в расход!

Первый помощник комкора-1 и начдив-4 Городовиков, преотличный всадник и рубака, взгорячил своего свежего конька и помчался наизволок, в степь, откуда доносились звуки «Интернационала». Шевелилась впереди цепь его всадников, передового заслона на пути саранских мятежников-мироновцев.

В степи было мокро и неуютно, легкий брезентовый балахон сразу намок и встал коробом. Городовиков, опытнейший и бывалый кавалерист, понимал, как приустали кони мироновцев, как искали сухого пристанища казаки, а тут еще эта медная музыка прямо-таки разрывала душу, и приходилось забирать волю свою в кулак. Там были, конечно, мироновские казаки, но и сам Ока Городовиков по службе царской тоже был казак Второго Донского округа, носил красные лампасы... И Миронова в последних оперсводках, до мятежа, называли героем и красным начдивом, каким был нынче и Ока Городовиков... Как с ним разговаривать, когда он под красным стягом и с этим «Интернационалом», при медном оркестре? Красный, но — вне закона?

Приказ надо выполнять, надо разоружить этого бывшего героя.

Четвертая дивизия, сжимая полукруг, почти уже окружила группу всадников, держала карабины снятыми «на руку», настороженно ждала развязки. Мироновцы остановились, скучились... Оркестр обессиленно смолк... Усатый всадник у знамени вложил клинок в ножны, приставил ладони к лицу и прокричал негромко, очень просто, будто ничего особенного не совершалось вокруг:

— Командира части прошу ко мне!

Вот какой он, Миронов, важный... Чего захотел! Городовиков пустил шагом коня, подъехал ближе. В голосе от гнева прорвался акцент:

— Какой командир! Вы окружены, вне закона! Сложить оружие!

Миронов стоял в стременах, вытянувшись, как сполошный флажок на пике при добром ветре, снова приложил ладошки ко рту:

— Мы идем на Мамонтова, давайте не стрелять «свой своего не познаша»! Я прошу принять нас на красный митинг, выяснить всю нашу линию, за Советы!

А вот этого слушать Городовиков был не обязан. Еще вчера читали в штабе приказ Реввоенсовета о поимке и непременном расстреле бывшего полковника Миронова. Ни в коем случае не допустить соединения мятежников с бывшей мироновской дивизией. Об этом особо ихнему начальнику политотдела товарищу Перельсону звонил из станицы Глазуновской военный комиссар 23-й дивизии товарищ Лидэ и просил лично предпринять строгие меры. Говорил товарищ Лидэ, что Миронов, добравшись до родных станиц и старой своей дивизии, обязательно произведет переполох и склонит красноармейцев на свою сторону, за ним может пойти даже весь штаб во главе с начдивом Голиковым. В этом товарищ Лидэ не сомневается, авторитет Миронова здесь все еще силен...

Разговор был строгий. Ослушаться таких людей, как Перельсон и Лидэ, ни сам Буденный, ни начдив Городовиков, конечно, не могли.

— Никакой митинг! — закричал Городовиков. — Сложить оружие, вы все изменники и — вне закона! Сложить оружие, иначе буду стрелять пулемет! На тачанках ждут команды! Сложить оружие!

Миронов стоял еще несколько мгновений в стременах, глядя на приближающиеся с трех сторон тачанки, вздохнул и приказал складывать оружие.

Казаки из его отряда спешивались, складывали винтовки и шашки в беспорядочную кучу. Тихо, безропотно, устало, как оплошавшие в бою пленники. Булаткин гневно посмотрел на Миронова, осуждая за прошлое, за необузданный порыв, и снял с плеча ремень портупеи. Поцеловал полуобнаженное лезвие клинка у самого эфеса. Подержал еще на весу эту хорошую, геройскую, взятую в бою кавказскую шашку с богатой насечкой и бросил вместе с маузером в тяжелой кобуре в общую кучу.

— Не думал я, Филипп Кузьмич, что все так выйдет у нас...

Вздохнул, как перед смертью. Даже конь Булаткина склонил голову и замер, понимая невеселое настроение своего лихого хозяина.

— Не думал и я, Костя. Чего теперь!..

Винтовки, карабины, шашки, пики — все легло в одно беспорядочное кострище.

Когда окружение завершилось и оружие было изъято, Городовиков спешился, подошел прыгающим, быстрым шагом и взял мироновского коня под уздцы. Увидел, что лицо Миронова до изнеможения было усталым, мокрым, забрызганным грязью... Тоже — вояка!

— Слезай!

Миронов носком сапога отбросил руку Городовикова, сказал хмуро:

— Не груби, калмык. Не видишь, мы сложили оружие? Будем говорить с твоим командованием — Буденным и Зотовым!

— Никакой «говорить», ты — вне закона, как бешеный собака! — обиделся Городовиков. — Слезай, ну?!

Миронов тяжело перенес правую ногу через луку, спрыгнул рядом с ним, отдал повод уздечки из рук в руки. Успел оценить малый рост и кавалерийскую гибкость, крепость его тела. Хороший был, наверное, урядник в учебной команде, этот Ока!

— Шашку! — приказал Городовиков.

— На ней гравировка: от лица Реввоенсовета 9-й армии... — рассеянно сказал Миронов, отдавая шашку. И добавил: — Я-то «вне закона», точно. Приказом Троцкого и всей камарильи. А ты-то, Городовиков, почему считаешь меня врагом? Не разобрался еще, калмык, кто друг, а кто враг?

Взял шашку из его рук обратно, поцеловал именной клинок у эфеса, подержал на уровне груди в обеих руках, вернул. Добавил желчно:

— Только не воображай, что ты именно пленил Миронова! Миронова пленили обстоятельства и сложность борьбы со сволочью всей земли. Запомни, когда-нибудь вспомнишь!

— Вперед иди, Миронов! — вовсе нахмурился невеселый начдив-4.

— Да нет уж, товарищ, — снова усмехнулся с желчностью Миронов. — Нет, я все же командир корпуса, две версты до вашего штаба мне далеко... Поедем верхами, зачем время тянуть?

Городовиков, человек разумный, разрешил всем разоруженным сесть в седла. Беды от этого не предвиделось.

Когда спешились во дворе штаба, к плененным вышел и сам Буденный. Гладкий, одетый с иголочки, свежевыбритый человек с быстрыми хваткими глазами. Искоса, как бы не желая близко встречаться, взглянул на Миронова... Он впервые так видел его, прошлогоднего героя, грозу Краснова и Фицхелаурова. Шли они тогда бок о бок: группа войск Миронова по правому берегу Дона и далеко вырвавшись вперед, а дивизия Думенко, где Буденный был помощником начдива, по левому берегу. Тогда думенковцы завязли у Торговой и Великокняжеской, крупных опорных станиц противника, а на пути Миронова таких препятствий не было, вырвался аж на Донец... Потом о нем стало не слышно, услали куда-то на Западный фронт. Теперь вот такая история... Мятеж... — невольно размышлял Буденный. — Были на красном Дону самые прославленные конники — Миронов и Думенко, и с нынешнего дня — нету. Думенко лежит в Саратове с вырезанным легким после разрывной пули, а Миронов — вот он, тут, тут и кончится. И останется во всей красной кавалерии один добрый командир...

Решил: надо как-то дать понять этому бывшему полковнику, что он человек конченый... Глянул както мстительно, будто давно уже недолюбливал его:

— Как же ты так, Миронов? Пр-р-рославленный, можно сказать, боец, гроза белых атаманов и так подло изменил народной власти?

Миронова будто обожгло оскорбление. Сказал, словно и не был он пленным, не нес на плечах стопудовой усталости, которая связывает иных по рукам и ногам, укрощает речь.

— Ты, Семен, слепой человек! Тебе не понять то, что видно уже без очков каждому грамотному человеку... — и махнул рукой пропаще: — Лучше пляши и играй «барыню»!

Буденный сжевал усмешку, отошел в сторону.

— В трибунал корпуса! — махнул он рукой. — Там тоже грамотные, разберутся!..

ДОКУМЕНТЫ

Из поезда Л. Троцкого
Москва, Склянскому для ЦК, копия — Смилге

16 сентября 1919 г.

Захваченные мироновцы доставлены в Балашов, где функционирует следственная комиссия по этому вопросу. Сношусь со Смилгою о том, чтобы комиссию превратить в трибунал и дело разрешить в Балашове.

1. Большое число обвиняемых (430 чел.).

2. Свидетели в том же районе.

3. Процесс должен иметь воспитательное значение для казачества.

В числе арестованных находится член Казачьего отдела ВЦИК Булаткин, ближайший помощник Миронова. Насколько знаю, есть еще замешанные члены Казачьего отдела ВЦИК. Необходимо, чтобы Президиум разрешил трибуналу рассматривать такие действия своих членов...

Хорошо поставленное дело Миронова послужит ликвидации донской учредиловщины, левой эсеровщины. Полагаю необходимым, чтобы во время процесса тов. Смилга прибыл в Балашов для руководства делом.

Председатель РВС Республики *Троцкий*[1].

Из доклада Ефремова
В Казачий отдел ВЦИК, копия — в ЦК РКП(б)

15 сентября 1919 г.

...В июне м-це в Донской обл. была проведена мобилизация. Для большей успешности ее РВС объявил эту мобилизацию от имени популярнейшего среди донского крестьянства и казачества тов. Миронова. Мобилизация прошла сносно, появление в некоторых станицах тов. Миронова дало из этих станиц полное количество мобилизованных, в других станицах, куда тов. Миронову не представлялось возможным доехать, казаки волновались. Между ними носились слухи, что нет Миронова в живых, их обманывают, и мобилизованных в результате этого явилось меньше.

Получается приказ РВС об эвакуации мобилизованных в Липецк. Казаки заволновались. Приехал Миронов, успокоил их, устроил грандиозный митинг. В его речах я уловил желание идти навстречу коммунистам, работать с ними в дружбе и согласии. Вспомнил он, как оскорбили его усть-медведицкие коммунисты, как «ликвидировали» его и обвинили в контрреволюционности. Высказал надежду, что этого больше не будет, и с вновь присланными товарищами-коммунистами он разобьет Деникина и проч. (...)

Переехали в г. Саранск, приехал туда и Миронов. Первые дни все было хорошо. Затем между Мироновым и Лариным начал намечаться раскол. Оказывается, тов. Ларин в прошлом участвовал в резолюции, выражавшей недоверие Миронову, в результате чего Миронова отослали на Западный фронт.

Начались разногласия, тов. Миронов стал как туча.

Видя скверное настроение Миронова, неопределенность положения и начавшуюся политику «кумовства» политического отдела под руководством тов. Рогачева, я пошел к Миронову.

Он был не в духе. «Тов. Ефремов, — говорит он. — Вы, коммунисты, скажите ради создателя, почему вы не даете определенных отпоров «прогоревшим» политикам, почему затягивается формирование корпуса? Если вы мне не верите, скажите мне прямо, я уйду, не буду мешать, но вы держите меня в заключении и неизвестности. Меня услали на Западный фронт, это была ссылка. Я смирился. Теперь позвали меня, и в результате — ссылка опять, в Саранск. Вот что делают коммунисты. Я знаю, к т о это делает. Кажется, остается только застрелиться».

На одном из собраний, собранном политотделом дивизии, произошел грандиозный скандал, в котором некрасивую, скажу — мерзкую роль сыграл тов. Рогачев и другие «хоперские коммунисты». Все это произошло в присутствии тов. Миронова.

На это собрание следует обратить серьезное внимание, оно окончательно раскололо даже политических работников на две стороны и положило окончательную пропасть между Мироновым и политотделом.

Назрел серьезный конфликт. Я встревожился и решил ехать в Козлов. Предварительно, для ознакомления с настроениями и мыслями тов. Миронова, зашел к нему. Он был мрачен, возмущался и волновался. Я успокаивал его и сказал, что понимаю все, что здесь делается, еду в центр и постараюсь там разъяснить создавшееся положение.

Миронов спрашивает: «Вы куда? В РВС Южного фронта? Ничего не выйдет...» и т. д. «К Троцкому не надо, только — к Ленину!»

Я уехал в Козлов: тов. Миронов оказался прав, я успеха не имел.

...Революционные массы казачества и крестьянства, чувствуя к себе недоверчивое отношение политотдела, пошли за Мироновым. Политотдел не понял масс, не мог привлечь их на свою сторону, оттолкнул их от себя, и массы бросились к Миронову. Его операция, если таковая была, имела успех[1].

Из газеты «Красный пахарь», № 201
За что судят Миронова

Миронову предъявляется обвинение в неоднократных выступлениях на митинге в г. Саранске, а также в пути следования из Саранска к месту расположения 23-й дивизии с открытой агитацией против существующей Советской власти... причем в своей агитации Миронов пользовался разжиганием национальной розни, называя нынешнее правительство «жидо-коммунистическим», употребляя такие же приемы против вождей Красной Армии в лице т. Троцкого.

В устройстве собрания в г. Саранске 22 августа 1919 г.[2] без ведома РВС корпуса, на котором заявил, что самовольно выступает на фронт, призывал к тому же всех красноармейцев, поименно спрашивая по этому вопросу командиров, а в заключение объявил арестованными присутствующих на митинге коммунистов...[3] В выпуске печатных и письменных воззваний, в которых он открыто призывает свергнуть настоящую Советскую власть...

---

[1] ЦГАОР, ф. 1235, оп. 83, д. 1, л. 44.

[1] ЦГАОР, ф. 1235, оп. 82, д. 15, л. 370—374.

[2] Дата ошибочна, фактически собрание было 24 августа.

[3] Коммунистов Миронов не преследовал и не арестовывал.

В издании приказа по корпусу о выступлении из г. Саранска, после того как ему такое выступление РВС Республики было, безусловно, воспрещено; в проведении этого приказа во исполнение, при безусловном знании, что он в этом случае объявляется вне закона.

В расхищении народного имущества, выразившемся в безотчетном расходовании денежных сумм и запасов продовольствия.

В вооруженных стычках во время следования из Саранска к месту расположения 23-й дивизии с советскими войсками, причем с той и другой стороны были убитые и раненые. В порче телефонных проводов во время этого следования.

В попытке к бегству во время задержания его и его отряда корпусом тов. Буденного.

ПРИКАЗ

Председателя Реввоенсовета Республики № 151

17 сентября

...Чрезвычайной следственной комиссии в составе: председателя Д. Полуяна и членов тт. Анисимова и Поспелова присваивается право Чрезвычайного трибунала по делу о контрреволюционном восстании Миронова и группы его сторонников против рабоче-крестьянской власти.

Трибуналу приступить к делу немедленно по завершении предварительной работы.

Председатель РВС Республики *Троцкий.*

8

В уездном Балашове, штабной колыбели многострадальной 9-й армии, знавшей измены Носовича, Ковалевского и Всеволодова, крах нынешней летней кампании, наконец-то забушевали страсти возмездия и справедливого выяснения причин. Стало тесно вдруг от конвойных войск, разного рода приезжих «советников» и «экспертов», в числе коих оказался по странности и член Ревтрибунала Республики Крыленко, которого почему-то не допустили на этот раз к прямым своим обязанностям. Много было свидетелей, адвокатов, газетных и прочих информаторов — дело слушалось чрезвычайное, в особом присутствии и почти при закрытых дверях. Балашовская тюрьма не вместила всех обвиняемых (400 беспартийных и 28 членов РКП(б), под них заняли школу и какие-то карантинные казармы. Решеток там не было, но охрана была зато двойная, бессонная.

Из Саратова приехал общественный судья, бывший агитпроп 9-й армии, кубанский казак Дмитрий Полуян, хорошо знавший главного мятежника Миронова и обстановку вокруг него. Общественное обвинение взял в руки Смилга. Ни на шаг не отходил от них работник секретной контрразведки наркомвоена Троцкого, человек «без послужного списка» и особых примет, но с чрезвычайными полномочиями, со странной фамилией Пауков...

Приехали из Москвы и лица, заинтересованные в судьбе некоторых обвиняемых в ходе процесса в целом: представитель ВЦИК Макаров, от Казачьего отдела — пожилой и рассудительный сибиряк Степанов и от газеты «Правда» писатель Серафимович. Эти трое были, пожалуй, единственными из всех наводнивших Балашов, которые никак не считали заранее доказанным антисоветский характер выступления Миронова и намеревались принять какое-то участие в разборе дела, как представители правительственных учреждений и партийной прессы. Макаров хотел даже до начала суда ознакомиться с материалами и выводами Чрезвычайной комиссии. Увы, главный обвинитель Смилга, под контролем которого работала комиссия, отказал не только в этом, но и в праве постоянного присутствия на суде.

— То есть как же это? Почему? — спросил быстрого на ногу, почти неуловимого Смилгу Серафимович. — Ведь мы, как-никак, люди, не подверженные фракционным страстям, с одной стороны, а с другой — никто не может в нас, так сказать, сомневаться? Мы хотели бы, например, товарища Степанова выделить в качестве общественного защитника.

— Весь состав суда, в том числе и с т о р о н ы, нами утверждены, — сказал Смилга. — С вашими просьбами следует обратиться в Москву или лично к товарищу Троцкому.

— В таком случае... мы хотели бы присутствовать в зале заседания как зрители, — сказал Макаров.

— Зрителей не будет, — уточнил Смилга. — Там некуда рассадить обвиняемых. Полный зал!

Макаров и Серафимович переглянулись. Смилга заметил вызывающее недоумение на лицах, пригласил сесть.

— В чем дело, товарищи? — спросил он. — Разве дело идет о какой-то отдельной лич-нос-ти, что вы проявляете такое рвение? Процесс политический, здесь неуместно какое-либо... раз-магничивание. Революция в опасности, а вы собираетесь играть в присяжных заседателей!

И Макаров, как представитель ВЦИК, и Серафимович были, конечно, в затруднительном положении. Во всей Москве, в Пензе и Балашове никто решительно не сомневался, что Миронов изменник и мятежник. Скрытый белогвардеец. Приговор был предрешен, таким образом, заранее. Этому не мешало и то обстоятельство, что вместе с Мироновым попали на скамью подсудимых три десятка заслуженных партийцев, да и сам он с октября семнадцатого ходил в сочувствующих. Но о чем может идти речь, когда у всех на глазах произошел мятеж?

Макаров вздохнул и смолчал, а Серафимович вынул из папки-портфеля свернутую вчетверо газету «Красный пахарь» со статьей «За что судят Миронова» и протянул Смилге.

— Зачем же тогда нагнетаются страсти в печати, если процесс политический? — спросил он.

— В каком смысле?

— Ну, например... юдофобство. Я знал Миронова с юности, это грамотный, начитанный офицер из тех, кто не разделял взгляды правых, и наоборот, придерживался так называемой «старой интеллигенции». Он просто не мог унизиться до «разжигания национальной розни», как пишут в этой газете...

— Помилуйте! — усмехнулся Смилга. — Я сам слышал, — однажды Миронов рассказывал еврейский анекдот с «начинкой»!

— Кто же их не рассказывал? — развел руками Серафимович. — Разве только одни юдофобы? Вот те и в самом деле презирают и евреев, и их анекдоты!

— Я повторяю, что это не главное, — сказал Смилга, возвращая газету в руки Серафимовичу, как нечто необязательное. — И это не будет иметь, по-моему, никакого значения.

— Тогда зачем же это разрешили к публикации? — вступил в разговор осмелевший Макаров. — Или вот еще... Доподлинно известно, что Миронов никогда не призывал «свергать Совет Народных Комиссаров»! Наоборот, с первого дня революции...

— Он поносил одного из вождей, товарища Троцкого, этого достаточно.

Макаров и Серафимович вновь переглянулись с недоумением, а Степанов даже плечами пожал. И сказал с рассудительностью сибирского мужика, окая, впрочем, так же, как и сам Смилга:

— Ежели товарищ Троцкий спорил с Лениным по Брестскому миру, то чью сторону нам поддерживать? И как вы его чтите за весь Совнарком? Это очень трудно понять, товарищ Смилга. Наркомов у нас сменилось много, был вон эсер Чернов! Если за каждого будете политические обвинения клепать, то до хорошего это не доведет. Начальство, его надо критиковать и поругивать. И так уж Мамонтов к самой Туле подходил, довоевались. Надо ж в корень глядеть! А тут пишут какую-то чепуху: Миронов коммунистов в Саранске арестовал — ведь не было же такого!

— Странно вы настроены, товарищи, — вздохнул Смилга.

— Не странно. Мы осуждаем Миронова, как нарушителя военной дисциплины, он выведен даже из Казачьего отдела, — твердо сказал Макаров. — Мало того, мы считаем, что поступок его граничит с мятежом. Но зачем искать политических врагов там, где их нет? Были в Саранске у Миронова два заложника, Лисин и Букатин, и Миронов заявлял, что при первом же выстреле со стороны заградвойск оба заложника-де будут расстреляны. Это главный криминал! И что же? Выстрелы по Миронову за время рейда были, конечно, и потери были, а Лисин и Букатин живы и здоровы и выступают теперь главными свидетелями обвинения. Так зачем в газете наводить тень на ясный день? Чего ради?

— Еще пишут, — добавил Серафимович, — что Миронов собирался бежать при соприкосновении с корпусом Буденного. Надо же, в конце концов, хоть немного знать и понимать Миронова! Это недавний герой, красный боец, который чего-то не понял, не стерпел, и только. Но бежать?

— Мы все это учтем, товарищи, — сказал невозмутимый Смилга. — Большего я не могу вам обещать. На заключительном заседании можете быть.

— Но мы должны быть на суде, — сказал Макаров. — У товарища Серафимовича — мандат центральной газеты «Правда».

— Ничем не могу помочь, — развел руками Смилга.

Их поразила резкая перемена во внешнем облике Миронова. Он стал явно не похож на себя.

Человек в окладистой черной бороде, сидевший на передней скамье, разительно напоминал плененного Пугачева, но безвременно состарившегося и уставшего духом. Надломленного каким-то неожиданным поворотом мыслей, раскаянием, упадком души... У него были изверившиеся, угасшие глаза, как у человека, переболевшего возвратным тифом. Они еще взывали, ждали чего-то, его глаза, но без всякой надежды — это был не тот Миронов, не вояка и острослов, а глубоко виновный в чем-то, немощный старик. Молча оглянулся на вошедших и опустил голову.

«Плохо... — подумал Серафимович. — Суд-то у него не на виду, а в собственной душе, как видно. И суд беспощадный, над самим собой! Но за что именно?..»

Из того, что слушалось на суде, было ясно, что никто из обвиняемых виновным в антисоветском характере мятежа себя не признал. А за нарушение воинской дисциплины Миронов всю вину принял на себя, как командир части. Громкий процесс в отношении четырехсот с лишним обвиняемых после этого следовало бы считать судом над единственным виновником всей этой трагедии. Но Смилга почему-то не хотел этого допустить: важной для него оставалась м а с с о в о с т ь мятежа... Миронов со своей стороны напирал на фатальное совпадение некоторых случайных, а иногда и умышленно подготовленных кем-то обстоятельств и фактов, толкавших его к выступлению. Наконец, прорыв белых под Новохоперском и вопль тех красных казаков, семьи которых безжалостно казнились нахлынувшими на Верхний Дон деникинцами...

Он не скрывал и своего желания действием выразить некий подспудный протест против повсеместного недоверия красным казакам, но в этом смысле добился безусловно обратного и очень винит за это себя: теперь-то их как раз и называют в речах и газетных статьях «потенциальными мятежниками и анархистами...».

Комиссар Макаров не мог не чувствовать, чем закончится процесс. С разрешения председательствующего Полуяна, подняв руку, задал подсудимому Миронову вопрос:

— Если бы в момент выступления в Саранске вы, Миронов, получили вызов в Казачий отдел ВЦИК, членом которого вы были, то выехали бы в Москву или нет?

Миронов обернулся, глянул ожившими глазами на Макарова и Серафимовича и ответил односложно, согласием. Его защитник, типичный цивильный адво-

кат с тонкими манерами и в пенсне на шнурочке, тут же попросил сделать перерыв. Обвинитель Смилга отказал, не находя существенной причины для этого. В своей обвинительной речи затем Смилга потребовал высшей меры наказания для главных виновников, то есть Миронова и его штаба, и строгого тюремного возмездия в отношении остальных.

Судья предоставил последнее слово Миронову.

Тишина в зале заседания, нарушаемая лишь поскрипыванием старых стульев, шелестом бумаги на судебном столе да сдержанными вздохами обвиняемых, теперь стала предельно глубокой и напряженной. Миронов поднялся, стал вполоборота к судьям, так чтобы можно было обращаться частью и к своим сподвижникам, заполнившим до предела здание уездного суда.

«О чем он будет говорить? — подумал Серафимович, в волнении положив пальцы на рукав сидящего рядом Макарова. — О чем можно говорить, когда сюжет уже полностью исчерпан?..»

В руках Миронова появился обрывок какой-то бумаги, он сказал:

— Граждане судьи, когда я очутился в камере номер девятнадцать, я занес свои впечатления в эти первые минуты пребывания в камере на клочке бумаги, который останется после меня... Дико в первые минуты в этом каменном мешке, и когда захлопнули дверь, сразу как будто и не понимаешь, в чем дело: всю жизнь боролся за свободу и в результате ты же и лишен свободы!..

Обвинитель здесь приписывает мне какую-то «скромность» в части побуждений, но я хочу, наконец, чтобы меня поняли... В этом каменном мешке я, быть может, впервые надумался свободно, не было ни одного врага около меня, ни одного человека, который мешал бы мне...

— Он неисправим, — заметил Серафимович шепотом, как можно тише, теснясь к Макарову. — И здесь хочет, как видно, продолжить выяснение отношений... Вам, Матвей Яковлевич, надо бы уже уходить, поезд в Москву через полчаса.

— Да. Сейчас, — кивнул Макаров. — Надо, конечно, в Москву, здесь все ясно как божий день.

Между тем голос Миронова исподволь набирал силу, взгляд опять стал живым, упорным. Правда, никто не верил в какой-либо успех этой речи, да и сам он, пожалуй, не верил, но продолжал отстаивать нечто свое, именно то, что перед лицом суда отстаивать если не бесцельно, то поздно... «Неисправим... — снова вздохнул Серафимович. — Из каждого положения, самого, кажется, безвыходного, хочет если не выкарабкаться, то хотя бы для будущего и для других извлечь наибольший урок! И какую-то пользу, вот главное. Да. Это ему как раз и зачтут, здесь же, и немедля!..»

Миронов как будто даже успокоился. Он подробно рассказал о своей мятущейся жизни, стихийной своей борьбе с произволом властей при царе и генералами-казнокрадами, своей искренней радости по поводу народной революции... Нынешнее свое преступление он осуждал и раскаивался в содеянном, прося суд учесть это.

— Оглядываясь на всю революционную деятельность и видя, что ты сейчас находишься под судом и обвиняешься в тяжелых преступлениях, невольно на мысль приходят слова «Вы жертвою пали...» — говорил с глубоким чувством Миронов. — Товарищ Смилга настаивает на самом строгом наказании. Да, суд должен быть беспощадный, но в данном случае я просил бы вас с сердцем отнестись к этому процессу, несмотря на то, что ко мне относились до сих пор враждебно и сейчас не доверяют мне. Но я заявляю всем своим поведением, что я не против Советской власти, а что обстоятельства были такие, которые сделали из меня не человека, а вещь, утратившую почти возможность отдавать себе отчет в своих действиях. Я не управлял, а обстоятельства управляли мной... Я считал своим гражданским долгом иногда указывать, и даже громко, на те несправедливости и безобразия в новой нашей жизни и действительности, видя, что это все может привести к печальному концу. Я лишь хотел указать на те ошибки и недочеты, из-за которых ныне белогвардейцы опять хозяйничают на всем нашем Юге... Мне тяжело принимать на себя кличку — предатель, изменник. Так называли меня белые, так называют меня теперь, а я боролся и не жалел собственной крови за Советскую власть, ее интересы. Я прошу вас об испытании, дайте мне возможность оставаться на позициях революционного борца и доказать, что я могу защищать Советскую власть, дайте мне эту возможность, чтобы я мог защищать революцию в самые ее критические моменты!

Тишина вокруг была по-прежнему гробовой. И в этой тишине в задних рядах кто-то вдруг не выдержал и по-бабьи всхлипнул...

Макаров глубоко вздохнул, поднялся и тихо выбрался из зала заседаний. Ему надо было спешить в Москву.

Через некоторое время был объявлен перерыв, а поздно вечером председатель Чрезвычайного трибунала Полуян огласил приговор:

Главных виновников саранского мятежа: Миронова, Булаткина, Матвеенко, Фомина, Праздникова, Данилова, Изварина, Федосеева, Дронова, Корнеева и Григорьева — расстрелять. Остальных участников дела приговорить к разным срокам лишения свободы...

Приговор выслушали в тягостном, горьком молчании, затаив дыхание, еще не веря в ужасный и непоправимый смысл определения суда: на рассвете завтрашнего дня (либо через семьдесят два часа, по утверждении Москвой) тебе, тебе лично и твоим соратникам, которые откликнулись на твой открытый призыв, — смерть.

Булаткин кашлянул, стремясь разрушить угнетающую тишину в этом запущенном уездном помещении, как бы сопротивляясь душевно тому, что сказал судья. Кто-то в середине зала вздохнул с облегчением, не усмотрев своей фамилии в первой десятке, среди тех, кому на рассвете предстояло прощаться с жизнью. Тяжело свалился на пол, потеряв сознание, ком-

полка Корнеев. И вновь в задних рядах, у двери, раздался громкий вопль, на этот раз женский. Какая-то свидетельница забилась вдруг в истерических рыданиях. К ней подошли тут же два охранника-красноармейца и вывели под руки.

— Нет, нет, не-е-е-ет! — дико кричала молодая женщина, сопротивляясь, падая, не желая покидать из вида тех, кто стоял ближе других к судейскому столу.

Александр Серафимович встал, хотел выйти к женщине, чтобы успокоить и, может быть, помочь красноармейцам, но двери за ней уже закрылись, крик словно обрезало, и тут раздался спокойный, преодолевающий спазм гортани голос Миронова.

— Я прошу граждан судей разрешить нам, кто осужден к смерти, провести последнюю ночь... не в одиночках, а в общей камере. Поддержать друг друга. Проститься.

«Между прочим, как он все же. держится? Ведь говорили, что и у него жена теперь на последнем месяце...» — подумал Серафимович.

— Я думаю, что эту нашу просьбу можно удовлетворить, — кашлянув, добавил Миронов.

Дмитрий Полуян, кубанский казак в темно-синей черкеске с газырями, которую до суда надевал лишь на митингах перед казаками, обходясь, как всякий интеллигент, штатским сюртуком в обиходе, напряженно замер под взглядами смертников. Его смутили, без сомнения, крики женщины, прозвучавшие вне распорядка, смутила и отчасти застала врасплох просьба осужденных. Можно ли позволить это? Не будет ли от этого какого эксцесса? Тем более в т а к у ю н о ч ь?

Посмотрел в сторону обвинителя Смилги и сидевшего чуть в стороне порученца наркомвоена Паукова. Требовалось, по-видимому, их согласие.

— Я думаю, можно удовлетворить последнюю просьбу осужденных, — подумав, сумрачно сказал Ивар Смилга.

— Спасибо, — потухшим голосом откликнулся Миронов.

— Заседание закрывается, — сказал судья Полуян. — Подсудимых препроводить в тюрьму под строгим конвоем.

Чрезмерно гулкими были шаги десяти пар сапог по бетонному полу тюремного коридора, пронзительно и певуче звякали, соприкасаясь, створы вязанных из железных прутьев дверей между корпусами и в переходах, все было отчетливо и ясно, как в первый день творения.

Суд получился скорый и неправедный, хотя бы потому, что все подсудимые признали себя виновными и раскаялись.

Гурьбой вошли в пустую, чисто выбеленную камеру.

Было мгновение неподвижности, столбняка — от этой гулкой пустоты, от безысходности, и вдруг захлопали, ударили подошвы в бетонный пол, кто-то рассыпал чечетку-цыганочку. Это лихой рубака, бывший комполка Праздников, замычав, словно от тяжкой раны, бросился в пляс... Сделал два-три коленца с отчаянностью пьяного гуляки, но что-то, видно, оборвалось внутри, оглянулся. И не было в лице его никакого выражения, не лицо, а доска, пятно... Кинулся от всех в угол, уткнулся лицом в ладони и зарыдал, как маленький мальчик, тявкая и мыча нечленораздельно. Жалко и судорожно задвигались под гимнастеркой сведенные лопатки.

Ужас и безысходность давили всех, но каждый принимал судьбу по-своему. Вечный весельчак и легкомысленный шутник Миша Данилов, весной вежливо изгнанный из состава Казачьего отдела ЦИК именно за беспечность и резкие высказывания по адресу «когорты славных», вместе с главным ее вождем Троцким, теперь утерял эту вечную свою веселость и праздничность, задумался. Было для всех самое время задуматься. И не потерялся в эту минуту Миша Данилов. Подошел сзади к рыдавшему товарищу, обнял за плечи крепкими жилистыми ладонями, оторвал от стены. Начал успокаивать и стыдить:

— Праздников, ты же молодчина был, ухарь! Рубил кадетов, ну? Брось, парень, двум смертям не бывать!

«Какой молодец, какой твердый кремень этот Миша Данилов, дураковатый с виду весельчак!..» — подумал Миронов, напрягая всю свою волю, чтобы не расплавиться, не сникнуть, как никли другие. А ведь сил хватало не каждому не только здесь, на последнем краю, а и во время суда... Метались души человечьи в страхе и раскаянии, желая обмануть судьбу.

Вовсе сломался Булаткин. Его и понять можно отчасти, он ведь не был единомышленником Миронова, а только пристал к общему движению... Начал на суде утверждать, что еще раньше видел неправоту Миронова в его разладе с политработниками, всегда старался, дескать, связать враждующие стороны, а в походе следил-де за комкором, чтобы тот не свернул в п р а в о и чтобы в этом случае убить его... Миронов в этом месте засмеялся и сказал громко:

— Хоть перед смертью, Костя, не мелочись дешевой брехней!

Судья Полуян оборвал реплику сердито и задал вопрос Булаткину:

— В своем письме к комбригу С. вы писали: «Миронов не только великий стратег, но и великий пророк»... Это ваша фраза?

— Да, это моя фраза... — собравшись в комок, сказал Константин.

— И еще, — снова спросил судья. — «Если он восстанет, то за правду, за истину, за волю»?

Константин опустил голову:

— Это мои слова.

Дронов, прожженнейший из штабистов, служивший на Украине, по его словам, в штабах шести разных правительств, тот просто начал валять дурака. На вопрос, почему он пошел с Мироновым в рейд, ответил коротко: «Чтобы не терять оклад довольствия, который не выдавали уже два месяца».

— Скажите, слышали вы когда-нибудь от Миронова отзывы о товарище Троцком? — последовал вопрос обвинителя Смилги.

— Да, — сказал Дронов. — В некоторых деревнях

во время похода были митинги, на которых говорили такую фразу: «Недавно я прочел в газете, что России нужна твердая диктаторская власть, и не думает ли уж Лев Троцкий стать диктатором России?»

Теперь он, Дронов, уже не смотрел на Миронова, потому что очень винил его, считал зачинщиком всей этой беды, и все же не мог ни в чем упрекнуть прямо, в глаза... Силач Изварин был совершенно разбит, смят. В камере опустился на пол, обхватил колени руками. Плакал без слез.

Бывший офицер Федосеев, из рядовых выслужившийся на германской, мрачно обернулся к Миронову с вопросом:

— Неужели этот, наш... отдел, в Москве... ничем не подможет нам, а? Не сможет?

— Приговор обжалованию не подлежит, — сказал Миронов.

Нет, нет, сам-то Миронов еще на что-то надеялся, ждал какого-то спасительного вмешательства, грел в душе каплю веры, но никак нельзя было тешить и подогревать эту слабую надежду в других, цепляющихся верой за тебя, — что же тогда получится с ними завтра на рассвете, в решительный час?

— А-а... ч-черт с ними! Однова живем!

Это сказал забияка Фомин, Яков Ефимович, отчаюга-урядник из Вешек, тот самый, что сумел в феврале переманить восемнадцать белоказачьих полков от Краснова под высокую руку Миронова и соседней Инзенской дивизии! Стал спиной к окну, руки по швам, как в строю. И вдруг запел старую, служивскую песню, с которой обычно возвращались сотни из лагерей и с войны по родным станицам. Песню, от которой, бывало, холодело под ложечкой от всяких предчувствий, горячее билось сердце.

Напрасно ты, казак, стремишься,
Напрасно мучаешь коня:
Тебя казачка изменила,
Другому счастье отдала!..

Неграмотно, по-хуторскому пел Яков Фомин, коверкал слова, как их пели по хуторам, но именно так и было понятнее, вернее для станичного слуха: не тебе изменила она, проклятая казачка, а именно тебя на кого-то иного, третьего променяла! И не сердце отдала, как следовало в песне, — что там сердце, кусок кровавого мяса! — а самую жизнь, все ее с ч а с т ь е тому же искусителю, исчадию адскому передоверила! Она, любовь твоя разъединая, на чью верность ты только и надеялся!

Притихли вокруг. Миша Данилов хотел даже подтянуть, смаргивая молодыми, слинявшими чуть от солнца ресницами набегающую слезу, но тут опять вмешался сам Миронов.

— Не ту песню, братцы... Молодец, Яков, но погоди. О другом надо! За что жизни свои положили, за что под пули шли, раны принимали, за что погибаем? Рази ж только за молодую любовь-разлуку, братцы мои, станичники?

Говорил, как всегда, с упоением, жарко и бесстрашно, будто речь тут о ком-то другом, не о твоей лично жизни и смерти — о всеобщей судьбе.

— Данилов, затяни, милок, какие при царе не пели, в душе хранили! А мы подтянем...

Михаил сморщил лоб, стал напротив Якова Фомина, руки протянул и положил на его широкие, окатистые плечи. Глазами сказал: не робей, подтягивай!

А голоса были у обоих великие, из глубины, прокопченные солдатской махоркой, матюгами в строю, простудным кашлем сдобренные, и песня родилась и потекла, словно талая вода с мелкими, холодящими льдинками. И Миронов, опустив голову, влился третьим голосом:

Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов!
Кипит наш разум возмущенный
И в смертный бой вести готов!

И если гром великий грянет
Над сворой псов и палачей, —
Для нас все так же солнце станет
Сиять огнем своих лучей!

Не пошла все-таки и эта песня. Фомин подтягивал все слабее, а другие вовсе молчали, углубившись в себя, не сумев превозмочь упадка душ. И вдруг за стеной, где сидели остальные казаки, те, кто не прощался еще с жизнью, но кто оценил и песню, и порыв смертников, мучившихся выбором последних слов, начался другой, многоголосый запев:

Смело, друзья,
не теряйте
Бодрость в неравном бою,
Родину-мать защищайте,
Честь и свободу свою!
Если ж погибнуть придется
В тюрьмах и шахтах сырых,
Дело, друзья, отзовется
На поколеньях
Живых!

Миронову показалось даже, что он расслышал в общем хоре нетвердую, ломаную запевку латыша Маттерна! Его была любимая песня, слова старых политкаторжан!

Больше не за что было держаться в эти часы, кроме слов, объединяющих и скрепляющих души. Только в этом и было спасение, чтобы не упасть духом ниже себя, не потерять рассудка. В песне, какой она выходила именно сейчас, души сливались воедино, принимали дружеские объятия, и оттого меньше охватывала их пустота и жуть, не столь очевидным был призрак близкой смерти...

До полночи гремела тюрьма «Варшавянкой», «Марсельезой» и «Интернационалом», и конвойные с любопытством оглядывали тускло светящиеся окна тюрьмы, вздыхали, в первый раз не понимая, что же произошло такое в жизни, кого и от кого они охраняют, держат под крепкими замками. А когда приустали и сели голоса осужденных и стало слышно раздельное, личное дыхание каждого, приблизилась минута самая тягостная, минута предчувствия. И тут неугомонный Яков Фомин снова запел хриплым, вызывающе громким голосом, фальшивя на прихотливых переходах старинной донской песни. Что-то хотелось ему

высказать не только словами, но и этим вызывающим хрипом, надорванностью голоса и души. И в песню помалу начали вступать, вплетаться и другие тихие, задумчивые голоса:

Но и горд наш Дон, тихий Дон, наш батюшка —
Басурманину он не кланялся,
у Москвы, как жить, не спрашивался.
А с туретчиной — ох, да по потылице шашкой вострою
век здоровался...
А из года в год степь донская, наша матушка,
За родной порог, за отца и мать,
Да за вольный Дон, что волной шумит
В бой на смерть звала
со супостатами...

Кто-то в углу плакал, сдерживаясь, взахлеб, как удушенный, кто-то рядом скрипел зубами. Миронов из последних сил старался сдержать биение расходившегося сердца, боялся, что оно разорвется раньше назначенной минуты. Спасение было в распаде сознания, частой смене мысли и чувств. Упадок духа сменялся вдруг смертельным восторгом, как в рукопашном бою, в рубке... С ржанием и визгом накатывала на него шальная лавина конницы, угрожала стоптать, просверкивали вокруг молнии шашек, и припоминались почему-то литературные строки (может, оттого, что всегда хотел сочинить хорошие, звучные стихи о жизни, подвиге и чести, но они ему не давались, выходили куцыми, ученически слабыми...) — строчки о том, что «есть упоение в бою и бездны страшной на краю», и сразу же приходило прозрение, страшная явь. Вспоминал тщету всяческих подробностей и суетных движений души, ненужность своего последнего слова перед судьями. Он зачем-то хотел растолковать им честность своих намерений: «Моя жизнь есть крест, который я всю жизнь упорно несу на Голгофу», но и эти слова не произвели никакого впечатления...

Да. Два страшных года прокатились над Доном, над всей Россией, теплой людской кровью напитались и степи и само небо, а лучше ли стало жить на свете, Миронов?..

Нет, нет, довольно мыслей, довольно душевной боли — сейчас это все лишнее, все оказалось тщетным и бесполезным... Забыться, забыть хотя бы на час, полтора все, избыть душевную усталость, упадок сил перед утренним, последним подъемом...

...Приснилось то, чего он сроду не видел и не мог бы представить в ясных и четких подробностях: каторга, иркутские (или какие-то другие в Сибири) копи, земля изрытая, обезображенная, измордованная карьерами, дощатые трапы и тачки об одном колесе, чахлые ельники, похожие на казачьи пики, увенчанные черными лохмотьями изорванной вражьей одежды...

На трапах с тачкой увидел человека — это был Радищев, не то декабрист Лунин, а возможно, и политкаторжанин Ковалев... Исхудавший до последней прозрачности человек в арестантской одежде, в шапочке, в кандалах. Остановился на дороге и что-то искал упорно, что-то очень важное для себя и других; увидел на дороге, там, где прошли до него сотни и тысячи ног, лежавший в глине самородок золота... Огромный самородок немыслимой цены, которым можно было откупить волю всех окрестных каторжан! С виду-то он напоминал простой камень-голыш, придорожный булыжник, пыльный, никем не замеченный. Но посвященному открывался истинный вес и цвет самородка. И взял тот самородок человек-каторжанин, и сунул за пазуху, в карман, чтобы вечером показать людям, выкупить себя и других на волю. Но в тот же момент стражник увидел нарушение и закричал дико:

— Камень за пазухой! У него — камень за пазухой! Брось, стрелять буду!

И сотни голосов, камней вокруг, даже и сами деревянные тачки и трапы заволновались и закричали диким хором: «Камень за пазухой! Камень за пазухой! Брось, брось!..»

Было мгновение, когда человек пробуждается. И в эту долю минуты Миронов увидел, как потерянно опустились руки каторжанина (о нем подумали, что он вор, спрятал золото для себя!..), как он огляделся вокруг с великой печалью, предчувствуя страшную кару и смерть, и прошептал какие-то беззвучные, последние стихи. Словно ветер пошелестел в листьях:

Я все снесу — гоненья и наветы,
Но не казните за Любовь и Честь!
О ты, судьба опального поэта —
И казнь мирская,
и благая весть!

Это был, несомненно, Радищев, потому что Ковалев никогда не писал и не собирался писать стихов... И откуда они взялись, в конце концов, ведь Миронов никогда их не читал и не слышал! Можно подумать, что существует некое переселение душ, но думать об этом в нынешнем положении и смешно, и горько.

Он очнулся.

Близился рассвет. Из разбитого окна струился холод. Миронов вздрогнул: бодрящий холодок октября припахивал горьковатым тленом палой листвы.

Кажется, все...

Надя на днях в Нижнем должна родить. Наверное, сына. Фельдшер сказал. Но и это в общем-то не важно: женщина беременна, пришел срок, и она родит. И все. А он не увидит ничего, не увидит ни старших детей своих, ни этого младенца, может быть последнего из рода Мироновых...

Сердце, сердце надо унять, чтобы оно не разорвалось прежде, чем пуля оборвет его стремление жить!

Возникло какое-то движение за дверью и по коридору. Тихо звякнуло железо. Лопаты? Но ведь могилу копали еще с вечера?

Очнулся от тяжкого забытья и Костя Булаткин. Он сидел, так же как и Миронов, на полу, спиной к стене, обхватив локти руками, прижимаясь к ним горячим лбом. Спросил чуть внятно:

— Рассветает?

— Скоро уж, — сказал Миронов.

Возникло новое движение в длинном коридоре, за дверью, и они оба медленно поднялись, стали у стены плечом к плечу, замерли в ожидании.

Близилась минута.

Миронов вспомнил слова молитвы и усилием воли прогнал их. Взял себя в руки, зная, что сейчас все будут смотреть на него. Как в смертельном бою.

Сосредоточиться, уйти в себя...

Час — до конца. Может, и меньше.

Мысли, мысли — скопом, вскачь, разорванные... Последняя исповедь.

Сейчас ты кончил беседу с богом, своей совестью. Человек, приготовься к смерти. Через час ты должен умереть. Очисти свою душу, ведь скоро тебя спросит небо: исполнил ли ты назначение, смертный, которое я дал тебе, посылая на землю?

Исполнил ли?..

Чуть слышный звук, похожий на скрежет дальней задвижки или скрип железных петель в дальнем конце тюремного коридора, приглушенный к тому же толстой дверью, был слаб и все же пронзителен, страшен, замораживал кровь в жилах. Отчетливо отдались в длинном проходе шаги — несколько пар топочущих ног...

— Идут!.. — тревожно привстал рядом Булаткин.

Все десятеро заворошились, каждый по-своему. Кто-то застонал, словно спросонья, и наяву ударил себя кулаком по голове, другой стал креститься, позабыв, что неверующий... Праздников закрыл лицо ладонями и прижался ничком к холодной стене, как провинившийся школьник. Корнеев, совершенно раздавленный, потерявший остатки воли, распластался на бетонном полу, раскинув руки, и только вертел головой, словно с кем-то не соглашался, возражал молча...

Провернулся со скрежетом большой железный ключ в замке по ту сторону двери, гукнула снятая накладка, распахнулась дверь. И первым в тусклом свете мелькнуло белобрысое, спокойное лицо Смилги, за ним Дмитрия Полуяна и Анисимова, а потом лик Сыренко, командира и начальника по приведению приговоров в исполнение — лицо судьбы...

Миронов поднялся во весь рост, поправил на голове папаху и скомандовал тихо, но внятно — всем своим:

— Встать! Смирно!..

9

Был поздний час, но все окна в Кремле светились.

Макаров очень быстро миновал пропускную у Троицких, его здесь знали, и почти бегом прошагал по пустынной площади к подъезду Совнаркома. Часы на Спасской пробили одиннадцать раз.

В своем кабинете — двери оказались не заперты — Макаров нашел за столом Михаила Мошкарова, председателя отдела, недавно прибывшего из командировки с Донщины, а с ним рядом делопроизводителя Долгачева и машинистку, а в углу дремал и дежурный казак Сонин. Поздоровались, и по встревоженному лицу Мошкарова он понял, что сидят они в его комнате не случайно, стряслось нечто непредвиденное.

— У вас что, побелка, что ль, что вы на чужую квартиру переселились? — спросил Макаров. Он был взвинчен, и шутка выглядела почти что неуместно.

— Перейдешь... на квартиру! — сказал Мошкаров, освобождая за столом место. — По решению Реввоенсовета опечатан весь наш отдел. И Енукидзе не спорил с ними, такое сложилось общее мнение в связи с Саранском. Казаки — мятежники, хоть ты что!

— Они что, с ума посходили?! — закричал Макаров, теряя самообладание. События в Балашове и длинная дорога вымотали даже его крепкую натуру. Великолепный его чуб встал дыбом.

— Сейчас подъедет Тегелешкин, напишем бумагу и завтра с утра — к Михаилу Ивановичу. Он тоже в отъезде, — сказал Мошкаров.

— Так. Не внушаем доверия, значит? Но Миронов-то к нам через Реввоенсовет и попал!

— Ну да. Когда весь Казачий отдел выезжает в Ярославль на подавление Савинкова, тогда к нам доверия хоть отбавляй... — промычал обиженно Мошкаров.

— Значит, завтра ждете Калинина?

— А что же делать?

— Надо к Ленину. Если он еще у себя, — сказал Макаров и, захватив рабочую свою папку, вышел из кабинета.

Ленин работал.

Это было 7 октября. Войска Деникина только что взяли Воронеж, их авангардные части подходили к Орлу. Председатель Совнаркома только что самолично разогнал Реввоенсовет 8-й армии («Дюжина говорунов!») и назначил командующим и единолично ответственным на Воронежском направлении бывшего члена ЦК Григория Сокольникова. Этому не помешало и определенное недоверие к нему Льва Троцкого. Были разосланы гневные телеграммы по адресу Шорина и командующего другой группой войск Селивачева. Момент был самый неподходящий для какого-либо ходатайства по части Миронова, но иного выхода у Макарова не было, а в Балашове приговор был определен еще до суда.

Фотиева через полчаса пропустила его к Ленину.

Макаров вошел, поздоровался и без обиняков доложил Владимиру Ильичу о том, что по распоряжению Троцкого опечатан Казачий отдел ВЦИК.

Ленин был очень занят, до предела утомлен, другие мысли и заботы бороздили высокий лоб.

— Да? Так что? — переспросил Ленин, вскинув устало-настороженные глаза, и Макаров увидел, что взгляд его не обещал ничего хорошего.

— Троцкий приказал опечатать отдел. Из этого можно заключить, Владимир Ильич, что он хотел бы похоронить некоторые документы, хранящиеся у нас. Есть там и копии докладов на ваше имя.

— Какие... копии? — так же остро, напрямик спросил Ленин.

— Например, письмо командира Донкорпуса Миронова из Саранска.

— Когда Миронов посылал такое письмо?

— 1 августа, военной почтой, на имя Председателя СНК.

— Это что же, почти за месяц до мятежа? Но я такого письма действительно не получал, — сказал Ленин, проявляя заинтересованность.

— У нас в отделе есть копия... Это очень важное письмо, Владимир Ильич. Там изложены причины, по которым...

— По которым члены Казачьего отдела, то есть правительственного органа, ВЦИК, учиняют антисоветские мятежи?

И голос Ленина, и слова, сказанные с предельной отчетливостью, предостерегали Макарова. Но тем и велик был Ленин, что при нем можно было высказывать и противоположную точку зрения на событие.

— Владимир Ильич, Казачий отдел предан Советской власти, это не раз было доказано в самые острые моменты борьбы. И будет не раз подтверждено. Миронов... безусловно совершил тягчайшее нарушение воинской дисциплины, но он не мятежник! Это слишком пристрастная информация... наших противников, — твердо говорил Макаров. — Невероятно же: Миронов бросился из Саранска с криком: «Я разобью Деникина!», а его тут же схватили «с поличным»... Если бы он соединился со своей бывшей дивизией, то, думаю, Мамонтов был бы уже разбит и рассеян!

— Каким образом? — посмотрел исподлобья Ленин.

— Полупьяные казаки Мамонтова, не раз битые этим «красным чертом», как они его называют, не смогли бы просто выдержать одного вопля: «В тылу — Миронов!» Не говоря о его боевых и оперативных качествах; как командира корпуса.

Ленин смотрел с некоторой досадой и недоверием. Слишком легко рассуждали многие о разгроме Мамонтова и Деникина. Шапкозакидатели!

— Так где же письмо? — нетерпение сквозило в словах Ленина. Его отрывали от работы. — Давайте свою копию!

— Отдел опечатан, — сказал Макаров, в эту минуту совершенно позабыв, что копия письма лежала в папке, зажатой у него под мышкой.

— Так снимите же печати, какая забота! — раздраженно сказал Ленин. — Скажите коменданту, пусть снимет!

Через десять минут сургучные печати с дверей были сорваны, Михаил Мошкаров со своими сотрудниками вернулся на место, а Макаров выложил на стол Председателя СНК докладную из Саранска в два десятка машинописных страниц. Заодно оставил и свою записку, которую направлял ранее Ларину с попыткой примирить враждующие стороны. Уходя, Макаров просительно вытянулся у двери, как и подобает военному:

— В Балашове, Владимир Ильич, вечером закончился процесс, Миронова могут расстрелять через один-два часа, уже рассветает... Но это вредно отразится на всем ходе борьбы с контрреволюцией на Дону. Не говоря о другом. Прошу вас не допустить расстрела.

— Хорошо, — сказал Ленин, рассматривая бумаги на столе. — Сегодня утром как раз принято решение ВЦИК о помиловании Миронова. Это решение передано в Балашов телеграфом...

Макаров вышел из кабинета Ленина почему-то на цыпочках, будто боялся нарушить покой и тишину в ночном коридоре этого здания.

Ленин пробежал глазами первые строки и абзацы мироновского письма, с характерной для себя быстротой охватив общее содержание. Сразу же и заглянул в конец, где исповедь мятежника завершалась припиской: «Преданный Вашим идеям, комдонкор Миронов», тут же вызвал секретаря.

После двенадцати дежурила Гляссер, очень юная, красивая женщина. Ленин извинился за столь поздний вызов и, несколько отмякая душой после ознакомления с письмом, внутренне радуясь, что он и на этот раз не опоздал в сложном деле, попросил:

— Позвоните, пожалуйста, в Балашов вторично... по делу Миронова. Подтвердите утреннее решение, чтобы они там не поспешили с приговором и прочим... Да! И Троцкому передайте это. Очень важно.

Гляссер понимающе кивнула, и по ее виду Ленин понял, что поздний час не сморил ее, она, как всегда, была подтянута и спокойна. И с полным пониманием отнеслась к сути вопроса.

Пора было уходить на отдых, но докладная Миронова оказалась в определенном смысле вопиющей, от нее нельзя было оторваться, отложить на завтра. Факты, правда, были знакомые, о них уже говорилось на прошлом партсъезде, но в новом изложении они просто прожигали душу. Ленин, не отрывая глаз от письма, нашел машинально своими быстрыми и чуткими пальцами карандаш в стакане письменного прибора и, уже несколько успокоившись, заново перечитывал некоторые места, делал пометки. На полях появлялись галочки, подчеркивания, краткие надписи: «слишком...», «верно», «гм-гм...», «целиком согл.», «надо справиться», «чудовищно...» и во множестве излюбленный значок «Sic!». Откинувшись в жестком кресле, Ленин коротко и остро подумал обо всем этом и вызвал Дзержинского. Феликс также не спал в этот час.

Худой, издерганный, порывистый человек этот не радовал Ильича своим видом. Подорванное еще на каторге здоровье не выносило нагрузок, ночной работы, вечной тревоги. Пора было отправлять главного чекиста куда-нибудь в Ильинское или даже в Крым, в Ливадию, подлечиться, просто отойти душой от кипучих обязанностей в ЧК и Центральном Комитете... Но до Крыма теперь очень далеко, войска Дыбенко оставили этот пленительный уголок нашего юга, да и путь перерезан не единожды... Отпуск Дзержинского откладывается...

— Архиинтересное послание, Феликс Эдмундович, которое значительно опоздало, но все же подтверждает наше решение о помиловании Миронова! — Ленин, вытянув руку, разглаживал странички письма. — И знаете, этот Миронов чем-то мне... импонирует. Как ни странно, да! Не изволите ли: почти ультимативный вопль середняка-крестьянина, кое-где непонимание очевидных вопросов, но при этом — несгибае-

мая, ка-те-горическая вера в нас, большевиков! Вот, полюбопытствуйте!

Протягивая Дзержинскому пачку листков, добавил:

— Ка-те-горическая вера! А мы его в облаву, как волка, знаете, с флажками по всей окружности! Да-с, получилось не совсем, не обошлось и без темных фракционных делишек!.. Я бы считал даже необходимым по вашей части, Феликс Эдмундович, допросить с пристрастием этого комиссара Рогачева, да. Помнится, я специальной запиской как-то предупреждал его... в части перегибов с крестьянами...

Дзержинский, просматривавший письмо Миронова, здесь поднял голову и утвердительно кивнул на последние слова. Ленин добавил:

— И потом... мне кажется, такие дела не стоит полностью передоверять контрразведке Троцкого. Пусть они шпионов и лазутчиков вылавливают в зоне действия войск, коих к нам в преизбытке засылают и Деникин и Антанта! А это дело политическое, компетенция Чрезвычайной Комиссии. Вам не кажется?

— Кажется, Владимир Ильич, — сказал Дзержинский. — Очень даже. За некоторыми в высшей степени идейными фракционерами Троцкого нужен очень подробный догляд, как выясняется. Особо на Южном фронте. Они устраняют неугодных им лично, об этом даже Орджоникидзе сообщал из Екатеринодара. Идет тихая расстановка «своих» по нужным местам, это очевидно уже и на сторонний взгляд, так сказать... И вообще — почему Троцкий в последнее время не считает нужным присутствовать на заседаниях ЦК? Для него — особая дисциплина?

— Хорошо, ставим и этот вопрос в повестку, — сказал Ленин и тут же сделал пометку на листке бумаги, лежавшем перед ним. — А письмо вы заберите к себе, пожалуйста, и хорошенько расследуйте все обстоятельства, в том числе и саранское дело, как я сказал, о политотдельцах Ларине и Рогачеве. Вопрос очень серьезный, когда мелкие, личные распри и дрязги начинают преобладать над общей политикой. Не исключено, что придется даже вызвать Миронова к нам в Москву.

И повторил как напутствие:

— Прошу вас, Феликс Эдмундович, расценивать это как дело первоочередное и архиважное в связи с положением на Юге. После заслушаем на Политбюро. И проверьте еще раз Балашов, чтобы там не спутали чего-нибудь по причине склок и удовлетворения мелких страстей...

Дзержинский заложил листки в свою папку. Вышел сухой и натянутый, как тонкая тетива; Ленин проводил его долгим взглядом и снова подумал, что Феликса недурно было бы отправить на санаторное лечение и отдых. Но не так скоро, не так скоро, очень серьезные дела вокруг!

Часы пробили четыре, близилось утро.

Ленин поднялся из-за стола и сделал несколько шагов, чтобы размяться. «Орел, Орел, Орел... И — Тула! — подумал он о нынешней тяжести на фронте. — Орел или решка, так думают Мамонтов и Деникин. Орел или решка...».

Вспомнил недавнюю свою телеграмму в РВС Южного фронта: «Обязательно, архиважно поймать крестника Сокольникова!» — о Миронове. И скептически усмехнулся.

ДОКУМЕНТЫ

Военной почтой
Москва, В. И. Ленину

Гражданин Владимир Ильич!

В № 158 газеты «Правда» от 20 июля объявлен конкурс на рабоче-крестьянские сочинения. Дано десять тем, из коих хочется остановиться на самых жгучих для данного момента:

1. Почему некоторые крестьяне идут против Советской власти и в чем их ошибка?

2. Кто такие контрреволюционеры?

25 июля на митинге мне была подана записка: «Что такое революция и как должно жить человечество?»

Это одиннадцатая тема, стоящая вне конкурса, уже, казалось бы, запоздавшая после того, как революция совершилась и строительство жизни человека на новых началах продолжается около двух лет, выдвинутая всем ходом последних событий, является самой жгучей, самой больной, ответа на которую каждет услышать вся многомиллионная крестьянская масса, все трудовое казачество и, как неотъемлемый член этого однородного тела — масса рабочая...

24 июня с. г. со станции Анна я подал Вам шифрованную телеграмму, в которой между прочим писал: «Я стоял и стою не за келейное строительство социальной жизни, не по узкой программе, а за строительство гласное, в котором народ принимал бы живое участие». Я тут буржуазии и кулацких элементов не имел в виду.

Только такое строительство вызовет симпатии крестьянской массы и части истинной интеллигенции.

Я человек беспартийный, но слишком много отдал здоровья и сил в борьбе за социальную революцию, чтобы равнодушно смотреть, как генерал Деникин на коне «Коммуния» будет топтать красное знамя труда.

При личном свидании с Вами, Владимир Ильич, 8 июля я заявил Вам о сквозящем ко мне недоверии, ибо агенты Советской власти, совершающие противозаконные дела, знают, что я человек решительный и злых действий их не одобряю, как не должна одобрять их и власть, если она стоит на страже народного блага и если эта власть не смотрит на народ как материал для опыта при проведении своих утопий, хотя бы и отдающих раем...

Я полагаю, что коммунистический строй — процесс долгого и терпеливого строительства, любовного, но не насильного.

О начавшемся недоверии я сужу по следующим данным.

4 июля была принята моя инициатива и последовало распоряжение (телеграмма Главкома № 5579/АУ) о формировании Донского корпуса из двух кавдивизий и одной пехотной.

19 июля, несмотря на тяжелое положение фронта последовало указание, что должна формироваться пока одна кавдивизия. Теперь мне известно, что последовало распоряжение о приостановлении и задержке всех эшелонов, направляющихся в пункт формирования...

О причинах последних неудач на Юге некто Беляков-Горский в «Известиях», № 131—132, пишет: «Боевой опыт не только настоящей, но и вообще всех войн показывает, какая тесная связь должна установиться между фронтом и тылом, прежде чем боевые операции станут планомерными в своем развитии...» К сожалению, такого знания тыла у политических руководителей Южного фронта не оказалось... В результате развернулись картины ужасающей путаницы и произвола отдельных личностей... Наскоро сколоченные волостные и окружные ревкомы своих функций не знали, на казачество смотрели глазами усмирителей...

Растерявшееся казачество разводило руками, ахало, удивлялось и в конце концов пришло к такому выводу, что «коммуния» дело неподходящее, ибо коммунисты «дюже свирепы».

А если бы гр. Беляков-Горский спросил Реввоенсовет Республики или Троцкого: «А что, не подавал ли чего-нибудь Миронов в марте месяце?» То ответили бы ему: «Давал...»

На моем докладе член РВС Республики Аралов написал такую резолюцию: «Всецело присоединяюсь к политическим соображениям и считаю их справедливыми». Да, только один т. Аралов присоединился, только он один оказался дальновидным, но по пословице «один в поле не воин», оказался бессильным проявить свое влияние на благоприятное завершение борьбы на Дону, на благо рабочих и крестьян, на благо исстрадавшегося, обманутого казачества.

Вместо политической мудрости, вместо политического такта, вместо искреннего стремления к прекращению братского кровопролития пришлось в марте прочитать заметку в газетах «Новые губернии». По вопросу об определении границ Царицынской губернии и о выделении Ростовской губернии подтверждается предыдущее постановление. Делалось именно то, на что указывал генерал Краснов в своих приказах и воззваниях, зажигая пожар на Дону в апреле 1918 года, и то, что оказалось провокацией в устах красновских банд. Уничтожение казачества стало неопровержимым фактом... Кому это нужно — не секрет, стоит только быть внимательным к тому, что проделывают над казачьим населением, а вместе с ним заодно и с русским народом.

Может быть, Владимир Ильич, Вы скажете, что я увлекаюсь; нет, зверские приказы по экспедиционному корпусу отдавались. Достаточно Вам их потребовать и убедиться. Это ли не пример истребления?

Есть на Дону хутор Сетраков Мигулинской станицы; хутор большой. Когда-то он служил местом лагерных сборов для казаков, которые устраивались ежегодно при самодержавии. В этом хуторе восставшие казаки Казанской и Мигулинской станиц захватили красного коменданта и с ним тридцать красноармейцев и хотели их расстрелять. Казаки х. Сетракова вступились всем хутором и отстояли красноармейцев. Восставшие казаки удалились. В это время в хутор пришел Богучарский полк из эксвойск и, собрав под видом «на митинг» до 500 казаков, начал избиение. Пока сообщили спасенному ими коменданту и пока он прискакал с возгласом: «Стой! Стой! Что вы делаете?! Этот хутор наш, советский, они меня спасли и людей!» — и потребовал остановиться, то услышал в ответ: «Нам до этого дела нет, мы исполняем приказ». Из 500 безоружных и мирных казаков коменданту удалось спасти только 100, а 400 полегли...

Вот ответ на тему «Кто такие контрреволюционеры»...

В телеграмме к Вам, Владимир Ильич, я молил изменить политику, сделать революционную уступку, чтобы ослабить страдание народа и этим шагом привлечь народные массы на сторону Советской власти.

...Насильственно построенную коммуну ждет участь коммуны Парагвая. Но тогда зачем же такая жестокость и к казакам, и к русскому крестьянству, истребляющим друг друга по своей слепоте? Не пора ли закончить и с опытом коммунистического строительства, чтобы русскому народу не остаться при разбитом корыте? Мы видим, что прямолинейность почти погубила дело.

Мне остается ответить на одиннадцатую тему: что такое социализм и как должно жить человечество... Или, скорее, не ответить, а сказать, ЧТО я ответил на митинге 25 июля с. г. в селе Пособе Саранского уезда, чтобы Вы и партия не сказали, что я контрреволюционер, изменяю трудовому народу.

Я смотрю с точки зрения беспартийного. Социальная революция — это переход власти из рук одного класса в руки другого класса. До революции была в руках царя, помещика, генерала, капиталиста, в руках буржуазии, а теперь она перешла в руки рабочих, в руки крестьян. За это теперь идет борьба. Вместе с властью в руки трудящихся перешла земля, фабрики, заводы, железные дороги, капиталы и все средства производства, какие были в руках капитала орудием угнетения трудящихся масс. Вот этот-то переход всех средств производства к народу и называется их социализацией. Лично я борюсь пока за социализацию средств производства, то есть за закрепление этих средств производства за трудящимися массами, за рабочим и трудовым крестьянством. Лично я убежден, и в этом мое коренное расхождение с коммунистами, что пока мы не закрепим этих средств производства за собою, мы не можем приступать к строительству социальной жизни на новых началах. Это укрепление я называю фундаментом, на котором и должен быть построен социальный строй коммуны.

Фундамента мы еще не построили. Отсюда моя «контрреволюция», нами же по злому умыслу питаемая...

Борьба с контрреволюцией еще в полном разгаре, а уже бросились строить дом (коммуну). Постройка наша похожа на ту постройку, о которой Христос сказал, что подули ветры, раздули песок, сваи-столбы упали, и дом рухнул. Он рухнул потому, что не было фундамента, а были лишь подведены столбы. Да, Владимир Ильич, трудно особенно теперь отвечать народным мас-

сам, когда они разочарованы в плотниках-коммунистах, когда из соседнего леса высматривает голова дезертира и, насторожив уши, жадно прислушивается: «Не тут ли истина, не здесь ли кроется спасение земли и воли, на которую посягает Колчак — Деникин?»

Я сторонник того — не трогая крестьянина с его бытовым и религиозным укладом, не нарушая его привычек, увести его к лучшей и светлой жизни личным примером, показом, а не громкими трескучими фразами доморощенных коммунистов, на губах которых еще не обсохло молоко, большинство которых не может отличить пшеницы от ячменя, но с большим апломбом во время митингов поучает крестьянина ведению сельского хозяйства...

Я не хочу сказать, что все трудовое крестьянство оттолкнулось от Советской власти. Нет, в ее благо оно еще верит. Но измученное в напрасных поисках правды и справедливости, блуждая в сумерках, оно только обращается к вам, идейным советским работникам: «Не сулите нам журавля в небе, дайте синицу в руки».

А теперь, раскрыв свои задушевные мысли и взгляды, заявляю:

1. Я — беспартийный.

2. Буду до конца идти с партией большевиков — если она будет вести политику, которая не будет расходиться на словах и на деле, — как шел до сих пор.

3. Всякое вмешательство сомнительных коммунистов в боевую и воспитательную сферу командного состава считаю недопустимым.

4. Требую именем Революции и от лица измученного казачества прекратить политику его истребления. Отсюда раз и навсегда должна быть объявлена политика по отношению казачества, и все негодяи, что искусственно создавали возбуждение в населении с целью придирки для истребления, должны быть немедленно арестованы, преданы суду и за смерть невинных людей должны понести революционную кару.

Без определенной, открытой линии поведения к казачеству немыслимо строительство революции вообще. Русский народ, по словам Льва Толстого, в опролетаризации не нуждается. Социальная жизнь русского народа, к которому принадлежат и казаки, должна быть построена в соответствии с его историческими, бытовыми и религиозными мировоззрениями, а дальнейшее должно быть предоставлено времени.

...Я отказываюсь принимать участие в таком строительстве, когда весь народ и все им нажитое растрачивается для цели отдаленного будущего, абстрактного. А разве современное человечество — не цель? Разве оно не хочет жить? Разве оно настолько лишено органов чувств, что ценой его страданий мы хотим построить счастье какому-то отдаленному человечеству?! Нет, опыты пора прекратить. Почти двухгодовой опыт народных страданий должен бы убедить коммунистов, что отрицание личности и человека — есть безумие.

5. Я борюсь с тем злом, какое чинят отдельные агенты власти, то есть за то, что высказано председателем ВЦИК т. Калининым буквально так: «Комиссаров, вносящих разруху и развал в деревню, мы будем самым решительным образом убирать, а крестьянам предложим избрать тех, кого они найдут нужным и полезным...»

Хотя, увы, жизнь показывает другое... Я знаю, что зло, которое я раскрываю, является для партии неприемлемым полностью, и Вы, по мере сил своих, тоже боретесь с ним. Но почему же все те люди, что стараются указать на зло и открыто борются с ним, преследуются вплоть до расстрела?

Возможно, что после этого письма и меня ждет та же участь, но смею заверить Вас, Владимир Ильич, что в лице моем подвергнется преследованиям не мой индивидуальный протест против разлившегося по лицу республики Зла, а протест коллективный, протест сотен тысяч и десятков миллионов людей...

6. Я не могу быть в силу своих давнишних революционных и социальных убеждений ни сторонником Деникина, ни Колчака, ни Петлюры, Григорьева и др. контрреволюционеров, но я с одинаковым отвращением смотрю и на насилия лжекоммунистов и... в силу этого не могу быть и их сторонником.

7. Всей душой страдая за трудовой народ и возможную утрату революционных завоеваний, чувствую, что могу оказать реальную помощь в критический момент борьбы при условии ясной и определенной политики по казачьему вопросу и при полном доверии ко мне и моим беспартийным, но жизненно здоровым взглядам. А заслуживаю ли я этого доверия — судите по этому письму.

Искренне уважающий Вас
и преданный Вашим идеям, комдонкор
Миронов[1].

31 июля 1919 г. г. Саранск

Служебная записка из Ревтрибунала Республики № 10—10 от 10.X.19 г.

Председателю Реввоенсовета Республики ТРОЦКОМУ

В практике Реввоенсоветов фронтов, армий и РВСР встречаются случаи образования чрезвычайных следственных комиссий и чрезвычайных трибуналов для рассмотрения дел особой важности, а также иногда и дел, подсудных Ревтрибуналу Республики, причем последний об этом даже не уведомляется.

В таком же порядке был образован недавно трибунал по делу о мятеже Миронова. РВТР полагает, что в интересах общей организационной работы необходимо обязать Реввоенсоветы немедленно уведомлять РВТР о всех случаях учреждения чрезвычайных следкомиссий или чрезвычайных трибуналов. <...> В противном случае, при самостоятельном функционировании на фронте разного рода чрезвычайных следкомиссий и трибуналов, учреждаемых без ведома и участия РВТР, он фактически лишается возможности осуществлять право контроля и руководства...

Как видно из опубликованного сегодня постановления ВЦИК, ч р е з в ы ч а й н ы й трибунал приговорил Миронова и его соучастников к расстрелу, одновременно возбудив ходатайство перед ВЦИК о поми-

[1] ЦГАСА, ф. 1304, оп. 4, д. 46, л. 7—17.

довании... РВТР усматривает из этого, что Чрезвычайный трибунал не отдавал себе должного отчета в истинном значении возложенного на него задания и предоставленных ему полномочиях. <...>

Народные суды РСФСР и РВ Трибуналы Красной Армии не связаны в своей деятельности никакими формальными условиями при определении ВИНЫ и НАКАЗАНИЯ, и поэтому является недостойным авторитета трибунала, когда он выносит приговор, ПРИВЕДЕНИЕ В ИСПОЛНЕНИЕ КОТОРОГО САМ СЧИТАЕТ НЕСПРАВЕДЛИВЫМ, как это произошло в настоящем деле.

Такой приговор вызывает предположение о НАЛИЧИИ ПОСТОРОННЕГО ВЛИЯНИЯ на трибунал, в результате которого трибунал определил наказание, по его собственному УБЕЖДЕНИЮ, не соответствующее виновности осужденных.

Ввиду изложенного, в целях установления общего порядка при производстве дел, подсудных РВ Трибуналам, РВТР просит РВСР издать соответствующее постановление, проект которого прилагается.

Председатель Революционного Военного Трибунала Республики *Легран.*

10

Ивар Смилга был послушным орудием в руках Троцкого, но и он в душе посмеивался над мелкой суетливостью вождя в этом, вообще-то частном, мироновском процессе. Высшая мера наказания всем главарям мятежа была предопределена заранее, все обусловлено с глазу на глаз, и вдруг — как гром среди ясного неба — телефонный звонок из штаба фронта, от Ходоровского: не спешить с окончательными выводами, а если выводы уже сделаны, то не спешить с приведением их в исполнение. Утром был звонок, а к концу дня, вслед за последним словом подсудимого Миронова, Смилге передали шифровку чрезвычайного содержания:

По прямому проводу, шифром

Балашов, Смилге

(если нельзя прямо в Балашов, то передать в Саратов, Реввоенсовет, с просьбой передать немедленно Смилге)

Ответ о мироновском процессе наводит на мысль, что дело идет к мягкому приговору. Ввиду поведения Миронова полагаю, что такое решение было бы, пожалуй, целесообразно. Медленность нашего наступления на Дон требует усиленного политического воздействия на казачество в целях его раскола.

Для этой миссии можно, может быть, использовать Миронова, вызвав его в Москву (после приговора) и помиловав через ЦИК — при его обязательстве направиться в тыл и поднять там восстание.

Сообщите Ваши соображения по этому поводу.

Предреввоенсовета *Троцкий*[1].

7 октября 1919 г., № 408

Неизвестно, чего здесь было больше, мелкого политиканства, вероломства или откровенного макиавелизма, но выполнить эту директиву Смилга был обязан.

Во время перерыва Дмитрий Полуян и оба члена присутствия получили указание: во-первых, приговорить Миронова и не менее десяти верных ему пособников к расстрелу и, во-вторых, в частном определении трибунала, непосредственно в приговоре, просить ВЦИК помиловать всех осужденных ввиду их чистосердечного раскаяния.

Ничего подобного не знала судебная практика России, во всяком случае на памяти современников, чтобы один и тот же суд, вынося крайнюю меру наказания, сам же и подвергал ее сомнению. Нелепость подобного документа особенно-то не занимала ни Дмитрия Полуяна, ни его товарищей: все это в значительной мере походило на фарс.

Частное определение не было оглашено при чтении приговора — эта жестокость предполагалась в качестве основной меры — с тем, чтобы осужденные могли до конца прочувствовать всю глубину своего падения... И лишь на рассвете, когда у них стыла кровь в жилах, было объявлено о помиловании от имени правительства.

Миронова перевели в военные казармы под домашний арест «до особого распоряжения», вернули золотые часы — награду РВС армии. Но Троцкого не оставляли заботы о судьбе помилованных.

10 октября он вновь телеграфировал Смилге:

Я ставлю вопрос на обсуждение: мы даем полную «автономию» донскому казачеству, если они целиком порывают с Деникиным. Должны быть созданы соответствующие гарантии. Посредниками могли бы выступить Миронов и с ним помилованные, коим немедленно бы отправиться в тыл Дона. Пришлите Ваши письменные соображения... *Троцкий.* № 409[2].

В своем ответе Смилга поспешил сообщить, что сам Миронов стоит против какой-либо автономии Дона, что он за Советскую власть, поэтому нет никакой необходимости входить в этот вопрос. Троцкий немедля поправился:

Никакого решения об автономии Дона, разумеется, нет... Слово «автономия» поставлено в кавычках суммарного наименования тех уступок, какие мы можем дать казачеству... Практически вопрос сводится к тому, считаете ли Вы целесообразным направить Миронова и других в глубь Дона и каким образом: как начальника отряда, дав ему несколько сот сабель и десяток агитаторов, или же как нелегального агента. Об этом я и запрашивал в первой моей телеграмме. *Троцкий.* № 410[3].

Прочитав эту депешу, Смилга саркастически усмехнулся. Любопытно следить за слабостями «великих»,

---

[1] ЦГАСА, ф. 33987, оп. 2, д. 32, л. 441.
[2] ЦГАСА, ф. 33987, оп. 2, д. 32, л. 443.
[3] Там же.

за дотошливым стремлением их стереть в порошок даже самого мелкого противника... Впрочем, Троцкий горячился не только по поводу Миронова. В середине сентября он телеграфировал и по поводу Буденного:

...Настроение частей Конного корпуса Буденного внушает серьезные опасения. С продвижением на Юг корпус грозит стать очагом новой, более опасной мироновщины. Необходимы немедленно серьезные меры. Как одну из них предлагаю: всех комиссаров, политработников корпуса Миронова, оказавшихся на высоте, включить кавалеристами в наименее надежные части корпуса Буденного... № 385[1].

Миронова помиловали, но Миронова нужно уничтожить немедля. Хотя бы руками белой контрразведки!.. Нельзя же так, дорогой Лев Давидович, нельзя! Мелко, суетно и — на бланках собственного ведомства, а они, как известно, считаются документами вечного хранения, могут попасть на обозрение благодарных и вполне беспристрастных потомков!..

Не все бумаги, как понял Смилга, надлежало исполнять. Пуще того — не все их можно было и выполнить! Миронову предоставлен был длительный отдых, ни о какой авантюре «в тылах Деникина» не могло быть и речи. Прояснялись и некоторые сложности саранского дела. Примерно в эти же дни Смилга получил личное письмо из ЦК партии. В нем значилось:

«Дорогой Ивар Тенисович!

На последнем заседании Оргбюро у нас были горячие дебаты по отношению некоторых казачьих офицеров, которые проявили себя так или иначе во время мироновщины и прежде по работе в Донской области. Относительно этих офицеров предостерегали и раньше, указывали на то, что они ВО ВРЕМЯ ОНО проводили директиву умышленно «сугубо точно», зная, что такое проведение не может не вызвать острой реакции, а она в свою очередь приведет к восстанию.

После того как мы отступили из Донской области, некоторые товарищи из Казачьего отдела предупредили, что Ларина, Болдырева, Рогачева в будущем нельзя пускать в Донскую область, так как они там оставили после себя отчаянную память, и что им вообще ни в коем случае нельзя доверять...

Елена Стасова.

Стасова была секретарем ЦК партии, и, следовательно, со Смилги могли спросить, почему он в свое время не посчитался со сведениями Казачьего отдела, почему группу Ларина послали в корпус Миронова...

Впрочем, что ж, теперь оставалось придерживаться линии Троцкого, он был в силе. Посоветовавшись, решили Ларина оставить на политработе, Болдырева командировать политкомом в кавгруппу Блинова, а Рогачева отдать в руки следователей за прошлые перегибы и незаконные контрибуции, дабы успокоить возмущение на местах.

[1] ЦГАСА, ф. 33987, оп. 2, д. 32, л. 398.

11

...Он знал, предчувствовал, что Надю в Нижнем также арестовали как заложницу, едва он выступил из Саранска. И вдруг увидел ее во сне, на крыльце какой-то неизвестной ему больницы, с запеленатым младенцем на руках, постаревшей на много лет, с огромными, полными ужаса и слез глазами и большим некрасивым ртом. Миронов обнял ее и придержал, притиснув к груди, опасаясь, что ей откажут ноги. Такие недавно крепкие и стройные, укрощавшие шенкелями добрых кавалерийских коней, державших ее в седле с утра и до вечера на длинных маршах, рядом с мужем. И, странное дело, он как бы не замечал на ее руках младенца, не спросил даже, сына или дочку принесла она ему...

Надежда проглотила рыдание, и он понял по ее темным глазам, полным боли и недоумения, что она никогда не забудет этого.

— Надя, родимая, жена моя, прости! Я не мог! Не мог иначе... — сказал Миронов виновно, с колотящимся сердцем и проснулся.

Его тихо покачивало на вагонной полке. Под гулким полом постукивали колеса на рельсовых стыках. Шумел за окном осенний ветер.

В двухместном купе было темновато, зыбкий свет струился из окна, на соседней полке похрапывал вестовой... Серебряная шашка, которую вернули Миронову после помилования, висела с портупеей на стенке и при большой скорости и торможении методично и вкрадчиво постукивала серебряным наконечником ножен о крашеные, фальцованные дощечки вагонной обшивки, будто напоминала о себе.

Миронов возвращался к прежним отношениям с миром вещей и понятий, смотрел в голубоватое, рассветное окно, а сердце болело, и не выходил из ума тревожный сон. Что с Надей? Не было ли беды?

Поезд миновал уже Рязань, к самой линии вышла широкой излучиной хмурая, осенняя Ока. Над холодными водами свисали с берега обглоданные козами ивняки.

...Номер в бывшей фешенебельной гостинице «Альгамбра» был огромный, нетопленый. Паркет, лепные потолки, фризы и завитушки гипса, роскошь, но топят из рук вон, пар дыхания по утрам, как в нежилом сарае. Греться надо морковным чаем, а если чай кончится, то пустым кипятком из кубовой. Война.

Охрану в Москве сняли, и сразу же, как по сигналу, — гости! Серафимович, земляк-писатель, казаки Макаров и Слышкин из отдела, да со свертками — чего только нет! А ничего и нет, скудные нынешние пайки из Кремля: вобла, какая-то крупа вроде пшена, но называется «магар», гусиный корм (Макаров тут же сказал, что с этой крупы ни навару, ни вкусу, только и доброго, что горячо!), но еще и академический паек Александра Серафимовича — кусок брынзы, специально для ослабленного тюрьмой и разными размышлениями организма, ведь так или иначе, но придется еще скакать в седле и на тачанке, мало ли в жизни предстоит еще боев и неожиданных атак!

Нет, все-таки чудной и странный народ, эти каза-

ки! Право слово. Горожане, многие во всяком случае, их считают почему-то гордо-спесивыми, холодными солдафонами, а ведь все по сути наоборот: люди-то все больше незащищенные, разбросанно-распоясанные, хоть узлы из них завязывай! Чуть сошлись вместе, шум, насмешки, взаимные уколы, чепуха всякая, и даже сам Филипп Кузьмич, более собранный и молчаливый по характеру, среди них сразу отмяк душой, и глаза немного повеселели, будто и не было балашовского потрясения. Отчасти и делал вид, что уже все забыл. Такая привычка у всякого военного человека: скорее забывать подробности недавней схватки, чтобы мог сгодиться к дальнейшим действиям... Только морщины под глазами и между бровей означились резче.

Пили желудевый кофе. Серафимович, совсем уж облысевший старик, размачивал в кружке каменно-твердый сухарь, Макаров пробовал разгрызть такой же сухарь без размачивания, и, казалось, из смеющегося рта у него летели искры. Миронов дурачился:

— Ты, Матвей Яклич, до службы, случаем, не умел граненые стаканы разгрызать на посиделках, ради потехи? Зубы, как я посмотрю, подходящие!

— Ну что вы, Филипп Кузьмич, какие у нас зубы! Шамкаем, как столетние деды, хрящика перекусить не могём. Если уж у кого зубы, так это у льва, царя зверей! Вот животная проклятая, зубастая!

Макарову можно только удивляться. Человек с высшим образованием, в коммерческом институте преподавал, но дури и всяческой лихости на себя напустить может сколько угодно. Чуб отрастил бутафорский едва ли не до потолка, нос картошкой, шаровары темно-голубые с красными лампасами — здешних комиссарских жен пугать! Говорит как отрубает:

— Ильич не дал нас в обиду льву! Лев — животная такая, что в рот палец не клади, отхватит руку по локоть. Собрал вокруг целую когорту! Да это бы не страшно, но плохо одно: прихварывает Ильич нередко, и все из-за прошлогоднего ранения. Стерлядь эта, сука эта Каплан чего наделала! Вы меня извините за терминологию, иначе не могу!.. Да, но при всем том надо же работать, бороться, прокладывать дорогу дальше! Вот вам, Миронов, свежие приказы нашего отдела, вот газеты, вот книжки и брошюры. Изволь в первую очередь ознакомиться: в «Известиях» — «Тезисы ЦК о работе на Дону» 30 сентября приняты, вполне открытая и деловая политика по отношению к трудовому казачеству. Тут, конечно, сказано, что «мятеж Миронова вырос из политической отсталости и предрассудков среднего казачества...», но это сказано было до процесса, иначе тогда и не мыслилось, крупный возник переполох. Но видишь, уже и тогда записали черным по белому и в том же постановлении: «Мы строжайше следим, чтобы продвигающаяся вперед Красная Армия не производила грабежей, насилия и проч... твердо помня, что в обстановке Донской области каждое бесчинство красных войск превращается в крупный политический факт!» И главное: «Нашей поддержке бедноты и части середняков необходимо сразу придать демонстративный политический характер. Столь же демонстративный характер нужно придавать расправе над теми лжекоммунистическими элементами... — слышишь, прямо от Миронова заимствовали термин, да, — которые проникнут на Дон и попадутся в каких-либо злоупотреблениях». Ну, кто победил? Правда победила, Ленин победил, и мы с тобой, Филипп Кузьмич, хотя и не следовало, конечно, так горячиться... А вот еще: «Необходимо ясное и настойчивое проведение в агитации и на практике той мысли, что мы не приневоливаем к коммуне». Не приневоливаем! Ну, и так далее!

Миронов повеселел, теперь уже не только от встречи и веселой пирушки, а на всю глубину души. Посветлел мыслью, потому что плоды его страданий и даже воинского проступка были куда важнее и дороже, может быть, всей его отдельной человеческой судьбы, как бы дорога для него она ни была. Изменилось что-то весьма важное в жизни. Теперь не стыдно будет и простым казакам в глаза глянуть, не скажут: куда ты завел нас? А яма, приготовленная для него, засыпана пустой, и при этом положение в Республике выяснилось настолько, что принято особое решение в ЦК большевиков, черт возьми!

— Лев в своей статейке «Полковник Миронов» забил осиновый кол в пустую могилу. Теперь, что же, извиняться будет? — как бы подслушав его мысли, спросил Макаров Серафимовича.

Тот лишь вздохнул тяжело и не стал отвечать. Он понимал все эти вопросы глубже, видел их сложность. Между тем Миронов сверкнул жмуристыми глазами, тронул правый ус горделивым движением:

— Льстит, понимаете, самолюбию, когда осиновый кол вбивается не... руками человека, всегда пристрастного, с сомнительными устремлениями, а руками истории, которой не откажешь в беспристрастности. Эта старушка куда порядочнее, и она-то уж выберет — в чью могилу!

Пришло время и для вопросов.

— Да, друзья! Просветите касательно положения на фронтах, а то я ведь не читал в последние дни газет! Где Блинов? Где родимая 23-я с Голиковым? Где незабвенный Самуил Медведовский, которого «разжаловали» под горячую руку вместе с еретиком Мироновым?

Вопрос был задан с беспечным видом, но Макаров не принял такого тона, отвечал хмуро:

— Медведовский твой чувствует себя прекрасно, его еще летом вернули в 16-ю дивизию. Эйдеман пошел в командармы, ну а лучшего начдива для дивизии не найдешь, они же там, помнишь, бунтовали за него...

— И правильно сделали! — сказал Миронов.

— Подожди, Филипп Кузьмич, — усмехнулся Макаров. — Тут просматривается и нечто скверное. Просматривается некий спектакль. Неужели не понятно? Когда надо, дескать, то кого угодно сбросим с колокольни! Тем более если этот Медведовский запросто чаи распивает с Мироновым. Но как только Миронова законопатили в бочку и пустили по «морю-окияну», то не забывают поправить вопрос и в дивизии! И волки сыты, и дивизия довольна, и моральное настроение в когорте не пострадало. Эта фракция нам еще нос утрет кое в чем, Филипп Кузьмич. А ты радуешься.

— Да черт с ними, ты про Голикова с Блиновым расскажи! — упавшим голосом крикнул Миронов. Не терпел он в жизни грязной возни, кем бы она ни велась.

— Ну, 23-я ничего, огрызается где-то в составе 9-й армии... Командармом теперь Степинь, из 14-й стрелковой... А с Блиновым плохо дело. Поставили его тогда на пути Мамонтова, под Новохоперском, а силы-то были неравные... Так что... В бывшей твоей бригаде, Филипп Кузьмич, вряд ли четыре сотни сабель наберется теперь. Чуть ли не все легли! И жалко, и знаешь причины, а помочь как? Везде по фронту, от Камышина до Курска и Белгорода, сплошная рубка и ад... В той же 16-й дивизии, у Медведовского, Мамонтов только в одной атаке вырубил девятьсот бойцов, на линии Гуково — Заповедная... Самый накал: мы или они! Может, попросишься снова на дивизию?

Миронов как будто и не слышал его предложения, пропустил без особого внимания и сведения о потерях Самуила под Гуково (на войне чего не бывает!), но его в самую душу укусила беда бывшей своей кавбригады. Он стиснул зубы, и лицо его вновь осунулось от горя.

Четыре сотни — в его бывшей коннице, бригаде Блинова? Да ведь их было полторы тысячи только в седле, не считая штабов и нестроевых коноводов! Граждане, да нельзя ведь так воевать, это же люди, наши земляки, живые души! Их же по станицам и хуторам жены с детишками ждут, старики немощные и престарелые матери! Да и с чем же мы останемся, когда победим? Куда же вы глядели-то, сукины сыны? И Блинова самого отдал бы под трибунал за это, дурака немытого! Ну, силы неравные, понятно, так надо же было маневрировать, скакать, клевать с тылов, да по ночам уводить за собой, оставляя им на пути пустые сеновалы и сухие колодцы, чтоб заморить вражьих коней в первую очередь! Жарить с пулеметных тачанок там, где не ждут! — ведь азбука же, простейшая азбука кавалерийской войны! А вы? Мамонтов, Мамонтов, только и слышно, будто под этого москаля на драгунском седле и ключей подобрать нельзя!

Все это хотелось сказать сейчас, немедля, но он никого не мог обвинять, потому что и сам не так давно растерялся перед групповой подлостью, нарушил дисциплину, довел митинговщину до мятежа...

— Взял бы дивизию вновь, как бы дали! — с сердцем сказал Миронов. — Но тут кое-где созревает мнение, чую, что лучше сейчас мне в военные должности не ходить. Шибко мной недоволен товарищ Троцкий, а ведь он пока что нарком по военным делам, никто иной... Говорили мне сведущие люди. Со Жлобой как было в Царицыне? Услал его в астраханские пески с партизанским отрядом в двести сабель, в белых тылах доли искать, калмыков поднимать против Деникина, задумано было неплохо: Жлобу-то услали на верную смерть! Хорошо, что белые про этот отряд ничего не знали долго, даже не подозревали о его существовании. Выкрутился, хитрый Дмитрий, сколотил все же конную бригаду там, вернулся вновь героем. Так ведь то — прямое везение, мог бы такой гуляш на стол Деникину попасть, что и сказать страшно. Нет, тут надо подумать. Вызвали вот, не знаю еще, что скажут. Но ясно, вызвали — не на смотрины...

Еще долго говорили о Блинове, о жертвах гражданской войны, зачастую неоправданных и жестоких. О семье Миронова, которая стараниями Казачьего отдела была своевременно вывезена с занятой белыми Донщины и укрывалась теперь где-то в тылах. О Наде, от которой он ждал теперь скорого письма. Прощаясь, Макаров посоветовал:

— Надо готовиться, Филипп Кузьмич, к серьезному разговору. Даром, что вас помиловали, надо еще доказать и полную свою невиновность с политической стороны, с душевной. Обстановка везде серьезная, рук опускать не моги и думать!

...Утром в холодный номер к Миронову постучали.

Высокий, мрачноватый дядя в кожанке, в комиссарской кожаной фуражке со звездочкой молча козырнул, не переступив порога:

— Товарищ Миронов? За вами — автомобиль.

Дверь осталась полуоткрытой, Миронов надел белую свою папаху, шинель. Отдал ключ дежурной.

Он предполагал, что повезут его на Лубянку. Но машина, едва свернув с Тверской на Охотный ряд, чуть миновала Театральную площадь и стала около какого-то старинного здания с табличкой «Первый Дом Советов»...

— Сюда?.. — удивился Миронов.

— Да. На квартиру, — односложно ответил неразговорчивый спутник.

«На квартиру? На чью?» — хотел спросить Миронов, но воздержался.

Ступени парадной лестницы бывшей гостиницы «Метрополь», только без ковров, вестибюль второго этажа, обитые кожей двери. Звонок.

Горничной в этом номере, по-видимому, не полагалось. Двери изнутри открыл сам хозяин — высокий, тонкий, лобастый человек с болезненно напряженными глазами, в меховой безрукавке и шинели внакидку. В этом Доме Советов было так же нетоплено, как и в фешенебельной «Альгамбре»... Протянул сухую, горячую руку:

— Дзержинский. Проходите, пожалуйста. Раздевайтесь.

Миронов разделся, повесил шинель на лакированный деревянный колок у роскошного зеркала. Смиряя волнение, достал расческу и успел еще дважды махнуть над залысинами, приводя голову в порядок. В зеркало глянуть постеснялся: и так хорош!

— Сегодня будний день... — сказал он, разведя руками и оглядывая квартиру.

— Да, я сегодня не на службе, — ответил Дзержинский. — По врачебному листку, но скорее — под домашним арестом. Велено сидеть дома.

Миронов молчаливо спросил: кем же?

Дзержинский, понимая его напряженность, счел нужным пошутить, для разрядки:

— Товарищ Ульянов-Ленин арестовал. Вынес постановление, представьте.

— Если здоровье требует, то...

— Проходите, Филипп Кузьмич. Побеседуем, — кивнул в глубину Дзержинский.

Миронов вновь напрягся. Предстоял разговор, суть которого можно было лишь предполагать, но который мог и решить его судьбу. Оттого острое волнение переполняло душу, и он втайне боялся за свою запальчивость, возможный срыв.

Дзержинский, не снимая шинели, сел на диван к небольшому круглому столику красного дерева. Кивнул на место рядом с собой.

Сказал, зябко запахивая шинель тонкими исхудавшими руками:

— Все ваши претензии, изложенные в письме на имя Владимира Ильича, проверены, это и послужило причиной приостановки суда. Но...

Миронов, в его нынешнем состоянии, не умел слушать, он мог только говорить, выпаливать словно из пулемета нечто свое, накипевшее не только на суде, но и в разговоре вечернем, о трагедии красной конницы...

Он сказал, не дожидаясь необходимой паузы в речи Дзержинского:

— Гражданин Феликс Эдмундович, в моем письме вовсе не затронута и не высказана самая главная и насущная претензия, которая витает в воздухе и ясна всем! Только с нее можно и начинать разбор дела...

Дзержинский терпеливо стянул полы накинутой шинели нервными руками, глаза у него тем не менее были строгие, непримиримые.

— То есть? — сухо спросил он.

— По вине высших штабов, из-за предательства разных «носовичей»... искусственно! (Миронов нажал на это «искусственно» до спазмы в горле) допущены нелепые переформирования, из-за которых мы потеряли не только инициативу, но всю Донскую область, весь Юг России, хлебный урожай этого года. А что такое утеря годового урожая для голодной Республики, во что это обходится народу, совсем не требуется много объяснять.

Он встал.

— Вы садитесь, — сказал Дзержинский. — Какая-то доля правды, возможно, есть и в этом... Изменников немало... Но вы, как всегда, увлекаетесь, Миронов. Вам кажется, если обезглавили вашу ударную группу войск под Новочеркасском, то это и причина? А поставки Антанты, политические моменты, усиление Колчака, просчеты политики... И ваш собственный вывих, Миронов, когда вы все так хорошо понимаете! Странно, что воинская дисциплина отступила перед анархизмом и партизанщиной, с которой вы сами так непримиримо...

— Дисциплина, Феликс Эдмундович, не в том, чтобы слепо подчиняться приказу, и только, — снова загорячился он. — Дисциплина — это не страх, не чувство повиновения, а нечто духовное, то, что внутри нас. Может быть, долг! И этот долг вынуждает иногда посягать на формальную дисциплину! Наикрепчайшая связь между командой и пониманием ее снизу — вот что такое новая, сознательная дисциплина. В нашей армии, не в белой!

— Иными словами: демократический централизм, вы хотите сказать? — улыбнулся Дзержинский, и глаза его потеряли холодноватый отблеск металла, в них мелькнула заинтересованность.

— Я не знаю, как это называется на партийном языке, я беспартийный, — сказал Миронов, сбавив голос.

— Давно следовало стать членом партии на вашем месте, — заметил на это Дзержинский.

— Я поругался с этими политическими банкротами с Хопра, Лариным и прочими. Они высмеяли мою преамбулу в заявлении.

— Попробуйте еще. И напишите более обдуманную преамбулу, — снова усмехнулся Дзержинский.

Миронов выпрямился за столом, порываясь встать, но Дзержинский предусмотрительно положил ему руку на колено.

— Я думал об этом. Но... после Саранска? И всего, что случилось? Да кто же меня... И кто даст поручительство?

— Я дам поручительство. — Дзержинский, все так же зябко стягивая полы своей длинной шинели, прошелся по комнате и сказал с прежней сухостью: — Этот Рогачев... мы его арестовали... оказался очень большой сволочью и провокатором. Сейчас для нас первейшая задача — чистка персонала, а после гражданской, возможно, и чистка партии!

— Я же писал об этом Владимиру Ильичу, — кивнул Миронов.

— Хорошо. Теперь о главном, — остановился Дзержинский посреди комнаты и выпустил из рук полы шинели. — Заявление в партию, если вы это уже хорошо обдумали, напишите сейчас же. Здесь. С нынешнего дня и будет исчисляться стаж кандидата или сочувствующего... Я доложу об этом в ЦК. Но это не все. Вы должны написать еще листовку, обращение к казакам, в основном тем, которые еще воюют против нас, к белым, я хотел сказать, казакам. Ну и к колеблющимся, которые нам не доверяют. Это обращение будет направлено на Дон и Кубань от имени ВЦИК или даже от имени съезда Советов...

Тут Миронов поднялся — руки по швам:

— Я почту за великую честь, если мне будет доверено написать такое обращение от имени правительства.

— Это на свободе, вооружившись кое-какими директивными документами. Подумайте и над этим.

— Мне ничего не потребуется для этого, — сказал Миронов. — У меня есть газета «Известия» с тезисами ЦК партии «О работе на Дону» — там есть все что нужно.

— Действительно. Там есть все что нужно. В таком случае садитесь за стол и пишите заявление. Вот перо, вот бумага. А я пока принесу с кухни кофейник... — сказал Дзержинский.

ДОКУМЕНТЫ

Из решения Политбюро ЦК РКП(б)
23 октября 1919 г.

4-й вопрос повестки: О Миронове (по докладу т. Дзержинского).

Постановили:

1. Миронова от всех наказаний освободить.

2. Ввести его в состав Донского исполкома.

3. Освободить от наказания остальных.

4. Ввиду заявления Миронова тов. Дзержинскому о желании вступить в Коммунистическую партию, признать, что он может войти в партию лишь обычным порядком, то есть пробыв сначала сочувствующим не менее трех месяцев, причем по истечении стажа вопрос об окончательном приеме в партию должен рассматриваться в ЦК[1].

Из обращения VII съезда Советов рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов к казакам

Трудовые казаки Дона, Кубани, Терека, Урала, Оренбурга и Сибири!

Всероссийский съезд Советов рабочих, крестьянских, красноармейских и трудовых казацких депутатов, избранный волею миллионов трудовых людей нашей страны, обращается к вам с этими словами увещания и призыва...

Вас долго обманывали, братья казаки. Генералы и помещики говорили вам, будто Советская власть хочет отнять у вас землю, разрушить ваш быт, закрыть ваши церкви, насильно ввести коммуну. ЭТО КОВАРНАЯ ЛОЖЬ И НАГЛАЯ КЛЕВЕТА.

Земель ваших Советская власть не тронет. Напротив, трудовым казакам она предоставит те земли, которые будут отобраны у помещиков и кулаков. Наряду с казаками будут наделены землей и казачки.

Никого из вас, казаки, Советская власть насильно не потащит в коммуну. Знайте: коммуна есть дело добровольного согласия — кто не хочет идти в коммуну, будет иметь полную возможность жить своим хозяйством под защитой и при поддержке Советской власти.

Церковь в Советской России отделена от государства и стала свободным достоянием верующих. Никакого насилия над совестью, никакого оскорбления церквей и религиозных обычаев Советская власть не допустит и не потерпит.

Всероссийскому съезду Советов известно, что на местах происходили злоупотребления отдельных недостойных представителей по отношению к трудовому казачеству, так и к другим группам населения. Таких недостойных представителей рабоче-крестьянского правительства Советская власть карала беспощадно и впредь будет карать.

Казаки, Советская власть чужда мести. От имени десятков миллионов тружеников и тружениц городов и сел мы говорим вам:

Пробудитесь, опомнитесь, одумайтесь, казаки! Идите к нам! Тогда мир, спокойствие и благоденствие наступят на Дону, на Тереке, на Кубани, на Урале, в Сибири и по всей стране.

Да здравствует честное, сознательное, красное казачество!

Да здравствует нерасторжимый союз рабочих, крестьян и казаков всей России!

6 декабря 1919 г. Москва.

12

В белом Новочеркасске никто не верил, что явный бунт и мятеж в осажденной совдепии будет в конце концов прощен московскими комиссарами. Но к исходу года толки о расстреле всеобщего врага Миронова стали угасать. И вот на редакционный стол Федора Дмитриевича Крюкова попала московская газета «Известия» за 7 декабря, и все окончательно прояснилось. В газете на целый подвал растянулся вопрошающий, дегтярно-черный заголовок «Почему Миронов помилован?» — и подписал эту статью сам балашовский судья Дмитрий Полуян.

Во всем этом заключена была дьявольская гибкость политики, и Федор Дмитриевич снова впал в ипохондрию и растерянность. Он уже не метал громов и молний на головы Мироновых, Дорошевых, Блиновых, Летуновых, Горячевых, Стрепуховых, Детистовых, Бахтуровых, Клеткиных, Ковалевых, Быкадоровых, Зотовых, Трифоновых... Не бормотал и навязшего в зубах на скорую руку сочиненного афоризма «Делу правому служить — буйну голову сложить...» — и только вздыхал, потерянно отмахивался, когда сотрудники докучали на работе.

Сложные чувства обуревали его в связи с мироновским делом по ту сторону фронта. Во-первых, он с самого начала не разделял повсеместного мнения о Миронове как мятежнике против большевистской власти, понимая всю сложность происшествия. Не поддерживал, по личным причинам, разумеется, всеобщего злорадства по поводу драмы Миронова. Но наряду с тем и, может быть, даже подсознательно ему хотелось красной расправы над красными казаками, как некой божьей кары за их первое отступничество. Он желал возмездия — не самому Филиппу Миронову как бы, но всему мироновскому движению в Донской области. Он торжествовал и плакал одновременно, жалея и проклиная, и вот будто захлебнулся и стал в тупик, заглянув в красную газету.

Справедливость не восторжествовала. А кроме того умерла, не родившись, самая основная, ударно-смысловая глава его будущей книги о нынешней всероссийской смуте. Во всем этом он видел ту самую роковую несправедливость судьбы, которая, как ему казалось, сопутствовала ему чуть ли не с самого дня рождения...

Он читал статью Полуяна в газете, скрипел зубами от ярости и едва ли не плакал. Все в этой статье казалось ему до последней степени лицемерным и кощунственным.

Какая грубая агитация, господи! «Вынося свой приговор, Чрезвычайный трибунал ни на минуту не забывал, что перед ним находится представитель трудового казачества, союз с которым не только возможен, но диктуется всем характером, всем существом Советской власти. Приговорив Миронова и мироновцев к расстре-

[1] Биографическая хроника В. И. Ленина, т. 7, с. 594, 602.

лу, надо было их амнистировать и тем самым показать, что Советская власть всегда готова протянуть руку примирения, если она видит перед собой не злостных контрреволюционеров, а людей, впавших в заблуждение и готовых кровью искупить свою ошибку».

«Ошибка — вступиться за право и достоинство?» — негодовал Крюков.

«Кто такие мироновцы?.. — спрашивала газета. — Среди них нет ни одного банкира, помещика или буржуя. Больше того, если вы возьмете любого из них, то увидите, что каждый так или иначе пострадал от Деникина и Краснова: у одного семья вырезана, другой сам подвергался насилиям, у третьего дом разорен и т. д.»

«В мироновщине скрещиваются, переплетаются, порой в неожиданных сочетаниях, самые разнообразные политические влияния, но с явным преобладанием (и это типично для середняков) того из этих влияний, которое можно назвать советским...»

Оправдание (или прощение) мироновцев поставило точку в длительных размышлениях и внутренней душевной борьбе Крюкова. Он чувствовал, что гражданская война подошла не только к завершению боев с оружием в руках, но к своему логическому концу. Уморились-таки...

Корпус Думенко и Блиновская кавдивизия подходили между тем к Новочеркасску. Оставалось спокойно, с холодным рассудком ждать эвакуации, приводить в порядок бумаги, архив, багаж, завершать дневник, никому не нужный и, пожалуй, бесполезный... Тут еще наваливалась подготовка к собственному юбилею — 8 февраля (по старому, разумеется, стилю) ему исполнялось пятьдесят лет...

В ночь под новый, 1920 год у Крюкова были гости.

Собрались те, кто хотел почтить юбиляра лично и от всей души: Харитон Иванович Попов, почетный гражданин города, историк и этнограф, один из основателей музея донского казачества и к тому же корреспондент журнала «Донская волна», который Крюков редактировал. С ним видный литератор и репортер Арефин, днями вернувшийся с боевых позиций. Непременный завсегдатай всех литературных вечеров и встреч за бутылкой «Абрау» Борис Жиров привел с собой юного хорунжего Иловайского, потомка вольных донских атаманов и кутил. Потом заглянули на огонек музыканты Кастальский и Бабенко.

При открытом твориле изразцовой голландки с кучей раскаленных углей, прекрасно заменявшей камин, и при свечах играл на скрипке Кастальский, ученик виртуоза Думчева, отмеченного некогда признанием самого Чайковского. Аккомпанировал ему сначала хорунжий Иловайский, потом, более уверенно и грамотно, занявший место у пианино актер и чтец Бабенко. Вечер был тихий, домашний и как бы уединенный: о роковых событиях на фронте старались не говорить. Каждый в эту ночь как бы прощался не только со старым годом, но и с прежней жизнью, привычным укладом, обществом, каминным теплом тлеющих углей и трепетным светом старых канделябров темной бронзы. Неведомое нес каждому и всем вместе год грядущий, двадцатый.

Накрывали на стол мрачные, нахохленные, похожие на черных монахинь сестры Крюкова. Зазвонил телефон. Оказывается, первым спешил поздравить с наступающим, юбилейным для Крюкова годом комендант города, полковник Греков. Этот звонок сразу нарушил тихую, уединенную, музыкальную атмосферу и как бы встрепенул сердца.

В неверном, блуждающем свете от трехрожковых канделябров цимлянское игристое в бокалах казалось черным. Это сразу же и некстати отметил быстрый на догадки Жиров и после тоста «за уходящий...», внезапно завел разговор, смутительный для Федора Дмитриевича: о его близком юбилее и новом большом романе «Смута великая», которого еще не было, но которого так хотели дождаться читающие люди.

Сундучок-укладка с архивами и разного рода документами, приготовленный к отъезду, стоял на табурете в простенке, вроде огромной денежной шкатулки, и в нем были заготовки и наметки плана, но Федор Дмитриевич вдруг начал уверять всех, что потерял теперь всякую веру в себя как писателя, поскольку душа и перо его длительное время были заняты другим, куда более насущным делом — войной. Отчасти это так и было, отчасти над ним довлело и некое суеверие: не опережать события, и потому лик Федора Дмитриевича выражал не только откровенность, но и скрытое раскаяние — убито столько дней на газеты, журналы, штабную суету сует!.. Со стороны он выглядел как-то трагично.

— Другие уж, видно, напишут за нас эти горькие сказания! — махнул рукой Федор Дмитриевич и встал из-за стола. — Другие. Которые придут, возможно, по пятам дней, и — не пережив, не изведав, так сказать, но почуя сердцем глубину трагедии, сорвут с небеси звезду!

— Но позвольте, Федор Дмитриевич, ведь что-то же надо и знать, что-то видеть и осмыслить, чтобы с к а з а т ь! — возразил уважаемый всеми Харитон Иванович. — Ведь человек лет до сорока лишь прозревает, лишь срывает, так сказать, цветы жизни, и ему, как говорят, не до мировой скорби! Ему все трын-трава, надо ведь его и натолкнуть как-то! Передать свое... Наше с вами знание!

Крюков на это грустно усмехнулся.

— Ничего не надо, — сказал он с глубокой печалью, убежденно. — Нужен единственно — талант, и более ничего. Разве забыли, у пушкинского Сальери в монологе эта вечная недоуменная тоска и зависть: «Нет правды на земле, но... правды нет и выше!» Да... Ты весь перегорел страстями жизни и мира сего, все познал и «наконец в искусстве безграничном достигнул степени высокой...». Увы, напрасно. Священный дар и бессмертный гений даются не в награду за твои труды и усердие и даже не в ответ за коленопреклоненную мольбу... Все это «озаряет голову безумца, гуляки праздного», может быть... Юнца, который еще не осознает своего призвания. Извольте, господа...

Федор Дмитриевич открыл заветный сундучок, извлек из потая небольшую газетку, помятую и много-

кратно читанную, и показал присутствующим. Затем зажег висячую лампу-молнию, добавив света, чтобы можно было разобрать газетный шрифт.

— Послушайте, — сказал он. — Это газета «Петроградский вечер», ей уже три года, и в ней я нашел совершенно гениальные стихи, откровения провидца, который, возможно, уже явился в мир с этими стихами... А вы заметили их раньше?

Он прочел стихи; читал почти без выражения, монотонно, не выделяя особого смысла, не играя на интонациях, просто.

Не в моего ты бога верила,
Россия, родина моя!
Ты, как колдунья, дали мерила,
И был как пасынок твой я.
Боец забыл отвагу смелую,
Пророк одрях и стал слепой.
О, дай мне руку охладелую —
Идти единою тропой.
Пойдем, пойдем, царевна сонная,
К веселой вере и одной,
Где светит радость испоконная
Неопалимой купиной...

Крюков замолк, и зааплодировавший было Жиров тоже опустил толстые свои руки, понимая, что минута явно не подходящая для восторгов.

— Чьи стихи? — спросил актер Бабенко. — Их можно читать со сцены!

— Новое, ничего не говорящее пока имя: Есенин, — пожал плечами Федор Дмитриевич. — Узнавал, говорят, из крестьянских детей, совсем молод, едва ли двадцати лет... Именно: «Все говорят, нет правды на земле, но правды нет и выше!..» Откуда бы ему в двадцать лет знать все, что он сказал в этих стихах? Господи, да еще эта «неопалимая купина»... Это ужасно, господа, но в этом и грядущее спасение России!

Было настолько тихо, что все слышали потрескивание фитиля, горящего под молочно-белым фарфоровым абажуром лампы. И совершенно лишним и ненужным был недоуменный шепоток толстяка Жирова, всегда преклонявшегося перед талантами:

— Есенин... Никогда не встречал имени даже, но за душу берет. И, представьте, где-то в совдепии, господа?..

Старинные часы с хрипом и усталым шорохом начали бить полночь. Тяжелое черное вино было уже налито, все поднялись вкруг стола и выпили за Новый год молча, без тостов. Потом Кастальский взял скрипку к подбородку, занес смычок, а Бабенко вновь открыл крышку пианино...

Начался год 1920-й. И неминуем все же был разговор о близком крахе, эвакуации, всем том, чего никаким романом не охватишь, не опишешь. Гасли надежды самого Крюкова на успех задуманной работы, поэтому он не стеснялся, высказывал открыто все те мысли, которые уместнее было бы выразить действительно пером, в одиночестве, с необходимой глубиной и художественным тактом. Все летело к черту, и потому нужна была эта исповедь.

— Наше просвещенное общество, господа, попало в грандиозную западню, — ругался Крюков. — И вторгаться в эту всеобъемлющую тему — тему многолетней, может быть, вековой нашей благоглупости, как-то тяжело и почти непосильно. Я говорю: тема и материал неохватны... Но есть, знаете, отдельные моменты, ключевые детали... Вот девять лет назад, весной, как вы помните, редакция «Русского богатства», в ряду прочих умов России, подписалась под известным обращением «К русскому обществу» в защиту Бейлиса. Вслед за Короленко, я говорю, мы развенчивали миф о ритуальных убийствах... Господа, мне до сих пор не ясна фактическая сторона дела. Но я как в каком-то наркозе и, так сказать, у-беж-денно увещевал русский народ от ненужной свирепости и нагнетания страстей. Может быть, тогда это и следовало делать, может быть... Но ведь не вслепую, разобравшись! И самое главное, не совать нос в юриспруденцию до суда! Не делать этого сгоряча! Но мы суетились либо выжидали, и всякий раз почему-то неоправданно... И вот тысячи детей, живых и ни в чем не повинных, ныне умирают с голоду, пропадают в страшных страданиях, в душевной проказе, в трущобах и котлах эпохи, и никто не в состоянии им помочь! С переменой правления страсти, более жестокие и слепые, повернулись в иную сторону, оборотились на нас...

Крюков поднял свою рюмку, зачем-то щурясь посмотрел сквозь вино на свет, и снова поставил на стол: пить после этих слов было нельзя.

— Между тем тогда же или чуть раньше, к своему юбилею, Короленко получал не только одобрительные приветствия от простых людей, но и вопли предостережения, слова обидные и даже оскорбительные; он их не скрывал, давал нам читать, и мы все негодовали, потому что слова те выглядели тогда неосновательно грубо! «Вы негодяй, вы вор, вы убийца! Вы защитник врага человеческого! Если вы защищаете вора, то вы сами вор, если вы отвергаете смертную казнь, то становитесь сами убийцей...» и т. д. и т. п. Но как мы были прекраснодушны, как мы смеялись над «темнотой», как мы негодовали!

Словно какая пелена смыкала глаза... Нет, над нами всеми — рок, господа! Мама Владимира Галактионовича, Эвелина Иосифовна Скуревич, видимо, больше понимала в истории народов, чем мы все, вместе взятые!..

Крюков отошел в угол, быстро склонился и нашел в сундучке еще одну заветную бумажку с записью и снова подошел ближе к свету, поправил пенсне.

— Вы говорите: нужен роман, необходим какой-то с л е д обо всем, что стряслось с нами... Но разве все это — впервые? Вот я хотел такой эпиграф предпослать к своей книге. Отрывок из летописей, новейших, что писал келарь Авраамий Палицын в Смутное время, триста лет назад! Послушайте, господа. Послушайте: «Отечество терзали более свои, нежели иноземцы; наставниками и предводителями ляхов были наши изменники. С оружием в руках ляхи только глядели на безумное междоусобие и смеялись. Русские умирали за тех, кто обходился с ними как с рабами. Милосердие исчезло: верные царю люди, взятые в плен, иногда находили в ляхах жалость и даже уважение, но от русских изменников принимали жестокую смерть... Глядя на зверства, ляхи содрогались душой. В этом омра-

чении умов все хотели быть выше своего звания: рабы — господами, чернь — дворянством, дворяне — вельможами, и все друг друга обольщали изменою... И осквернены были храмы божии, и пастырей духовных жгли огнем, допытываясь сокровищ. Честные души бежали в леса, дебри и болота, пожары горели в селениях, и стала Россия пустыней!..»

...В окне горел поздний рассвет, туманно плавились и искрились морозные кущи и папоротники на стеклах. Поблек жар в раскрытом чреве голландки. Все устали, вино было выпито. Федор Дмитриевич задул свечи и загасил лампу. Сказал в наступившем сумраке надтреснутым, усталым голосом:

— После келаря Палицына, как мне кажется, господа, надо ли писать какие романы нам, либералам? Да нет, по-видимому... Только вот эту страничку размножить миллионами дегтярных оттисков, и каждому из нас, русских, будь он князь или холоп, мещанин или казак, а паче лицо духовное! — каждому приколотить ко лбу каленым гвоздем: помни! И сыну своему передай, поганец!

Старый человек, Харитон Иванович Попов, тихо крестился. Жиров угрюмо смотрел в черноту печного творила, боясь произнести хоть слово. Скрипка лежала в футляре, и сам Кастальский сидел, сгорбившись, в кресле. Лишь один Бабенко сохранял живость: он пристально следил за выражением лица говорящего, запоминал мимику — это было нужно ему как профессионалу для какой-то будущей игры — на каких подмостках и для каких зрителей — неизвестно.

Через трое суток, на раннем, розовом рассвете, первый обоз отступающих покидал навсегда город Новочеркасск. Федор Дмитриевич сидел в пароконных санях, спиной к вознице и своим сестрам, закутанным в белые донские шубы и толстые шерстяные пледы. Впереди, в двуколке, помещался его архив и дорожное имущество.

На соборной площади атаман Ермак все так же неколебимо стоял под русским знаменем, зачехленным ради непогоды, и протягивал вслед отъезжающим на вытянутой руке старую шапку Мономаха в собольей опушке с крестиком. Федор Дмитриевич смотрел на Ермака, и в душе его медленно просыпалось раскаяние за свои ночные мысли и высказанные сгоряча слова. Он понял: стоило дойти в размышлениях до неприятия людей, ненависти к народу своему, так сразу пустела душа, как прогоревшая печь. Он чувствовал себя ненужным и лишним, праздно существующим на этом свете. Пришло вдруг и заморозило душу давно уже созревшее в подсознании чувство отщепенства.

Книга не была написана, вся только в задумках, заметках, в рассыпанных строчках — частью на бумаге, частью в сознании, отягощенной невзгодами памяти. И будет ли время, чтобы остыла и возродилась душа, возмужал дух, отвердела рука для великой работы?..

Сани спускались с новочеркасских гор, шли за бегущими лошадьми косо и враскат. Зимнее утро распогодилось, туман сел, в тусклом и как бы остекленевшем от стужи небе слезился прозрачно-пустой, провальный диск солнца. Мерзлый серый полынок, наполовину погруженный в снеговой наст, слегка ворсился и позванивал промороженными метелками, поскрипывал на ветру.

«Солнце... то ли восходит, а то ли закатывается. Не понять сразу: серость эта утренняя или же от вечерних сумерек?» Федор Дмитриевич вздохнул и закутал шею плотнее, поднял лохматый ворот тулупа, его начал пробирать мороз. А самообман насчет серой мглы был, конечно, зряшный: солнце, как и всегда, поднималось с востока, с к р а с н о й стороны, от Хопра и Медведицы...

Далеко впереди, за городом Ростовом, широким Доном и кубанскими равнинами, лежала неведомая земля, чужбина, куда двигался последний обоз в жизни Федора Дмитриевича Крюкова — обоз изгнания...

ДОКУМЕНТЫ

15 января 1920 года член Ростовского областного исполкома, заведующий земельным отделом Донской области Миронов Филипп Кузьмич принят в члены РКП(б).

Ему выдан партийный билет № 755 912.

Из постановления ВЦИК и Совета Народных Комиссаров «Об отмене применения высшей меры наказания (расстрелы)»
17 января 1920 г.

Разгром Юденича, Колчака и Деникина, занятие Ростова, Новочеркасска, Красноярска, взятие в плен верховного правителя создают новые условия борьбы с контрреволюцией. <...>

Разгром контрреволюции вовне и внутри, уничтожение крупнейших тайных организаций контрреволюционеров и бандитов и достигнутое этим укрепление Советской власти дают ныне возможность рабоче-крестьянскому правительству отказаться от применения высшей меры наказания, то есть расстрелов, по отношению к врагам Советской власти.

...Исходя из вышеизложенного, Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров ПОСТАНОВЛЯЮТ:

ОТМЕНИТЬ применение высшей меры наказания (расстрелы) как по приговорам Всероссийской чрезвычайной комиссии и ее местных органов, так и по приговорам городских, губернских, а также и Верховного при Всероссийском Центральном Исполнительном Комитете трибуналов.

Означенное постановление ввести в действие по телеграфу[1].

13

Можно ли угодить в плен... к своим? Непостижимо, но факт, это случилось не с оплошавшим, глупым

---

[1] Из истории гражданской войны в СССР. Сб. документов. Т. 3, с. 23.

перебежчиком, но с многоопытным, старым волком контрразведки поручиком Щегловитовым...

Калейдоскоп дней, взлетов и падений, игра в красного комиссара, случайный плен, выяснение личности, почти полное крушение судьбы, и вдруг — новый свет в глазах, новые ветры, новые честолюбивые надежды.

Началось с того, что провалился резидент Щегловитова — работник Донбюро товарищ Мосин (точнее, бывший провокатор охранки Мусиенко), но в то время Щегловитов не придал этому большого значения. Мосин сгорел тихо, без огня и дыма, и потеря казалась Щегловитову ничтожной, тем более что генерал Мамонтов уже подходил к Туле, земля под красными горела. Антон Иванович Деникин думал уже о распределении портфелей будущего кабинета министров. В такой момент вполне разумно и Щегловитову было подумать о переходе через линию фронта к своим.

Щегловитов обдумал великолепный план. Как раз с Восточного фронта на Южный перебрасывалась по Каме и Волге знаменитая 28-я дивизия Азина. Под Саратовом она высадилась на берег, имея приказ: наступать вниз по Волге и выбить деникинцев из Царицына. В этой дивизии, конечно, никто не мог опознать Щегловитова. Именно в этот подходящий момент и появился в штабе Азина с пакетом Южного фронта комиссар Щеткин. Расчет был верный: Азин под Царицыном сломает шею, будут тяжелые бои с частыми атаками, прорывами, окружениями, заходами в тыл, во время которых проще простого оказаться в расположении противника.

Но к великому удивлению Щегловитова, 10-я армия красных, в которую вошла теперь и 28-я дивизия, скоро взяла Царицын, а под Воронежем и Курском потерпели поражение лучшие корпуса Добровольческой и Донской армий. Все пошло кувырком, как в дурном сне.

Не напрасно дальновидный и хитрый пьяница Сидорин, командующий Донской армией, предупреждал Деникина о безрассудности столь форсированного марша в глубь большевистской России. Он рекомендовал продвигаться медленно, с обработкой тылов, устройством узлов обороны, тщательной разведкой и непременным соприкосновением на флангах с Сибирскими и Западными союзниками. Кроме того, он советовал выбросить «в массы» какую-никакую, но программу о земле и по рабочему вопросу. Никто не хотел понять Сидорина, и вот... Дерзко смелые рейды на Орел и Тамбов, фейерверк афиш о бесчисленных победах, триумфальный звон колоколов в Орле и Курске, золотая сабля роскошному коннику Константину Константиновичу Мамонтову из рук верховного... и — полный крах. Ни к чему другому и не могли привести шумные пиры высших офицеров, грабеж советских складов и потребиловок нижними чинами, разбрасывание случайных, награбленных денег по ветру на спирт, самогон и баб (деникинские с царь-колоколом — «колокольчики», керенки — «хамса», советские рубли — неразрезанными скатертями, как почтовые марки...). Мамонтов, этот трехнедельный удалец, умирает от тифа, рушится фронт, в последний раз взмахнула радужным крылом жар-птица удачи. Покатились в Сальскую степь и на Кавказ белые армии.

Щегловитов взвесил обстоятельства и переменил план. Если въезд в Москву н а б е л о м к о н е оказался иллюзией, то следовало оставаться в штабе Азина, врастать в хромовую тужурку. Пригреться где-нибудь на высоте, в непосредственной близости от бывших покровителей из Гражданупра...

Но, боже, какая насмешка судьбы!

Деникинское командование вздумало дать на Маныче большой арьергардный бой красным силам. Это диктовалось обстоятельствами: Конная Буденного, 2-й сводный корпус Думенко и 2-я кавдивизия Блинова наступали тогда на хвост бежавшей армии, охватывали обозы и снаряжение, пленили массу беженцев и отстающие лазареты. Была угроза пленения крупных людей, бывших министров, лидеров Учредительного собрания. Здесь, на Маныче, надо было собрать остатки кавалерии, воодушевить и, выбив зубы противнику, рассеять самый азарт преследования. Такой бой был дан, и красные, если и не попятились, то остановились на некий длительный отдых, чтобы привести себя в порядок.

Корпус Думенко был потрепан, блиновцы отскочили с большими потерями, но 28-я дивизия по инерции, при отчаянном характере самого Азина, кинулась по талому льду через Маныч. Под станцией Целина конный корпус генерала Павлова окружил и вырубил 28-ю чуть ли не поголовно, в плен попал и раненый начдив. В небольшой кучке пленных красных командиров предстал перед корпусной контрразведкой и он, комиссар Щеткин...

Господи, такое стечение обстоятельств... Если бы ему поверили сразу, на слово, если бы не затянулось расследование и опознание личности, он бы еще успел связаться с кем надо, вернуться «из белого плена» в Ростов, Курск, Саратов, куда угодно. Но его держали под подозрением до самого Новороссийска, олухи, и думать о подобном возвращении в совдепию стало уже поздно.

Эта нелепая неделя сутолоки и волокиты перед посадкой на пароходы — кто спешил в Константинополь, кто в Крым, под защиту генерала Слащева, отступившего «в бутылку» через перешейки. Здесь произошла минутная встреча с знакомым красным штабистом Носовичем... Генерал до последних дней оборонял с небольшим отрядом винные погреба Абрау-Дюрсо и полузаброшенные виллы Геленджика. Неумытая орава зеленой крестьянской армии Шевцова накатилась на слабую оборону Носовича, смяла, затолкала в кипевший адским котлом Новороссийск.

— Знаете... Как ни странно, при всех прошлых козырях на наших руках, мы, кажется, проиграли, — сказал Носович, впервые за время их знакомства раскрываясь до полной откровенности. Ему был нужен близкий человек, помощник по части погрузки ценностей и небольшой партии вин из подвалов для генералитета и немногочисленных представителей союзников. Щегловитову претило такое занятие, возня с рухлядью, с замаскированными винными ящиками, но вы-

бора не было никакого, ему казалось, что он может не попасть на пароход, как не попала после вся Донская армия.

Это было чудовищно. Кутепов, любимец Деникина, руководивший погрузкой, припомнил здесь высокомерному Сидорину, что его минутное могущество кончилось, здесь не Новочеркасск, а Новороссийск! Припомнили донцам и неоднократные крены к большевизму, их упорное желание в русских условиях некоего «демократизма» с выбором атаманов и прочей интеллигентской дребеденью вроде свободы слова и собраний, отрицание наследных дворянских привилегий. Проявилось в полной мере истинное отношение «первенствующего сословия» и высочайших особ, стоящих за спиной Деникина, к казачьим деятелям — неучам, сепаратистам и полубольшевикам по духу... То, чего не могли сделать красные, сделала генеральская вражда: донцы остались на побережье и частью вступили в красную кавалерию, а частью ушли в Грузию. Тут не обошлось и без целования знамени: небезызвестный член Южнорусского правительства Павел Агеев, которому, конечно, ничто не мешало сесть на пароход, не смог оставить казачишек, повел их как последний пастырь в буржуазную Грузию...

На пароходе Щегловитов познакомился с донским офицером, забулдыгой и трепачом, самодельным поэтом при погонах подъесаула Борисом Жировым, скрасил скуку. Тот опекал каких-то двух насупленных и пожилых дам с черными зонтиками, исправно дежурил у их каюты, приносил из буфета еду. Говорил о них таинственным шепотом:

— Посочувствуйте хотя бы, поручик! Сестры несчастного Федора Дмитриевича. Ни копейки денег, никаких надежд, одна святость в душе-с... Сундучок с архивами покойного брата, писателя и редактора «Донской волны»... Вы поможете устроить их как-нибудь в Симферополе?

С некоторым трудом Щегловитов уяснил наконец, что речь шла о родственницах известного донского общественного деятеля Федора Дмитриевича Крюкова, умершего от тифа в кубанских степях. О Крюкове он не только слышал раньше, но был случайно в одной компании; трудов же его никогда не читал, понятно, по нехватке времени.

— Как же! — вскакивал в искреннем волнении Жиров, сминая бумажную салфетку за столом. — Помилуйте, один из лучших писателей России, и не знать?! Ну, «Русское богатство», например, приходилось же вам листать?

— Жидовствующий журнальчик был, между прочим... — без особого накала кивал Щегловитов. — У нас все так: если нажимают чрезмерно на слово «русский», полоскают его без крайней надобности, то ищи с изнанки какого-нибудь Пуришкевича... Так что?

Жиров, прилично выпивший, блестел глазами с трезвой сумасшедшинкой:

— Нет, нет! Это — патриот, может быть, един-ственный интеллигент России, демократ и гуманист, который ни минуты не пребывал в шоковом восхищении от р-революции и ее большевистских декретов! Все понял сразу, и навсегда! Ну, конечно, вы можете назвать в этом числе еще и Суворина, но ведь тот всегда был верноподданным! А? Что-то хотите заметить?

Они сидели в тесной каюте Щегловитова (он снимал каюту как хранитель старых вин, черт возьми!..), на столе была кое-какая кубанская снедь из запасов Жирова и несколько бутылок тридцатилетнего закваса из запасов генерала Носовича. Щегловитов тоже был навеселе, распустился, впервые освободившись от постоянного внутреннего напряжения. Говорил с недоумением и злостью:

— А чем, собственно говоря, вам насолили «верноподданные»? Если хотите знать, именно ваши благородно мыслящие демократы — разные Короленки, Добролюбовы, Помяловские... несть им числа! — и довели Россию до ручки! Рассиропили, расквасили, разнежили в христианском добре и зле, вынули из нее стержень сопротивления, да! Кто же еще? Идиотский взгляд на людей, как на разумное сообщество, — не спорьте! Забыли, что на одну душу живу приходится две свиные рожи, один ворюга с Хитрова рынка и один ухарь-купец из паноптикума самого Ломброзо! И всем им, как водится, нужна свобода, р-равенство и отмена телесного наказания! И что же в итоге? Толчок в русско-японской, хорошая затрещина в Мазурских болотах, и рассыпалась матушка! Нет нации — каково?

Жиров сопротивлялся в духе записного либерализма:

— Нация... осознала, что гниет с головы, поручик! Не так все просто, знаете... Осознала измену немки-царицы, пошлость и грязь распутинщины, благоглупость священных и царствующих особ!.. Донцы всегда были республиканцами, и в этом было спасение нации. Нет, не спорьте!

— Не нравились вам порядки? Дворяне с хиревшими дворянскими гнездами, тургеневскими женщинами? Но что же вы получили взамен, какую новую касту на верху российской пирамиды, скажем, в нынешней совдепии? Оглянитесь же, черт вас!..

Так они спорили от избытка пустого времени и собственной растерянности, и Жиров, поминутно возвращаясь к воспоминаниям о Крюкове, о его не спетой лебединой песне — книге, плакал и тужил горько:

— Поймите, в день своего юбилея, именно двадцатого февраля, где-то на неведомой речушке Малый Бейсужек, то ли Левый... закрылись в последний раз глаза человека, видевшие и понимавшие все! Я был с ним, это было ужасно, поручик! Снег таял, плыли сани по грязи, ехать-то было почти некуда, везде теснота, скученность, мерзость и вши, тифозный ад! Только родимые вербы с китушками, молодой завязью над речкой и дымок близкой станицы... Да, да, это было у станицы Новокорсунской, на подъезде к станции Тимашевская, поручик. Оттуда можно было уже ехать железной дорогой... Но не суждено было, скончался Федор Дмитриевич! И зарыт в братской могиле с другими тифозными, знаете... Под стеной кирпичной, у какой-то обители, церкви ли...

— Бросьте, подъесаул! Стоит ли...

Жиров, очнувшись, говорил о тяжелом отступлении, кошмарной посадке, ругался, читал какие-то дрянные стихи, как видно, собственного сочинения:

Кое-как мы воевали,
Не стесняясь, воровали...
Там, в тылу, царил лишь флирт,
Самогон, вино и спирт
Все глушили, точно воду,
В счет казенного доходу...

Словно лошадь, привыкшая ходить по кругу арены, вновь и вновь возвращался к больной теме о распрях армейских штабов:

Погрузили всех сестер,
Дали место санитарам,
А кубанцев и донцов
Побросали комиссарам...

— Послушайте, вы — идеалист! — посмеивался и успокаивал сентиментального поэта поручик. — Побросали, конечно! Известная генеральская нерасторопность, но... те, которые хотели уплыть из совдепии, те уплыли! По воздуху, на крыльях, на ковре-самолете от Идолища погана, да-с! Как и мы с вами. Еще и на Тамани многие успели перебраться. Вот теперь у Сидорина в Крыму наберется тысяч пятнадцать казаков, так это и есть — цвет бывшего Дона! Это и есть те сливки, преданные белому знамени без страха и упрека. А остальные — все эти сто тысяч — потому и отпали, что изнутри были подпорчены с самого начала! Червоточина эта вся: мироновцы, подтелковцы, сорокинцы, буденновцы, булаткинцы... да веревок не хватит в блистательном будущем, чтобы перевешать всю эту сволочь! Наша контрразведка всю душу вымотала из себя, море чернил извела, чтобы как-то очернить их перед верховными красными жрецами! Теперь в Чека скопились мешки ложных информаций о некоторых краскомах, а они — словно Иваны-дураки из сказки — и в огне не горят, и в воде не тонут! Да и эти, что ушли с Агеевым в Тифлис, тоже не лучше!

— Н-нет, — твердо возразил Жиров. — Нет. В данном случае, поручик, я не соглашусь. В последнем случае виноват полковник Всеволодов, и только он! Это он ненавидел казаков и раньше, ненавидит и теперь, он же все это и устроил!

— Какой... полковник Всеволодов? — обомлел Щегловитов.

— Тот самый, что был командармом у красных. Да. Он еще там старался утопить в ложке воды и Миронова, и всех его казаков, не доверяет и нашим...

— Но позвольте, какое же отношение... теперь-то?!

— Да вы разве не знаете, что полковник Всеволодов ныне начальник новороссийского рейда, заправлял всей этой неразберихой и позором давки в порту?

— Боже, вот уж кого не думал встретить живым-здоровым, так это полковника Всеволодова, — трезво сказал поручик Щегловитов. — Но мир, оказывается, тесен...

В Севастополе снова неразбериха, толчея, повальное пьянство, барышничество интендантов и цивильных перекупщиков. Гибнущий Последний Вавилон. Смешение языков: добровольцы, казаки-донцы, казаки-кубанцы и терцы, калмыки, немецкие бароны без поместий, спившиеся офицеры с великокняжескими фамилиями, проститутки... В ресторанах и переполненных номерах пьяные дебоши, стрельба по зеркалам, дым коромыслом. На улицах голодный солдатский сброд с отчаянием и потерянностью в глазах, вшивое стадо, потерявшее вождей и самую веру в них... Поручик Щегловитов, дерзкий и расчетливый контрразведчик, человек, к которому благоволил сам Антон Иванович Деникин, даже он на время потерялся в этом безбрежии хаоса. Он целый месяц прозябал в обовшивевших скоплениях полувоинов-полубеженцев «Крымской бутылки», не находя выхода. Для других находился выход в постыдной эмиграции в Европу (под благовидным предлогом важной командировки) либо в честном самоубийстве без посмертных записок и объяснений. Но он не готов был ни к тому, ни к другому. Как и все уцелевшие в зимних и весенних боях офицеры русской армии, он пребывал в это время в состоянии полной душевной прострации и каких-то ожиданиях. И вдруг все преобразилось.

Забегали интенданты, откуда-то из темных казарменных и барачных углов повылезли старые вахмистры и фельдфебели, послышалась долгожданная команда: «Смирно, р-р-равняйсь!..» — свободнее стало на улицах, зашаркали метлы дворников по утрам. Как в старое доброе время, заблестели вымытые стекла витрин и парикмахерских. Офицеры сбрасывали с себя похмельную одурь, другие просто наедались после голодухи, чистили мундиры и амуницию.

Новое имя поднялось из небытия и хаоса: Врангель!

В конце марта 1920 года новый главнокомандующий Врангель прибыл из Константинополя, куда он был в свое время сослан Деникиным за интриги...

Пароход под Андреевским флагом причалил в Севастополе на благовещенье. Затянутый в белую кубанскую черкеску барон, потомок воинственных шведов, державно спустился на крымскую землю и проследовал со свитой под сверкавшие своды Морского собора. На бледном длинном лице барона чернели вдумчивые, жестокие, пронзительные глаза.

Соборная площадь, ступени и паперть, внутренность храма — все было забито военными чинами и чистой публикой. В тесноте и давке грудились массы, желая поближе рассмотреть нового главнокомандующего, надежду и поруку всех этих людей.

Молодой викарный епископ Вениамин в роскошных ризах благословил Врангеля. Напряженным от волнения и осознания важности минуты, хорошо поставленным голосом первосвященник приветствовал нового генерала-мстителя:

— Дерзай, вождь! Ты победишь, ибо ты Петр, что значит кремень, твердость, опора! Ты победишь, ибо сегодня день благовещенья, что значит надежда, упование... Смелее иди, ибо меч отмщения в деснице твоей.

Представители гражданской власти — бывшие сенаторы, члены Государственного совета — подали главкому докладную записку... В записке говорилось о

невозможности мира с большевиками, необходимости продолжать вооруженную борьбу с анархией.

У выезда с площади ждал генерала роскошный, только что присланный из Франции черный лакированный автомобиль.

Через неделю начали прибывать английские танки, артиллерия, снаряды, новенькие военные аэропланы «хэвиленды», истребители фирм «Анасаль» и «Вуазен»...

Севастополь преображался. Говорили, что на Перекопе барон приказал прекратить всякие работы по укреплению старых позиций, готовился к решительному и сокрушающему броску через горловину «бутылки», на просторы Северной Таврии.

Поручик Щегловитов отыскал знакомого полковника в новой контрразведке, получил назначение в информационный отдел, заменивший старый деникинский Осваг. Подъесаула Жирова вместе с опекаемыми им донскими девами он как-то потерял из виду. По-видимому, они уехали в Евпаторию, по месту расквартирования Донского корпуса генерала Сидорина. Щегловитов посмеивался и потирал руки: исправно работали военно-полевые суды, дисциплинарные комиссии. По ночам за городом слышались одиночные выстрелы и залпы: расстреливали как пойманных комитетчиков, так и пьяных дебоширов из своей среды. Был случай, когда под пулю пошел какой-то штабс-капитан, в запое разбивший зеркало в ресторане...

На заборах Севастополя, Бахчисарая, Евпатории и других городов и курортных поселений появились броские, отпечатанные старым шрифтом воззвания Врангеля:

За что мы боремся?
Мы боремся за наши
поруганные святыни.

Мы боремся за то, чтобы каждому крестьянину была обеспечена земля, а рабочему его труд. За то, чтобы каждый человек мог свободно высказывать свои мысли. За то, чтобы сам русский народ выбрал себе хозяина. Помогите мне, русские люди!

Полковые оркестры по утрам гремели мажорной медью, выходили на смотры-парады корпуса: крымский генерала Слащева, добровольческий Кутепова, кубанский Писарева, донской Сидорина. Раздавались зычные команды и рапорты, но печать обреченности лежала на каждом лице, предчувствие новых мук и разочарований таили глаза. Генерал Бабиев, беззаветный удалец-осетин, командир кубанской дивизии, горяча коня, кричал на смотру с обнаженным клинком над головой:

— Га-а-аспада а-ффи-це-ры, братцы мои кубанцы! Мы прорвем фронт и по трупам наших врагов пойдем на Москву! Но всякий патриот и герой, идущий ныне в первую атаку на безбожную сволочь, уже должен считать себя погибшим за веру и великую Россию! С богом, ура!

Грезились впереди великие победы, смелые конные рейды, великая кровь, и рождалась в сознании и отчаявшемся сердце неотвратимая идея: смерть или победа...

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

Двадцатого апреля 1920 года по весенним улицам Ростова-на-Дону проходила походным порядком на польский фронт 1-я Конная армия.

Гремели полковые оркестры, мелькали штабные значки на пиках, полыхали кумачовые знамена прославленных бригад и дивизий. Гарцевали на поджарых, отдохнувших под Майкопом конях, картинно красуясь, смуглые от ветра и солнца всадники, опасно-хваткие, жестокие в неумолимом сабельном взмахе. Шла конница революции — донские и кубанские казаки, ставропольские и сальские крестьяне, слободские воронежские уроженцы, донецкие шахтеры, калмыки Городовикова, горские, сербские, мадьярские эскадроны...

Заново кованные копыта дончаков и полуарабов высекали острыми шипами искры из булыжных мостовых. Шумно, говорливо, празднично было на Садовой и Темерницкой, по Таганрогскому проспекту. Народ толпился, с интересом и сочувствием провожал глазами огромную, непобедимую и неукротимую в атаке конницу, кинутую единым приказом куда-то в неописуемую даль, навстречу новой войне с буржуями, польскими панами. Верилось — войне победной и недолгой.

На ростовском ипподроме — митинг и большой военный парад.

Прошли, развернулись эскадроны и полки 4-й и 6-й дивизий, замерли в резервных колоннах стройно, образцово, конь в коня, стремя в стремя. Напротив, посверкивая на солнце остриями штыков, выстроились стрелковые части гарнизона. Слева от трибуны шумели флаги рабочих делегаций. Трубачи дали сигнал: «Слушайте все!» — летучая группа верховых прожгла хорошей рысью вдоль замершего строя, развернулась перед трибуной, где стояли рабочие представители, председатель губисполкома Знаменский, военком Северного Кавказа Базилевич, земельный комиссар Миронов, другие власти Ростова. Буденный и Ворошилов спешились, поднялись на трибуну, поздоровались с каждым за руку. Ворошилов усмехнулся, пожав руку Миронова, вспомнил, видно, еще царицынское знакомство, сказал что-то веселое, вроде «воюем, казак?..», Буденный отвел глаза...

Приветствовал Конармию главком Дона и Северного Кавказа Базилевич, за ним к краю трибуны подошел пожилой рабочий с Красного Аксая и вручил члену Реввоенсовета Ворошилову от трудящихся города Ростова красное знамя. Ответно выступил Ворошилов, следом за ним говорил напутственную речь член исполкома Миронов.

Тянулись в стременах ближние казаки-буденновцы, желая рассмотреть лучше своего земляка, услышать

приветное слово перед походом. Миронов был взволнован, крепко сжимал холодноватый деревянный поручень пальцами обеих рук.

Плотно надетая, чуть набекрень, кожаная фуражка со звездой, лихая голова, откинутая назад, усы вразлет и глуховатый, но далеко слышный голос:

— В победную дорогу!.. На славный революционный подвиг от родных краев, от имени казаков и казачек Дона, от всех рабочих и трудящихся Юга красной России принимай, героическая конница революции, горячий привет, сердечную веру и доброе напутствие к скорой и доблестной победе!..

Говорил Миронов, как и всегда, с той пронзительной верой и страстью, которая сразу проникала в души бойцов, покоряла правдой, туманила геройской и беззаветной удалью глаза конников. Конники кричали ура, приветствовали провожавших поднятыми клинками. Прошли взводными колоннами по зеленеющему полю ипподрома, и на выезде многие еще оглядывались на трибуну. Гомонили ряды 4-й кавалерийской дивизии... Миронов? Тот самый, кого мы разоружали прошлой осенью? Как же так? Говорили — враг! Может, и нашего Думенку держат в здешней тюрьме задаром?

На выезде из города сломалось движение колонн, конные массы начали обтекать красно-кирпичное здание тюрьмы, затормозили, начался вдруг беспорядочный, стихийный разлив. Кое-кто соскакивал с седла, брал коня под уздцы, бывшие бойцы сальской группы кучились у тюремных ворот. Гомон был слитный и беспорядочный, тот, кто не знал, о чем речь, и подавно не мог бы ничего разобрать:

— А в каком окне?..

— А в пятом с угла, не видали, что ль, дьяволы? Махал платком!

— Чего такое?

— Да Думенка-то! Тут ведь держут, черти!

— Да ну!

— Вот те и ну! Борис Мокеич вам махнул, а вы и бай дюжа! Черти гугнявыи! Выручать надо!..

— Само собой! Его, бають, расстрелять хочут! Беззаконие творят, ишь, св-волочи!

— Ломай ворота, красные орлы! Выручим Мокеича, порубим всю эту сволочь..

Комбриг Федор Литунов, донской рубака, вместе с чубатым комполка Стрепуховым кинулись разгонять затор у тюрьмы, комиссар Берлов послал своего напарника Мокрицкого с запиской к командарму Буденному.

Думенко, бывший организатор тех первых геройских полков и бригад, которые легли в основание конкорпуса, а затем и 1-й Конной, в самом деле сидел в ожидании суда теперь в ростовской тюрьме. Но выглядывал ли он сквозь решетки окна, махал ли белым платком, кричал ли, чтобы спасали Россию о т и з м е н ы, никто в точности сказать не мог. Эти неслышные крики просто витали в воздухе: Думенко был любимцем этих конников, а его 2-й сводный корпус, с которым он совсем недавно взял белый Новочеркасск, был теперь далеко, на Кубани. Потому и затормозило конармейский поток у стен тюрьмы...

Провожающие не покинули еще ипподрома, еще пожимали руки Ворошилову и Буденному, когда подскакал встревоженный комиссар Мокрицкий. Буденный тут же вскочил на своего дюжего буланого коня и, сопровождаемый Дундичем, командиром личной охраны, кинулся в город. Впереди уже скакал начдив-4 Городовиков.

Миронов возвращался на работу в одной пролетке с председателем исполкома Знаменским. Отношения между ними с самого начала установились доверительные, тревога за происшедший инцидент в полках 4-й кавдивизии взволновала обоих, так как этот инцидент мог роковым образом повлиять на ход следствия и суда по делу Думенко. Знаменский к тому же на днях принял на себя обязанности общественного защитника по этому делу и был сейчас огорчен вдвойне.

Ехали молча. И лишь у подъезда исполкома, когда отъехала пролетка, Знаменский заметил коротко, не желая обидеть:

— Как выясняется, дали мы ошибку. Не следовало вам выступать, Филипп Кузьмич. Не учли, как говорится...

Миронов был, как водится, занят совсем другим. Его беспокоило и занимало само д е л о, выдвинутое против заслуженного комкора.

— Неужели могут расстрелять? — спросил он.

— Не думаю... Не посмеют, — сказал Знаменский. — Орджоникидзе недавно обвинил Смилгу в устройстве «очередной комедии по типу... мироновской», так что вряд ли...

— Но Смилгу-то на этот раз убрали?

— Убрали — и хорошо, чище будет воздух, — сказал Знаменский и, кивнув, быстро поднялся по ступенькам.

Миронов доверял этому человеку во всем: вместе с Феликсом Дзержинским председатель губисполкома был поручителем, рекомендовавшим Миронова в партию. Человек он был вполне зрелый и бывалый, в прошлом организатор боевых дружин на Пресне, затем узник Александровского централа, член Московского комитета большевиков во время октябрьских боев. Как и Антонов-Овсеенко, был послан с красногвардейскими отрядами на Юг. Через Ворожбу, Конотоп и Бахмач прибыл со своими отрядами на Дон, оборонял Царицын, состоял членом РВС 10-й Красной армии. О Миронове, конечно, много знал и слышал, ни минуты не сомневался в его честности, а от ошибок, даже крупных, кто же застрахован?..

В приемной земотдела Миронова ожидал какой-то старенький посетитель, в залежалом и неопрятном мундире, с болезненным лицом и дрожащими руками. С появлением Миронова он сразу поднялся, и тогда можно было заметить сквозь ветхость и болезнь гостя желание показать некую строевую выправку, усилие старого служаки показать себя вопреки возрасту и хвори. Он отвел свои локотки назад и выпятил грудь, и на старом френче Миронов увидел две дырочки как раз там, где крепились некогда царские кресты и ордена.

— Честь имею... — сказал болезненный старичок, прямо глядя слабыми, уже погасшими глазами на

Миронова.— Честь имею просить приема у вас, Филипп Кузьмич... Я — полковник Седов. Точнее, бывший полковник Седов...

Миронов снял кожаную фуражку с новенькой красной эмалевой звездочкой и, несколько оробев, смутившись отчего-то, остановился перед стариком.

Неужели этот человек всего три года назад командовал боевым казачьим полком, перешедшим на сторону революции?..

Это не изгладится из памяти никогда — первые бои в Новочеркасске, два революционных полка (10-й и 27-й, Седова) под общей командой Голубова врываются в войсковое правление, пленят все правительство с генералом Назаровым во главе... Провозглашен первый Совет рабочих и казацких депутатов, но при отступлении от немцев и мятежников штаб 27-го полка был схвачен, по собственной оплошке, впрочем, в хуторе Грушевском. Пригнали в Екатерининскую, всех посадили на баржу, пытали, морили голодом, требовали, чтобы «осознали вину». Полковника Седова, как дворянина, судил военно-полевой суд в Каменской, Краснов приказал осудить к расстрелу. Учитывая преклонный возраст, расстрел заменили двадцатью годами каторги с лишением дворянства, чинов, орденов и всех прав состояния. Старик Седов сказал на суде: «Да, я бывший полковник царской армии и потомственный дворянин. Но мой путь с теми, кто в бою не раз спасал меня от смерти, с кем вместе жили в окопах, — с трудовым народом России». Теперь он, совершенно не похожий на себя после трех лет тюрьмы и истязаний, стоял перед Мироновым, гордясь последней своей выправкой перед бывшим, вернее, недавним генералом Красной Армии...

— Василий Иванович! — воскликнул Миронов, гася жалость и боль в душе, понимая, какие муки пришлось вынести старику, чтобы дойти до такой прозрачности и слабости. — Дорогой Василий Иванович, спасибо, спасибо, что надумали зайти!.. Проходите, пожалуйста, и будьте гостем! После таких бед и тягот будьте, как говорится, своим в этом доме!

Окно председателя земельного отдела губисполкома было распахнуто в зелень молодой тополевой листвы, птицы щебетали азартно, на дворе был канун мая. Старичок нашел в ряду кресел яркое солнечное пятно и сел прямо на это теплое кресло, провел рукой по короткому седому ежику на шишковатой, словно усохшей голове.

Миронов оценил эту потребность обессилевшего старика к теплу, сходил в буфет и сам принес два стакана горячего чая в подстаканниках. Заварка была морковная, но что же делать, если нет пока ничего лучше. Старик чинно привстал и поблагодарил.

— Вы знаете, Филипп Кузьмич, а я ведь не ропщу на судьбу, — сказал полковник Седов. — Нет, не ропщу! В такое-то время, да в подобной переделке-то! Конечно, в тюрьме я бы не дотянул, но, знаете, произошла некая случайность, оказия! Весной прошлого года, точно если, так именно в эту пору, на вербное, выпустили меня под домашний арест, знаете. Да, без всякого судебного определения, и оказалось, что акцию эту проделал не кто иной — главный завыватель, пропагандист белого круга, Крюков... Не могу понять до сих пор, с какой стати? Причем действовал-то несообразно своему рангу и в обход атаманского дворца, через коменданта города полковника Грекова и начальника тюрьмы...

— На вербное, значит? — уточнил Миронов, усмехаясь. Он знал об этом больше, чем представлялось Седову.

— Да, да, это и спасло меня. Безусловно это! Я вообще-то великий удачник, если хотите... Ведь Краснов, этот проклятый душитель края, только расстрелял и запорол шомполами около сорока тысяч казаков, вы подумайте!

Миронов при этих словах вскочил.

— Сорок... тысяч?! Вы не оговорились? Я знал, что экзекуции и расстрелы были повсеместно, с пристрастием, но... чтобы в таком массовом числе?

— Сейчас у нас в Новочеркасске работает специальная комиссия, Дорошев и другие партийцы. Все установлено по рапортам с мест, бумагам контрразведки, отчетам полковника Кислова. Это же ужас: чтобы посадить в седла шестьдесят тысяч казаков, пришлось почти столько же расстрелять и забить шомполами за уклонение и дезертирство!

— Спасибо, что вы пришли, Василий Иванович, — сказал Миронов. — Для меня это очень важно, я постоянно теперь выступаю по хуторам и станицам с докладами, агитирую, чтобы сеяли больше, спасали и себя, и всю остальную Россию от голода... Много работы, мало знающих людей, агрономов, кооператоров, глушь и темнота по хуторам. Керосина нет, гвоздей и подков тоже, лошади выбиты на войне, а работать надо.

— Я как раз с тем и приехал, — снова чинно привстал полковник, и на иссохшем лике его заиграло подобие улыбки и особой доверительности. — Я, знаете, не люблю есть даровой хлеб, какой мне дают теперь, как бывшему политическому узнику, нет, не люблю. Я хотя и военный, но по узкой профессии — артиллерист, интересовался в свое время авиацией, механикой... Немного знаю статистику... Так вот, Филипп Кузьмич, располагайте, пожалуйста, мной, как вашим сотрудником, право... Ведь надо же работать, работать упорно, ведь Россия должна восстать из пепла, несомненно должна! Большевики, и только они... Только им под силу одолеть нынешний наш развал...

— Дорогой Василий Иванович! Я сейчас же прикажу зачислить вас в плановую комиссию, это великолепно! А можете, если сочтете более удобным, поехать в Персиановку, там надо восстанавливать агрошколу и показательное советское хозяйство. Сами решите. Паек вам надо усиленный, поправиться и — засучив рукава!..

Седов расцвел и даже как бы поздоровел. Допил чай и бережно, как все старики, дрожащей рукой вернул подстаканник на стол.

— Филипп Кузьмич... — произнес вдруг со смущением он. — Вы бывали у Ленина, вы счастливый человек, и говорили с Дзержинским... Скажите, каков из

себя Дзержинский? Это не праздное... мне почему-то важно это...

Миронов вновь усмехнулся и задумался. В самом деле, каков из себя Феликс Дзержинский?

Припомнилось волнение, с которым он поднимался по отлогой парадной лестнице Первого Дома Советов, оглядывал богатые лепные украшения бывшей фешенебельной гостиницы «Метрополь», входил в квартиру председателя Чрезвычайной Комиссии... Чувство удивления — он ведь считал, что его везут на Лубянку! — и некоторой раздвоенности, когда увидел в нетопленой квартире самого Дзержинского, почему-то в накинутой шинели, как будто он собирался уходить...

Потом еще — кофейник в мосластой, исхудавшей руке Феликса Дзержинского, когда он наливал кофе крепкой заварки в пузатые чашки дорогого фарфора, приглашение подкрепиться.

Миронов был смущен всем этим: необычным помещением, необычным приемом, не совсем обычной мягкостью Дзержинского и, откровенно говоря, не знал, как держаться. Слишком открыто — может показаться панибратством, фамильярностью. А закрыто Миронов вообще не умел общаться с людьми, какого бы они ранга ни были... Но все-таки...

Разговор о Саранске так или иначе должен был возобновиться, и, когда Дзержинский упрекнул его за опрометчивость и даже недальновидность, Миронов как-то покорно и непривычно для себя развел руками, держа в одной пузатую чашку:

— Приходится соглашаться, товарищ Дзержинский. Но я ведь — не политик, я — солдат. Точнее, военный до мозга костей человек.

Дзержинский тут же поймал некую ниточку неточности, ложного самоуничижения, посуровел ликом:

— Нет, Филипп Кузьмич, вы политик, да еще какой! По-ли-тик, да еще со своей платформой. Этакий либерал девятнадцатого века с идеей Христа-спасителя: «Чтобы всем было хорошо...» А так не бывает, Филипп Кузьмич, — от этих слов было как-то неуютно, тянуло сквознячком...

— Каков же он, Дзержинский? — Седов, сидевший теперь перед Мироновым, с великим любопытством ждал ответа, и Филипп Кузьмич ответил:

— Как вам сказать... Сухой, высокий человек. Лобастый, глаза не ломкие, уверен в своей правоте. Нельзя сказать, что порывист, но внутри весь кипит, сгорает сухим жаром. Запален, как и мы с вами, вот и все.

— Я понял вас, Филипп Кузьмич. И насколько позволят силы мои, рассчитывайте на меня, пожалуйста... Я подумаю насчет вашего предложения, не лучше ли в самом деле обосноваться мне в персиановском хозяйстве...

Старик поднялся с кресла (солнце уже перекочевало за оконный косяк, стало прохладно), сказал, откланиваясь:

— Вам бы приехать, Филипп Кузьмич, к нам, в Новочеркасск да вмешаться... Понимаете, недавно разрушили и снесли два памятника: Платову и Бакланову. Тоже нехорошо, непорядочно как-то — царские генералы, мол! А сейчас уже молва идет — к Ермаку с той же киркой и ломом подбираются. Тут уж никакого оправдания после не будет. Ведь сам Ленин открывал в Москве памятник Разину, так Ермак-то ничем не ниже Разина, тоже гулевой атаман.

— И до Ермака, говорите? — оторопел Миронов.

— Есть разговоры... Приехать бы вам, — сказал старик на прощание.

— Приеду после праздников, Василий Иванович. На Первомай смотаюсь в родную Усть-Медведицу, в Вешенскую, погляжу, как там у Мошкарова сеют, а уже оттуда и к вам...

Старик протянул слабую, иссохшую руку. Миронов пожал легко, щадя слабые пальцы, и в душе ворохнулось предчувствие, что недолго протянет старик, испытавший трехлетнее заточение в красновском каземате...

Провожая гостя на крыльцо, увидел несколько автомобилей, выстроившихся перед подъездом. Машины были не только местные, но и чужие.

— Что за комиссия? — спросил мимоходом дежурного в вестибюле.

Дежурный вытянулся перед Мироновым, доложил по-военному:

— Члены трибунала, товарищ Миронов! Этого, Думенку, судить. Товарищ Розинберг из Москвы, еще товарищи Зорин и прокурор Белобородов, тот самый, что царя Николашку расстреливал. Совещаются у председателя, после праздников будто — суд...

«Странное дело, — подумал Миронов. — Только что вышел декрет об отмене расстрелов, а тут такая шумиха, вплоть до Москвы...»

— Закажите мне дрожки на вокзал, — приказал дежурному. — Уезжаю в командировку.

И, выглянув через открытую дверь на ряд автомобилей, вспомнил слова предгубисполкома Знаменского: «Нет, не посмеют...»

2

На столе председателя Ростовского губисполкома Андрея Знаменского, отдельно от других бумаг и както отчужденно, лежала свежая, только что полученная телеграмма из штаба Кавказского фронта. Телеграмма была секретной:

Ростовскому исполкому
Реввоенсоветам 12, 14, 1-й Конной и 13-й армий
По приказанию Реввоенсовета фронта прошу запретить печати распространение известий расстреле Думенко.

Военком штаба *Иорданский.*

В первую минуту по прочтении этой телеграммы он испытал горькое недоумение. И перечитал снова, раз и два, не понимая, что происходит.

Уже — все, свершилось?..

Но как же его личный протест, как общественного защитника по этому делу, только что отправленный в Москву? Неужели и положенных семидесяти двух часов не назначили на обжалование приговора, не предусмотрели возможного помилования? Почему, нако-

нец, не учли ходатайства РВС соседнего, Юго-Западного фронта о выдаче им Думенко со всем штабом на поруки? Ведь была телеграмма члена РВС Сталина, и он просил передать Думенко «Юго-Западному фронту, где он безусловно необходим...». И, наконец, записка командующего фронтом Егорова, который отлично знал комкора и, кстати, был ранен в одном бою одновременно с Думенко. Он тоже писал, что РВС фронта в целом берет арестованных на свое поручительство...

В чем же дело? И с каких пор повелось скрывать приговоры трибуналов, как того требует эта странная телеграмма за подписью военкома Иорданского? Приговоры советского суда всегда широко популяризировались в качестве воспитательной и пропагандистской меры, а теперь?

Следовало бы позвонить в особый отдел округа или в областную ЧК, навести справки, но о чем же теперь спрашивать, когда все так неожиданно о к о н ч и л о с ь? Глянув на стопу бумаг, ждущих решения, Андрей Александрович вооружился красным карандашом, отложив любопытные и горькие вопросы свои до вечера. Забот и дел в Донском губисполкоме этой весной, как, впрочем, и по всем иным губернским и уездным исполкомам России, было невпроворот. Сотрудники сбивались с ног, скакали верхами и на тачанках, не спали ночей, чтобы охватить навалившийся на них круг великих забот по восстановлению рухнувшего хозяйства. Ведь ничего не было под руками: ни машин, ни бензина, ни тягла в полной мере, ни пахарей, которые еще сражались где-то на юге и западе, а землю приходилось поднимать старикам, подросткам и калекам. Во многих хуторах уже пробовали этой весной пахать легкие, супесные наделы на коровах, бабы ревели около таких супряг в голос, ждали светопреставления. Уже появлялись и первые грозные признаки массового голода: бродили по станицам и поселкам пухлые, луковично-зеленые старики, умирали младенцы от недостатка материнского молока, которые не могли прожевать ни макухи, ни хлеба-мякинника с примесью желудей...

Похищенные на ростовском вокзале во время эвакуации от немцев архивы всенародной сельскохозяйственной переписи так и не удалось сыскать. Никаких документов, кадастров, таким образом, в земотделе не было, приходилось собирать скудные сводки по местным сельсоветам заново. Совнархоз тоже бедствовал, но там хоть крошечные финансы, но подбрасывала Москва, а что касается земли, то тут приходилось полагаться исключительно на революционный энтузиазм...

А ведь справились же с посевной! Заведующий земотделом Миронов не слезал с седла, скакал на сменных лошадях от Ростова до станицы Урюпинской, а оттуда вниз, до станции Торговой, но с января и до первой борозды по всем юртам, сельским обществам, артелям, ТОЗам, коммунам земля была нарезана, узаконены паевые, подушные и все другие общественные наделы. Через споры, через ругань, через потасовки— время такое, каждый себя считает обделенным, хочет урвать частицу у соседа, — каждого наделили желанной землей по закону и справедливости!..

Земля дана народу за счет помещиков, монастырей, крупных арендаторов, но она получена пахарями г о л о й, забитой сорняками, сусликом, саранчой. Нет силы ее поднять всю, повсеместно, нет химикатов, инструкций, аппаратов-разбрызгивателей, да и знающих людей тоже нет... Миронов на заседаниях сидит с воспаленными глазами и докладывает со злостью: «У меня на каждый бывший округ — по одному агроному, все больше среднего звания, из Персиановской школы. На весь Багаевский район — один Васятка Волгин, ему двадцать четыре года, почти профессор! А в кусте Кумылги — Слащевки ваш однофамилец Иван Знаменский бегает марафоном от хутора Гремячего до хутора Крутого, лекции читает, и за то спасибо! Там еще кооператор Павел Фомич Федотов развернул кредитное товарищество, вовсю двигает кооперацию по станицам, вот и вся гвардия новой жизни! А в других кустах и вовсе ничего!» Но получили сортовые семена — правительство позаботилось — и худо-бедно, а посеялись! К майским праздникам южные округа рапортовали о полной управке дел, теперь бы протравы всякой, парижской зелени, удобрений бы подкинуть, чтобы упредить надвигающийся голод, но откуда взять?

А дури, глупости первостатейной сколько у нас, товарищи! В Тацинском районе жил-поживал до революции донской помещик Греков в прекрасной усадьбе. Окрестные безземельные мужики захватили землю, как и следовало, а усадьбу, разумеется, сожгли... Теперь письменно требуют денег и кирпича на постройку начальной школы. Молодцы, ребята, только вот денег и кирпича у нас пока что нет, придется подождать и подумать на досуге: куда же пропала помещичья усадьба? Ведь в ней-то и школу бы поместить можно... А вот — более горячая бумага: манычские станицы просят выделить мышьяковисто-кислый натр для борьбы с грызунами и насекомой тварью вплоть до саранчи, и тут надо помочь, но предварительно послать агронома-инструктора, не то потравят прудовую воду и мелкую птицу — были прецеденты...

Еще очередная бумага: Малодельская коммуна, притча во языцех... Тринадцать безлошадных дворов, рабочих рук — 4 пары, детей и стариков — 11, беременная женщина — 1, агитаторов — 7, пожарник — 1... Земля выделена и нарезана по севооборотам, семена завезены еще в марте, но пахать и сеять некому... Единственно позорная точка на всей весенне-полевой карте губернии — не управились! Просят:

1. Выделить скот и хозинвентарь в потребном количестве.

2. Дать не менее четырех молочных коров для спасения детей.

3. Прислать осужденных к принудработам казаков-повстанцев для выполнения хозработ и запашки земли — 20 человек.

4. Прислать фураж и сено для будущих коров и лошадей.

5. Снабдить семенами в полной потребности, так как ранее завезенные семена частично расхищены, а частично уничтожены мышами...

6. Прислать литературу по текущей политике и самообразованию.

7. Завезти дрова к предбудущим холодам...

8. Арестовать председателя ближнего Малодельского сельсовета Нехаева Кузьму за к. р. речи о вредности нашей коммуны для народа и всей Республики, а также попытку ее роспуска...

Над этой бумагой председатель исполкома задумался надолго. Запустил растопыренные пальцы в жидкие, приспущенные на лоб волосы и даже как-то обмер внутренне, совсем не зная, что тут придумать, как быть с этой коммуной.

С одной стороны — люмпены и шкурники, не умеющие не только работать, но и думать о себе, сосущие кровь молодой Республики Советов, старшие из которых по всем законам революционной совести подлежат суду за расхищение семенного фонда и убежденный и принципиальный паразитизм, с другой — беднота, голь, несчастные люди, сроду не наедавшиеся досыта черного хлеба, сломленные прежним, капиталистическим образом жизни... Можно, безусловно можно ведь с течением времени даже эту компанию лодырей приучить к делу, к земле!.. Будут ходить по шнурочку, как милые, в рамках той самой идеи, на которой сейчас пытаются паразитировать. Как дважды два — четыре! Но время, где взять недостающее время, где набраться твердости, желания и умения помогать, откуда достать денег, скота, инвентаря, агронома для этой дохлой общины, в конце концов?

Коммуна... Как это Миронов говорит иногда в бессильной ярости: «Сопливый, вшивый и плешивый взялись советский воз везти! Лебедь, щука и рак!» Так-то оно несомненно так, но политика пока предписывает укреплять эти стихийные артели без всякой основы и называть ростками будущего... Кто-то придумал, и без задней мысли очевидно: «ростки будущего...» Приходится на заседаниях одергивать пылкого комиссара по земельным делам... А он упорно доказывает свое: если коммуна — ц е л ь, то как же можно н а ч и н а т ь при нынешнем развале строить эту цель? Ведь к ней надо подходить медленно, именно п р и ц е л и в а т ь с я, прикидывать, анализировать, да не один год, с необходимой осмотрительностью и средствами! Во всеоружии техники, агрономии, науки, постепенно воспитываемой сознательности, которой еще пока у нас нет! Надо же прямо сознаться — нет!

Да, эту бумажку из Малодельской ему лучше не показывать, как-то пустить по линии агитпропа, пускай поедут и разъяснят, что паразитические группы населения никто поддерживать не будет, даже если они и нарекли себя «коммуной»... Коммуна—это сообщество людей, которое и себя кормит, и армию может содержать, и другим угнетенным помочь, только так, дорогие сограждане...

Еще документ. Священник Егорьевский пишет с прискорбием, что местными молодыми юношами, из числа неверующих безбожников, выбиты кирпичами окна в божьем храме. Супротивно здравому смыслу, общественной морали и декрету об отделении церкви от государства. Просит священник Егорьевский через местную группу РКСМ урезонить наиболее отъявленных ребят, которые «в простоте душевной не ведают, что творят...»

Безобразие! Стекло денег стоит, да и завозить его не так просто! Написал резолюцию синим, гневным карандашом: «Губком РКСМ, не считать хулиганство антирелигиозной борьбой. Всыплю на бюро! Изыскать средства, остеклить выбитые окна. Обсудить случай на собрании ячейки».

Ворох бумаг не уменьшался, девушка из приемной подбрасывала новые. Снова вылезла на глаза телеграмма Иорданского. Не выдержал, сунул в самый дальний ящик стола...

Вошел без предварительного доклада Миронов.

Основательно исхудавший, на лбу черная полоса загара, шея кирпичного цвета, усы обвисли — не до форса, глаза горят, как у чахоточного... Взбил усы кулаком, с яростью. Ничего не остается делать, когда от всего обличья остались одни прославленные усы. Во всей Республике таких усов наперечет: у главкома Каменева, у Миронова, да еще у Буденного. На Дону, стало быть, ныне — единственные...

Но усталость прямо бросается в глаза. Прошел, покачиваясь, как при морской болезни, сел...

— Что-нибудь срочное? — поднял голову председатель исполкома.

— Понимаете: разбился в седле! Кому сказать, особенно прошлогодним полчанам, блиновцам, — засмеют. В тылу, на тихой пашне, ихний командир Миронов растрясся, как пластунская копна, качает его. Смех и грех!

— Завтракали сегодня? — с усмешкой спросил председатель.

— Чего-то такое жевал... Да. Но дело не в этом! Я сейчас только что из Новочеркасска, Андрей Александрович. Прошу прекратить там очередное безобразие. Пресечь! Позвоните срочно, или я этого трижды подлеца Краева все-таки застрелю под горячую руку и уж тогда буду по всей справедливости ответ держать!

— Я слушаю, — настороженно сказал Знаменский.

— С первой минуты, как мы с вами съехались сюда к общей работе, вы знаете, земотдел из последних сил налаживает показательное хозяйство в Персиановке. Не на базе коммуны, а на базе советской экономии, совхоза. Это — наша опора: старое учебное хозяйство, люди, питомник и все прочее надо восстановить на советской основе. Вспахали и посеяли все в срок. Теперь пары и полупар, кое-какой уход... Вчера узнаю: новочеркасский пред забрал из хозяйства пять пар рабочих быков... волов по-нашему! В Новочеркасск, в город! Зачем? Третьи сутки цепями и веревками на Соборной площади валят памятник Ермаку. Как вредное сооружение времен царизма! А он не падает, крепко в землю вбит, и, похоже, этих быков мне до зяблевой вспашки не вернут! Надо отменить головотяпство, Андрей Александрович.

— То есть как? Мы санкционировали уничтожение двух памятников: бывшим атаманам Платову и Бакланову, с разбором оснований и пуском кирпича и щебенки в дело. О Ермаке пока никакого решения...— замялся Андрей Александрович.

— Вот. Этот Краев — он сверхэнтузиаст! Ему сказано: двух атаманов свергнуть, а он — под замах — и третьего норовит порушить. А про Ермака даже декабрист Рылеев песню сочинил, и весь народ с ней живет с рождения до конца дней...

— Н-да, что-то тут не так, — сказал Знаменский.

— Начали долбить основание, а оно чугунное, не поддается. Обкопали со всех сторон, на шеломную голову покорителя Сибири — петлю и — цоб-цобе! Третьи сутки потеют, веревки порвали, а он, говорю, все стоит.

У Миронова прямо руки чесались, но теперь он был учен, сдерживал гнев. После некоторого молчания сказал:

— Главное дело, быки нужны в хозяйстве. Там уже пропашка междурядий началась. Да и насчет Ермака в Новочеркасске нехорошие разговоры, дескать, Ермак-то царю не служил, за что же его-то? Это, мол, надругательство над всей бывшей вольницей... А кто и посмеивается со злорадством: «Ермак-то! Не могут с ним коммунисты справиться, стоит, как перед татарами!..» Это — к чему? И зачем нам, коммунистам, свергать Ермака?

Странное дело. Резкий и вызывающий со всеми, Миронов, здесь, перед председателем исполкома, тишал, сохранял обходительность и даже покорность. И зависело это не от должностной подчиненности, не от того, что Знаменский был рекомендующим не так давно, а исключительно от внутреннего уважения к личности, к политическому стажу и каторжанскому сроку, отбытому в Александровском централе. Оттого, что он отчасти напоминал Филиппу Кузьмичу покойного Ковалева...

— Я насчет Ермака должен выяснить, Филипп Кузьмич, — прямо сказал Знаменский. — Может, просмотрел какую-нибудь директиву?

Миронов понял: «Возможно, это указание высших органов?» И потупился. Говорить дальше было почти что нечего. Но сорвалось все же с губ непрошеное:

— Запросить бы ВЦИК, самого Калинина. Дело-то больное для нас...

— Запросим... Между прочим, Совнарком отпустил нам двести миллионов исключительно на сельское хозяйство, — добавил Знаменский.

— Тогда я пошел, — сказал Миронов. — Дел по горло...

— Я вот что хотел... — задержал Знаменский. — В начале июня собирается I областная партконференция, а в середине месяца проведем II съезд Советов Дона. Очень много работы предстоит в части землеустройства и проведения в жизнь «Декларации по земельным отношениям на Дону», которую мы с вами проектировали. Подумайте, пожалуйста, над всем этим, приготовьтесь к выступлению. Сев, в основном, закончен, думаю, что вам можно посидеть и за служебным столом, сойти с седла... А насчет Ермака — завтра. Вызову кого следует.

— Разбился я, между прочим, не на севе, — усмехнулся Миронов. — Чтобы не было кривотолков, скажу: гонялся за милиционерами — сатрапами...

Председатель поднял брови и застыл в изумлении:

— Почему? Именно «сатрапами»?

— Ну, «земскими начальниками», если точнее! Некому за ними следить, а они уже во вкус входят, произвол и обложение натурой. Надо этот вопрос тоже бы обсудить на исполкоме...

— Ну, хорошо. До свидания, — сказал Знаменский.

Миронов вышел, прихватив документы, которые адресовались в земельный отдел.

...Через два дня узнал, что быков вернули в персиановское хозяйство, Ермака пока что оставили в покое. Но надолго ли?..

3

В первых числах июня армейские корпуса Кутепова и Слащева совместно с группой генерала Барбовича вышли из Крыма, сбили части 13-й Красной армии с рубежей, опрокинули и погнали в степь. Чуть ли не церемониальным маршем занимали один укрепленный район за другим, разливались по Северной Таврии от Каховки до Мелитополя. Вполне вероятен был прорыв белой конницы на Таганрог, к Дону.

Под Мелитополь была спешно двинута 2-я кавдивизия имени Блинова — едва ли не единственный резерв красного командования.

Сам Михаил Блинов в ноябре прошлого года погиб в тяжелом бою под Бутурлиновкой, нарвавшись в пешей атаке на пулеметы, тело его вывезли и похоронили в родной Михайловке, где он формировал недавно свои знаменитые полки. Ранен был и его преемник Мордовин, исчез незаметно из штаба комиссар Болдырев, обновились эскадроны больше чем наполовину. Но еще витали над головами конников Блиновской и прошлая слава и осенний призыв РВС Южного фронта, в котором поминали вольного казака Стеньку Разина: «...кому дорога Революция и Свобода, кто чувствует в своих жилах кровь вольного атамана, идет в свою родную Донскую дивизию!..»

Блиновцы с налета разгромили туземную Астраханскую дивизию генерала Ревишина под Новомихайловкой, зарубили шестьсот и взяли в плен более тысячи белогвардейцев, пленив штаб и самого генерала. Но это был первый и единственный успех красной конницы в этот момент: одна, даже такая дивизия, как Блиновская, не могла обеспечить решительного перелома на целом фронте. Завязались новые кровопролитные схватки, Врангель вывел из резерва Донской корпус, и снова начали пятиться главные силы 13-й армии, отступая на правый берег Днепра. Временно оставили даже Каховку, Алешки. 2-я Блиновская медленно таяла в беспрерывных рейдах по тылам противника, крутилась в сабельных вихрях, принимая на себя всю ярость осатаневших рубак Гусельщикова и Калинина.

В красных тылах усилилась деятельность Махно. С Кавказского фронта спешно перебрасывались в Таврию конкорпус Жлобы, ставшего преемником Думенко, и 16-я кавалерийская Семена Волынского. 25

июня последовала директива РВС: «Разбить Врангеля!» Прибывшие части, а также и Блиновская под временным командованием прославленного матроса Дыбенко и приданная им 40-я Богучарская стрелковая под объединенным командованием Дмитрия Жлобы получили задачу: прорваться в тыл врага в Черниговском направлении, уничтожить Донской корпус Врангеля и стратегические резервы у Мелитополя. Охватом правого фланга группировки противника отрезать пути отхода в Крым...

Корпус Жлобы после длительного марша нуждался в отдыхе и переформировке, 2-я Блиновская только что вырвалась из окружения, прорубив путь отхода через стаю белых казаков Гусельщикова, и не успела залечить ран, была явно не готова к активным действиям. Но возразивший приказу начдив Рожков (бывший комиссар 5-го Заамурского полка) был отстранен от командования. Фактор времени казался решающим, части бросили на прорыв...

Исход плохо подготовленного рейда решило и еще одно немаловажное обстоятельство: противник был прекрасно осведомлен о планах красного командования, которое еще не знало в данный момент, что по силе удара и маневренности врангелевская «бронированная» армия не имела себе равных... Упустили из виду и обилие железнодорожных путей и врангелевских бронепоездов в этом районе.

28 июня в 14 часов 6685 сабель Жлобы при 115 пулеметах и 24 орудиях стремительным ударом прорвали фронт противника и двинулись в его тыл. Врангель же подтянул резервы, завязал на рубеже речки Юшанлы изматывающие бои и замкнул кольцо окружения. Еще не зная о случившемся, Жлоба приказал 1-й кавдивизии продолжать наступление с захватом переправ на реке Молочной, а 2-й Блиновской взять Мелитополь. С рассветом 3 июля блиновцы кинулись на вражескую конницу, смяли, понесли... готовы были переломить весь ход сражения — увы, над степью в это время поднялись эскадрильи белых аэропланов. Началось еще невиданное избиение конницы с воздуха в голой, освещенной солнцем степи...

Броневики Врангеля ворвались в колонию Лихтенфельд, где был штаб всей ударной группы, сильным пулеметным огнем погнали остатки штабного резерва в северо-западном направлении, к Большому Токмаку. Но здесь жлобинцы попали под шквальный огонь бронепоездов и в полном беспорядке покатились на юг. Жлоба потерял управление когда-то непобедимой конницей...

Была потеряна вся материальная часть, из окружения вышла едва ли четверть первоначального состава группы.

Следственная комиссия под председательством члена РВС фронта Берзина установила, что отдельных злостных виновников этого тяжелого провала не было, и это соответствовало действительности. Наряду с тем в докладе комиссии отмечалось, что, «ворвавшись в тыл противника, начальники всех степеней, начиная с высших, проявили небрежность в деле разведки, охранения и связи, что можно объяснить лишь недостаточным пониманием боевой обстановки. Никто из трех начдивов не проявил свойственного кавалеристу хладнокровия, твердости воли...»

Остатки частей отвели в тыл, на станцию Волноваха. Жлобу понизили в должности, начдив-2 Иван Рожков возвращен на прежнее место. Но Врангель не отступал, война только еще разгоралась.

16 июля 1920 года приказом № 1307 штаб Юго-Западного фронта положил начало формированию 2-й Конной армии РСФСР. Командующим армией временно назначался бывший начдив-4 Ока Городовиков. Членами РВС — комиссар штаба фронта Макошин и член РВС 1-й Конной Щаденко.

ДОКУМЕНТЫ

Председателю СНК тов. В. И. Ленину
Центральному комитету РКП(б) и ВЧК
№ 2/сек. Ростов
1 августа 1920 г.

Кубань вся охвачена восстаниями. Действуют отряды, руководимые единой рукой — врангелевской агентурой. Зеленые отряды растут и значительно расширяются с окончанием горячей поры полевых работ — около 15 августа. Отдельные отряды появляются в Ставропольской губ., на границах Кубанской и Астраханской. В Донской обл. относительно спокойнее, но...

В случае неликвидации Врангеля в течение короткого времени мы рискуем временно лишиться Северного Кавказа. Начавшаяся налаживаться работа дезорганизована, агентура увивается в станицах, гурты скота угоняются бандами...

В интересах сохранения Северного Кавказа Кавказское бюро настаивает на необходимости: 1) коротким ударом покончить с Врангелем... и 2) усиливать Северный Кавказ ответственными работниками.

Еще раз обращаем внимание на чрезвычайную серьезность положения.

Кавказское бюро ЦК РКП(б)
Киров, Орджоникидзе[1].

ПРИКАЗ РВСР

Об укреплении командных кадров
на Врангелевском фронте
№ 1609/300
20 августа 1920 г.

Сильной стороной Врангеля является обилие у него квалифицированного военного элемента (бывшие офицеры). Необходимо и с нашей стороны всемерно усилить действующие против Врангеля армии лучшими нашими работниками из числа командного состава.

Всероссийскому главному штабу и полевому командованию при выполнении нарядов для пополнения командным составом армий, действующих против

[1] ЦПА, ф. 461, д. 30025, л. 1.

Врангеля, назначать самых опытных лиц, независимо от занимаемых ими должностей...

Зам. пред. РВСР *Э. Склянский.*
Главком *С. Каменев.*
Член РВСР *Курский*[1].

4

Попытка вырвать инициативу из рук Врангеля не увенчалась успехом...

Вторая Конная, правда, прошла рейдом в глубине его обороны, из района Жеребец-Орехов до Каховки, но это был почти смертельный для армии поход. Командарму Городовикову не раз приходилось бросать в бой последний свой резерв, 9-й кавполк, участвовать самому в ожесточенных рубках. Противник несколько раз брал армию в окружение и прострельный огонь. Сводки из штаба Конной шли одна тревожнее другой. «Бои за сегодняшний день отличались особенной ожесточенностью, части переходили в рукопашную рубку пятнадцать раз. К вечеру 30 июля враг обрушился крупными силами на левый фланг 20-й дивизии, которая не выдержала удара превосходящих сил противника и отскочила до Васильевки, потеряв шесть орудий. Тяжело ранен командир 1-й бригады 21-й дивизии Харютин. 1-я бригада 2-й Блиновской дивизии, действовавшая на правом фланге 20-й дивизии, имела рубку, продолжавшуюся около часа с превосходящими силами противника, но, несмотря на это, не отступила ни на шаг. В этом бою с обеих сторон имеются значительные потери. Ранен тремя сабельными ударами бывший начальник 21-й дивизии Лысенко. Бой проходил под руководством командующего армией, под которым была ранена лошадь...»[2]

Прорыв Конной армии в тыл противника не был поддержан стрелковыми частями 13-й армии. Генералу Кутепову удавалось обходить открытые фланги конных дивизий красных. Войска правобережной группы из района Берислава — Каховки оказали слабую встречную поддержку. К концу рейда 2-я Конная выдохлась и почти потеряла боеспособность. Из 9 тысяч бойцов, пошедших в первый прорыв в середине июля, по донесению члена РВС Макошина, к сентябрю осталось в строю около 1500 сабель, а боеспособных из них не более 500.

Пока главный штаб Красной Армии был целиком занят осложнениями на Польском фронте, на Республику надвигалась новая беда: возникла реальная опасность утери Донбасса и, возможно, некоторых округов Дона и Кубани. Снова обострялся вопрос о топливе и хлебе. Становилось ясно, что из всех белых претендентов на власть в единой и неделимой России Петр Врангель оказывался самым предприимчивым и близким к цели.

27 августа Председатель Совета Труда и Обороны Ленин слушал доклад главкома Каменева о положении на Врангелевском фронте. Не назначалось большого совещания, но, кроме докладчика, в кабинете Ленина были члены СТО, представитель Казачьего отдела Макаров, лица, ведающие мобилизацией людских и материальных ресурсов. Во всем облике Ленина чувствовалась некоторая усталость, в бровях и усах поблескивали первые искры седины, но взгляд острых и как бы пронизывающих глаз был, как всегда, полон силы и внутренней глубокой мысли. Ленин повторил лишь недавно высказанную мысль об остроте нынешнего положения — либо мы завершим гражданскую войну на Юге до первых морозов, либо война и разруха к весне задушат Республику — и пригласил Каменева к докладу.

Сергей Сергеевич Каменев, подтянутый, деловитый, с громадными, жесткими усами, посмотрел на серебряную луковицу карманных часов перед письменным прибором Ленина и сразу мысленно сократил доклад вдвое. Общая обстановка была всем хорошо известна, следовало лишь обратить внимание присутствующих на некоторые частности в войне с Врангелем, которые ныне оказывались решающими...

— Особо трудна борьба с бронированной конницей белых, обилие броневиков и танков, оборудованные пулеметами автомобили, — сказал Каменев. — Большое преимущество имеет противник также из-за особого состава войск: цветные полки бывшей Добрармии более чем наполовину состоят из боевых офицеров, обстрелянных и, конечно, озлобленных вояк. Такие партизаны-выдвиженцы в командном составе, как Покровский и Шкуро, изгнаны Врангелем «в отставку» с самого начала. Поэтому во всех нынешних операциях, рассчитанных преимущественно на кавалерийскую мобильность и охваты флангов, чувствуется грамотная и опытная рука бывалых штабистов. Именно поэтому главный штаб поставил перед РВС Республики вопрос о пополнении действующей армии на Юге наиболее опытными военными кадрами, где бы они ни находились в данный момент...

Ленин, охватив широкой ладонью лицо, потирал и незаметно массировал виски, мелкие морщины у глаз. Усталость все-таки давала себя знать. Недавно прошел II конгресс Коминтерна, давили не только внутренние, но и международные проблемы. Ленин вдумчиво оглядывал лица хорошо знакомых ему людей, встречался с ними взглядом, что-то прикидывал для себя, не упуская в то же время и сказанного докладчиком. На чистом листе бумаги, что лежал перед ним, появилась беглая, остроизломистая строка: «Фрунзе... Туркестан, срочно...» И тут Ленин как бы натолкнулся на упорно смотревшие на него глаза комиссара ВЦИК Макарова.

— Вы что-то хотели сообщить? — спросил он, едва Каменев закончил свой краткий доклад.

— Да. О военных кадрах, — поднялся Макаров. — К нам и одновременно в главный штаб обратился с заявлением бывший начдив Миронов. С просьбой направить его в действующую армию для борьбы с белоказаками Врангеля. Казачий отдел ВЦИК полагает...

— Какие виды на урожай в Донской области нынче? — спросил Ленин. — Он ведь там заведует земельным отделом? И потом — как мне известно — Миронов

---

[1] ЦГАСА, ф. 5/6, оп. 1, д. 260, л. 154.
[2] Душенькин В. Вторая конная. М., 1968, с. 54.

возглавляет комитет по борьбе с эпидемией чумы. Каково там положение?

Макаров ответил исчерпывающе на оба вопроса, он недавно вернулся из поездки по Ростовской и Царицынской губерниям. Урожай хлеба на тех полях, которые удалось вспахать и засеять, был повсюду хороший. Что касается вспышки чумы, то с появлением первых фруктов и улучшением питания, а также благодаря принятым Донским исполкомом мерам эпидемия может считаться ликвидированной. Миронов сам объехал станицы, подверженные эпидемии, и вернулся с убеждением, что угроза на этот раз миновала.

— В самом деле, — сказал Ленин, взявшись вновь за карандаш. — Ведь Миронов, говорили, великолепный тактик в управлении конницей?

— Миронов — самая подходящая фигура в нынешних условиях, Владимир Ильич, — вновь поднялся Каменев. — Я имею в виду нашу конную ударную группу в новом, разумеется, составе. Но Миронов с прошлой осени, после прискорбного саранского дела, не числится в военных кадрах. К сожалению.

— Это ничего не значит, — как бы между прочим, мельком, сказал Ленин. — Тяжесть момента, в условиях наших неудачных переговоров с поляками, я думаю, позволит нам вернуть Миронова в армию. Да. Это будет иметь и политическое значение, если учесть преобладание белоказаков в коннице Врангеля. Если главный штаб действительно выдвигает эту кандидатуру для ударной группы.

— Главный штаб поддерживает ходатайство самого Миронова, — уточнил Каменев.

— Казачий отдел ВЦИК также со своей стороны... — сказал Макаров.

Как только закончилось совещание, Ленин продиктовал секретарю Фотиевой записку в РВС Республики относительно скорейшей реорганизации Южного фронта: «Не назначить ли Фрунзе комфронтом против Врангеля и поставить Фрунзе тотчас?.. Фрунзе говорит, что изучал фронт Врангеля, готовился к этому фронту, знает (по Уральской обл.) приемы борьбы с казаками...»

Насчет «приемов борьбы» сделана была едва ли не умышленно уступка неизменному в РВС мнению о контрреволюционности казаков, но приемы, о которых шла речь, вряд ли можно было считать «борьбой». Еще в октябре прошлого года, едва освободив Уральск, Фрунзе настоятельно просил Совнарком о помощи уральским казакам и объявлении амнистии. В принятом затем декрете, как помнил Ленин, объявлялась амнистия служившим по мобилизации у Дутова уральцам, демобилизовались старшие возрасты, а молодым красноармейцам-станичникам предоставлялся трехнедельный отпуск для поправки домашних дел. За конфискованного в прошлом коня выплачивалась компенсация до 6 тысяч рублей и еще тысяча — за седло и сбрую. Фрунзе, командовавший к тому времени уже Туркестанским фронтом, сам приезжал с казачьими нуждами в Москву и добивался этих решений. Надо сказать, что этой своей умной страстью к упорядочению всей жизни на новых, советских основах он в особенности и понравился Ильичу. Нечего было уж говорить о его качествах партийца и военного стратега, в короткое время сумевшего ликвидировать Колчака и объединенные силы белобасмачей в Бухаре.

Итак — Фрунзе и... Миронов.

Ленин дважды подчеркнул на листе бумаги собственные заметки. Подумал еще: Фрунзе прибудет в Таврию к концу сентября, раньше ему не поспеть, а Миронова необходимо посылать немедленно, для сколачивания ударной кавалерийской группы... Объявить призыв добровольцев во 2-ю Конную на Дону и Кубани, а также по Тереку... Посмотрим, каков в самом деле Миронов в строю, очень много было разговоров о нем, как о талантливом партизане и мятежнике. Теперь же он — член партии, да и задачи иные...

Труба пропела побудку спокойно и мирно, никакой тревоги не ожидалось. Кавалерия стояла по северному берегу Днепра на отдыхе и переформировке. Эскадроны, полки, бригады, в которых оставалась едва ли пятая часть прежнего состава, медленно приходили в себя после изнурительного рейда и тяжких потерь. Прибывали новые, необстрелянные бойцы, группами и в одиночку. Здесь, за Бериславом, пока что не было боев, шла учеба без особого нажима и спешки, все понимали, что для приведения частей в боеспособную форму требовалось время.

И вдруг — седловка, по тревоге.

Забегали взводные и эскадронные, заголосили командирские глотки, как на передовых позициях: через четверть часа — готовность!

Конники выстраивались, держа коней под уздцы, на широкой площади украинского села. Вокруг церкви образовался квадрат из четырех дивизий. Прямо напротив паперти — боевая Блиновская, слева — 21-я непобедимая, по правую руку — 16-я неистребимая, а по ту сторону плаца — 20-я, жлобинская. И все-то они при нынешнем некомплекте поместились в одном кругу: что ни дивизия, то не больше одного хорошего полка, когда он идет на фронт... Такую армию в бой не двинешь, а потому и сбор был либо учебный, либо вовсе по непредвиденному случаю и тревоге, если, допустим, Врангель опять прорвал фронт и полез через Днепр. От него нынче всего можно ждать!

Стояли конники шеренгой, молча, командиры эскадронов похаживали перед строем в ожидании полковых и бригадных командиров, которые собрались в штабе. Ни разговоров в строю, ни пересмешек, хотя и «смирно» до времени никто не командовал. Кони и те стояли понуро, и половина из них была разнуздана, будто не в строю, а на дневке или конном базаре в воскресенье.

Вдруг появились скопом на крыльце — командир Блиновской Иван Рожков, щуплый юноша в кожанке, бывший комиссар 5-го Заамурского, любимец и душа блиновцев; за ним начдив 21-й Михаил Лысенко, весь перебинтованный, несчастливый в бою, крепкий рубака, и начдив-16 Волынский в новой длинной шинели с «разговорами». Следом появился и разжалованный из комкоров Жлоба, похудевший и злой.

Вместе с командирами бригад, которые следовали за ними, разобрали у коновязи лошадей. Первыми

вскочили в седла комбриги, разъехались по своим местам, а начальники дивизий давали им на это время, все еще совещались. Командарма Городовикова с ними не было.

Акинфий Харютин, бледный, только что вернувшийся из лазарета, с красной орденской розеткой на груди, и веселый, чисто выбритый Фома Текучев, бывший есаул, развернулись около своих правофланговых, а тут и начдив Лысенко остановился перед развернутым строем, коротко подобрал поводья, укрощая коня, отдохнувшего и норовившего ударить передним копытом...

— Товарищи красноармейцы и краскомы героической 21-й кавалерийской дивизии! — закричал начдив слабым голосом, превозмогая раны и усталость. — Довожу до вашего сведения, что приказом Реввоенсовета Республики от 30 августа... — Слева и справа, как эхо, отдавались те же рапорты начдивов 2-й Блиновской и 16-й кавалерийской, а из-за церкви доносился надтреснутый басок Жлобы, командира 20-й, и все о том же, слово в слово: — От 30 августа новым командующим нашей 2-й Конной армии назначен товарищ Миронов Филипп Кузьмич!.. Красный казак, полководец, который еще в первые дни революции вместе с Подтелковым и Кривошлыковым на Дону неколебимо стал...

Было мгновение мертвой тишины, некоторого любопытства и удивления, и вдруг мощное, стоголосое «ура!» — чуть нестройно, вразнобой — пошатнуло окрестные сады, воздух, вздыбило понурые головы лошадей, подняло тучу пепельно-черных галок над церковными ржавыми куполами. Это заревели восторженными голосами бойцы Блиновской, бывшие герои усть-медведицкой бригады Миронова, и будто наперекор им, с новым подъемом и восторгом хватили глотки бывшей 3-й Донской бригады Акинфия Харютина, если не знавшие Миронова лично, то слышавшие не раз о его победах. Но никак не хотели уступать им и казаки 2-й Горской бригады Фомы Текучева, собранные во время думенковского рейда по верхнему и нижнему течению Хопра в зимние холода девятнадцатого года, когда подбирали по хуторам выздоравливающих после тифа и ранений. Справа кричали конники Волынского из бывших экспедиционных войск, слышавшие о Миронове, и все бросали вверх линялые, видавшие ветры и непогоду фуражки и шлемы-богатырки, а им откликались из-за церкви шеренги 20-й.

Боже ты мой, что поднялось вслед за тем в раздерганном, смешавшемся строю бывших усть-медведицких! Кое-кто без команды вскакивал в седло и выхватывал блестящий клинок, кто плакал, не стыдясь товарищей, в первом эскадроне качали комэска Мордовина, сменившего в бою под Бутурлиновкой самого Михаила Блинова, а в 3-м Быкадоровском полку эскадронный Ермаков вскочил ногами на седло, как признанный мастер джигитовки, и орал «ура!» таким голосом, что буланый дончак под ним испуганно пританцовывал и прядал ушами, как при бомбежке. Шапки летели вверх, бойцы обнимались и троекратно христосовались, как на святой день.

Старый вояка Григорий Осетров в Горской вдруг упал на колени, поцеловал коня в мокрые ноздри и, держа суконный шлем в левой руке, начал вдруг креститься правым кулаком, сжимавшим повод. Бойцы даже расступились от неожиданности как от припадочного, до того было это удивительно в неверующей массе! А старый казак, подняв морщинистое, усталое лицо к небу, крестился и плакал:

— О господи, милостивый создатель, боже правый! Услыхал ты нашу мольбу ночную, внял горючей слезе!

— Встань! Очумел, что ли? — испуганно подхватил Осетрова под локоть стоявший рядом боец Комлев. — Про бога вспомнил! — и засмеялся зубасто. — Ништо и впрямь ты в бога веришь? Красный боец-воин?!

Молодые вокруг оторопело смотрели на Осетрова, улыбались как-то нехотя и напряженно. Волна криков, обежав церковь, приходила с другой стороны и поднималась с новой силой.

— Дурак ты! — грубо и гневно сказал Осетров, поднявшись с колен и медленно, без всякой злобы вывернув свой локоть из крепкого захвата чужих пальцев. — Дурак! Не в бога верую, а в правду! Правде и молюсь! Надо ж чему-то... Потому как хочу, чтоб ты, болван, живым был! Ну? Погляди, сколь нас осталось-то посля энтих командиров, какие Думенко да Миронова сменили? Довоевались, идолы! — Осетров вытер мокрые глаза наотмашь суконным шлемом. — А ты-то его знал, хоть чуть, самую малость, Кузьмича-то?! Нет? Вот то-то и оно!

Боец Комлев смущенно посмеивался, вытирал рот тылом ладони, а шум между тем помалу утихал. Рядом с начдивом Лысенко оказался на коне политкомиссар товарищ Экон. Поднял руку, требуя внимания.

— Товарищи бойцы! — сказал политком громко, чуть-чуть оступаясь на прибалтийском акценте. — Миронов Филипп Кузьмич — красный казак, еще в девятьсот шестом году выступал против царизма и с тех времен пошел вместе с трудовым народом! За голову товарища Миронова, как и других красных командиров, генерал Краснов назначал сотни тысяч рублей золотом, но сам сгорел осиновой головешкой, а товарища Миронова после назначили командующим 16-й армией на Западном фронте... Нынче он по решению высших военных органов, как выдающийся стратег и знаток кавалерии, направлен на Южный фронт командовать нашей конармией! Реввоенсовет Республики поручает товарищу Миронову завершить формирование, поднять боевой дух армии и разбить генерала Врангеля!

Комиссар Экон складно и громко рассказал бойцам о новом командарме, не находя нужным в данном случае касаться некоторых частностей прошлого года, когда Миронов не столько воевал с белыми, сколько метался по тылу и далеким от фронта штабам, доказывая очевидную истину, что народ в целом не может быть контрреволюционным и что в интересах Республики как можно скорее заканчивать гражданскую войну. Теперь эти выводы настолько назрели, что их не надо было доказывать, и, возможно, именно поэтому Миронов вновь оказывался в седле.

Начдив Лысенко прочитал свежий приказ:

— Нынче, 6 сентября, товарищ Миронов прибыл в

расположение армии. Получен приказ: всем дивизиям, в том числе и нашей, 21-й, готовиться к смотру на 9 сентября! Комбригам и командирам полков приступить к подготовке сегодня же! Особо обратить внимание на прибывающих новобранцев и добровольцев с Дона! Коней вычистить до белого платочка, раскованных — подковать!

Из штаба фронта, дислоцированного в Харькове, ехал Миронов к войскам, через Александровск и Никополь, памятные ему с семнадцатого года города.

Что ж, здесь, в Приднепровье, началась его новая служба в 32-м революционном полку: здесь, в Александровске, многих его полчан-сослуживцев несли горожане на руках после парада и одаривали пачками табака и печенья, и тут он был счастлив родством и единомыслием душ со всем окружающим народом, с каждым встречным тружеником — на железной дороге, в ревкоме Никополя, на площади у трибун... Здесь глазами Нади, серыми, настежь открытыми, глянула на него сама молодость. И сюда, как будто по мудрому распорядку, кинула его судьба теперь, после всех недавних потрясений, утери каких-то драгоценных искр в уставшей душе, на новое дело. Может быть, именно здесь она и отойдет, окрепнет и оперится заново, чтобы начать новое движение по кругу жизни?

В Никополе Миронова ждали открытый автомобиль на резиновых шинах и полусотня конвоя из бывшей блиновской кавалерии. Почти никого не узнал в лицо Миронов, только разве командира полусотни Мордовина да вестового при нем Кирея Топольскова, ездившего, помнится, с важным пакетом от Миронова в Царицын... Но стоило лишь сбиться со строевого шага при выходе из вагона, обнять около автомобиля старых своих полчан и побратимов, как бойцы соскочили с седел, бросились к нему, и стало жарко от объятий, толчеи, выкриков с радостными приветствиями, от нахлынувших слез. Бывалые рубаки, закаменевшие сердцем люди прослезились, увидя Филиппа Кузьмича живым и здоровым. Какой-то исхудавший паренек с добрыми, доверчивыми и простодушными глазами не выпускал локоть Миронова и старался перекричать окружающих: «А меня помните, Филипп Кузьмич? Я же с самого начала с Михаилом Федосеичем и с вами!.. Кучеровал на тачанке! Ну, Репников, Андреян, с хутора Курина Кепинской станицы! А мы о вас чуть не кажний день тут думали-споминали!..» Его перебивали другие, терлись ближе к командующему, обещали служить дерзко, верой и правдой за Советскую власть, как умели служить и в восемнадцатом, как умели гикнуть в сокрушительной лаве под Филоновом и Урюпинской, на Северском Донце после утомительных рейдов по степям и балкам...

Сладка и трудна для сердца минута встречи, срывает учащенное дыхание с губ. Обнял еще раз Мордовина, сказал тихо, просяще: «Пора, пора на конь, станичники!» — и все разом оказались в седлах. Пошли конвойные за автомобилем вполукруг, а потом вытянулись в колонну по трое, летели стремительной рысью, парадно обнажив клинки. Миронов оглянулся, погрозил шутливо пальцем, глядя в смеющееся, радостное лицо Мордовина: не озоровать у меня, шашки — в ножны! Клинки тут же исчезли в ножнах — делов-то! А все же радость и вечное казачье «кривое коленце» в пляске сумели, мол, показать, тем и рады!..

Ощущение грустного, после стольких потерь, праздника преследовало Миронова все эти дни. Особенно усилилось это чувство на параде встречи.

Городовиков, назначенный помощником Миронова, неплохо командовал строем и резервными колоннами из нестроевиков обоза; прошли мимо командующего все четыре дивизии, особый штабной полк, а ближе всех, жальчее была опять-таки родимая Блиновская.

Миронов — по уставу — приветствовал проходящие полки, слабые, некомплектные, но такие знакомые по обмундированию, оружию, посадке...

Славные заамурцы!

Доблестные белозерцы!

Герои быкадоровцы! — по имени погибшего командира полка.

Красные орлы-таманцы!

Бесстрашные лабинцы!

Красные артиллеристы!..

На рысях пролетали мимо бойцы, блестели зубастыми улыбками во весь рот, орали до самозабвения «ура!», а он видел опытным взглядом, как истощены кони, потрепана (хотя и ушита, подправлена к смотру) сбруя, изношено снаряжение. Бойцы, за малым исключением, изранены в недавних боях, когда пробивались из вражьего кольца у самой Каховки, требовался им, как и верным их коням, хороший и длительный отдых. Обмундирование ниже всякой критики: гражданская война вымотала все силы из Республики, чем тут оденешь громадную армию, какая разбросана по всей стране от Великого океана и Хабаровска до Вислы и Крыма?

Была одна надежда: заправиться и экипироваться за счет богатого английскими поставками неприятеля, да ведь до поры это как локоть — близко, а не укусишь! Одно только и было пока в активе у нового командарма — настроение и боевой дух массы. Настроением нынешней 2-й Конной можно было, пожалуй, соперничать с любым свежим коммунистическим батальоном, с курсантской бригадой. Старая боевая спайка уцелевших в боях конников вокруг командиров и политруков получила еще и дополнительную крепость с приездом командарма Миронова, добавив еще чувство прежней славы и преемственности от первых красных формирований. «Теперь за одним дело, — размышлял Миронов. — Хорошие боевые учения на месяц, в крайнем случае, на две-три недели. Вывести из боев, укрепить новобранцами, обучить этих орлят полету, пониманию команды и маневра, а потом — в добрый час».

Миронов остался доволен смотром, поблагодарил командиров, сразу же наметил большую задачу: не только бойцам, но и командирам в особенности как можно скорее овладеть навыком и умением кавалериста-джигита, выучить все приемы сабельной рубки, в том числе и знаменитому «баклановскому удару», рубке «с обманом», выработать проворство и умелое обращение с конем. (Памятник атаману Бакланову в Новочеркасске разрушили, так же как и Платову, но

их умение воевать следовало еще изучать и хранить в боевых порядках!) Драгунские седла рекомендовал переделать на казачий манер — с выпущенными ремнями стремян (путлищами) на полную длину ноги всадника, особо обратить внимание на выездку коня, преодоление препятствий. Реввоенсовет фронта дает на все это необходимый месячный срок... Был разговор по телефону.

— В двадцатых числах, товарищи, проведем полковые учения и глянем тогда, кто и на что горазд: а то Врангель уже загостился в Таврии! — громко говорил Миронов с седла, сдерживая молодого, ретивого, но плохо выезженного дончака. — Кроме желания побеждать, нужно еще умение, братцы мои, и — отличное умение, чтобы раз и навсегда рассчитаться с отборными офицерскими бандами барона Врангеля! Это должны понять и почувствовать все!

Вечером после показательных тренировок, где сам даже показывал наиболее трудные приемы либо смотрел, как показывает их блестящий кавалерист, маленький, удалой калмык Городовиков, он созвал к себе командиров дивизий, бригад и полков. Знакомился, обнимал некоторых, сажал к столу за самовар. Встреча была хоть и деловой, но почти что неофициальной, дружеской. Оку Городовикова обласкал, как мог, усадил рядом, по правую руку. Жил Миронов открыто, как всегда, исповедуя поговорку «Кто старое помянет — тому глаз вон!». Городовиков молчал, привыкая к не очень приятному своему положению, улавливая веселость в прищуре мироновских глаз: «Помнишь, калмык, я еще в тот раз, под станицей Аннинской, говорил, что не враг тебе...»

Оба члена РВС армии — озабоченные, хмурые политработники Макошин и Щаденко — уже сидели в переднем углу, ждали начала беседы. Миронов был для них пока что незнакомым человеком, «вещью в себе», как сказал в шутку Макошин, но беседа затягивалась. Командарм все еще встречал у двери каждого входящего, знакомился, вглядывался, оценивал, то по-дружески хвалил, то запросто, как-то по-хуторскому подковыривал шуткой за дневные упущения, промахи на манеже.

Помалу и члены РВС прониклись значением и чувством этих минут. Было тут кого уважить личным рукопожатием, приобнять на лету, ободрить шуткой старшего по званию и возрасту командира!

Вот начдив 21-й Миша Лысенко, бывший комбриг героического Донского сводного корпуса, весь израненный тремя сабельными ударами, перебинтованный, но не ушедший в лазарет, крепко еще сидящий в казачьем седле. Хотя и не опасными были раны, но потерю крови скоро ли восстановишь при нынешних харчах? То же самое и комбриг первой из его, Лысенко, дивизии — Акинфий Харютин. В чем только душа держится! Бывалый вояка, один из первых организаторов «Полка защиты прав трудового казачества» при ВЦИКе, друг Матвея Макарова, и душа у него держится в данный момент на ордене Красного Знамени, что пылает на груди свежей розеткой и глянцем эмали, да на боевой удали, смелости и наплевательстве Акинфия на всевозможные беды-несчастия до самого смертного часа. Этот понимает: взялся за гуж — не говори, что не дюж!

А вот Рожков Иван Андреич, начдив Блиновской, — и лет-то ему от силы двадцать пять, двадцать семь; но дивизию сумел взять в кулак, хотя кулачишко-то совсем небольшой, батрацко-бедняцкий... Хватку Михаила Блинова хранит в душе, умеет и на втрое сильнейшего неприятеля страху нагнать! По прибытии в таврическую степь дивизия под его командованием с налета разнесла в пух и прах целую дивизию генерала Ревишина, взяла в плен весь штаб — что тут можно сказать? Подучить бы самую малость военной науке — был бы отличный красный генерал! Главное, всегда спокойный, чуткий и ровный парень, и видно, что очень порядочный человек. Серьезное, редко улыбающееся лицо, доброжелательность в глазах. Будто говорят глаза Рожкова: «Понимаю все я, дорогой Филипп Кузьмич... Что ж, и меня было уволили в штабные чиновники, когда прямо сказал, что нельзя идти в этот прорыв, не разобравшись, очертя голову. Заменили матросом Дыбенкой. Но и матрос не выручил их в лихой час, пропал 2-й сводный по-глупому... Теперь вот заново будем силы собирать. Но ничего, в бою не подведем, можете положиться!»

После уж Миронов услышит его слова в деле, в рубке и не однажды похвалит, обнимет и расцелует по-отцовски! А вот и его, Рожкова, первый комбриг Никифор Медведев, бывший комполка 5-го Заамурского, снискавший добрую славу на красном Дону. Многие помнят. Этот постарше, лет ему за тридцать, и на широкие плечи его тоже можно положиться. Командира 16-й кавалерийской дивизии первый раз видел Миронов и ничего определенного о Семене Волынском пока сказать не мог, но знал, что эта дивизия на Кубани неплохо воевала, костяк для начала есть... А вот и командиры полков: Дедаев, Лесников, Ракитин — молодец к молодцу, все с орденами, один он, командарм Миронов, пока без ордена. Ну, не беда, орден — дело наживное...

Хотел уже начать разговор, уже и горячий чай разлили по стаканам, как вдруг появился адъютант и козырнул: к вам еще человек из центра, товарищ командующий!

Политработники первыми поднялись в углу, а Миронов как стоял посреди комнаты, так и остался стоять, разведя руками. Потому что в комнату вошел не кто иной, как Дмитрий Полуян — бывший начполитотдела 9-й армии, он же — судья в Балашове, а теперь уже и председатель Казачьего отдела ВЦИК! Примечательный человек эпохи революции...

— Здравствуйте, товарищи, — сказал Полуян, протянув руку Миронову... — Получил назначение... к вам.

— Очень хорошо, просим к нашему шалашу, Дмитрий Васильевич! — не растерялся и тут Миронов. И даже внутренне усмехнулся: всех сводят до кучи — и бывшего мятежника Миронова, и его бывших конников, и пленившего его Городовикова, и даже судью немилосердного...

Дмитрий Полуян, как всегда с иголочки одетый и чисто выбритый, козырнул и протянул конверт с предписанием:

— Спецприказом... Председателя Реввоенсовета Республики во 2-ю Конную... в качестве члена РВС, — сказал он, окидывая быстрым взглядом присутствующих. Миронов меж тем пробежал глазами направление — подпись Троцкого он знал преотлично! — и передал Макошину, как старшему из политработников.

— Садитесь к столу, Дмитрий Васильевич... — Миронов вдруг несдержанно засмеялся, молодо и весело, и сказал с каким-то плутовским восхищением: — В какой уж раз... не перестаю удивляться этой прозорливости товарищей из РВС Республики и самого товарища Троцкого! Езжай, Миронов, бей Врангеля, но... будь все-таки благоразумным, не нарушай дисциплину, не действуй без приказа — вот тебе и узелок на память! Два узелка! Ну что ж, друзья, будем работать, и дело и время у нас общие, не будем их терять. Вы-то как, Дмитрий Васильевич? Ничего?

— Хорошо доехал, спасибо, — уклончиво сказал Полуян. — Между прочим, в Реввоенсовете фронта решили послать товарища Щаденко на Дон в качестве уполномоченного по мобилизации и приему добровольцев для нашей армии. Как стало известно, там нынче объявилось много желающих... — глянул пронзительно в сторону Щаденко и Макошина. — Даже белобилетники, которые не подлежат службе, и те. Это и понятно: мироновцы на Дону только и ждали вашего появления на фронте, Филипп Кузьмич... Но ведь надо брать только годных, бои предстоят тяжелые.

— Если Миронова на Дону все еще помнят, то и Щаденко, конечно, не забыли! — постарался командарм сгладить неловкость в отношении Ефима Щаденко, которому прислали в замену Полуяна. — Верно? За этот месяц, что на отдых и переформировку нам выделил штаб фронта, успеем их, желающих, сюда перебросить?

Щаденко не ответил, задумчиво и с каким-то настойчивым выражением, протяжно посмотрел в глаза Миронова. «Опять нас разгоняют по углам? Нет чтобы собрать вместе тех, кто хорошо знает друг друга, помнит с семнадцатого! Дорошева бы сюда, а не Полуяна!»

Сказал после длительной паузы:

— Если собирать в Каменской, то успеем. Из Ростова — дальше.

— Ну, хорошо, — сказал Миронов. — Тогда поговорим о делах. Об отдыхе, учениях и о... Махно.

5

С прошлой осени, почти целый год, Александр Серафимович безуспешно разыскивал сына по Южному фронту: Анатолий фактически пропал без вести, кочуя по каким-то путаным предписаниям из части в часть. В записной книжке отца, столь же путаные и бестолковые, роились ничего не проясняющие записи: «3 августа утвержден политкомом бригады в 3-й кавдивизии... 11 сентября отозван распор. политотдела 1-й Конной... 10.XII ушел из 10-й армии...» Куда ушел? Почему? Как это ушел комиссар бригады? Сердце тревожно замерло, когда в списке частей, в которых побывал сын, обнаружился и штаб 2-го сводного корпуса, политотдел, в котором совсем недавно не углядели за комиссаром корпуса Микеладзе, и он был найден в какой-то балке, за Манычем, зарубленным. Был ли здесь политком Попов? Никто не мог ничего путного сказать, заведующий политотделом Ананьин тоже куда-то перевелся, пропал с глаз.

Запись в журнале боевых действий 1-й Конной по пути на Польский фронт: в схватке с Махно зарублен Попов... Какой Попов, при каких обстоятельствах? Боже ты мой, но ведь комиссар бригады — не иголка, как же вы, товарищи? Ах, не тот Попов?

Чья-то рука намеренно путала карты, заводила в лабиринт, заметала следы. Какие-то непроверенные сведения: заболел будто бы политком Попов тифом еще раньше этого рейда, схваток с Махно, отправлен на излечение в город Козлов, к самому Ходоровскому. Там-то и потерялись следы. По-видимому, умер в тифозном бараке, похоронен в братской могиле...

А сердце отцовское не хотело мириться, ездил из части в часть, как военный корреспондент «Правды», наводил справки. За это время Южный фронт стал Кавказским, затем Юго-Восточным и вот снова Южным...

В мае сидел как-то в редакции, правил какой-то материал, и тут в комнату зашел молодой кремлевский курсант в длинной кавалерийской шинели: «Вы — товарищ Серафимович? Пожалуйста, вам письмо. Расписки не надо...»

Писал Ленин.

«Дорогой товарищ!

Сестра только что передала мне о страшном несчастье, которое на Вас обрушилось. Позвольте мне крепко, крепко пожать Вам руку и пожелать бодрости и твердости духа. Я крайне сожалею, что мне не удалось осуществить свое желание почаще видаться и поближе познакомиться с Вами. Но Ваши произведения и рассказы сестры внушили мне глубокую симпатию к Вам, и мне очень хочется сказать Вам, как нужна рабочим и всем нам Ваша работа и как необходима для Вас твердость теперь, чтобы перебороть тяжелое настроение и заставить себя вернуться к работе. Простите, что пишу наскоро. Еще раз крепко, крепко жму руку.

Ваш *Ленин* [1].

Конечно, следовало именно перебороть, как можно больше работать, быть в человеческой гуще, чтобы вовсе не растрескалось здоровье, не подавила тоска. Но он еще не примирился с потерей сына, желание найти какие-то следы, хотя бы подробности гибели, могилу, гоняло его по местам недавних боев.

В начале августа был в Пятигорске, на чеченском съезде, сидел в президиуме с Дмитрием Фурмановым, совсем еще молодым комиссаром и репортером, жаловался на непорядки в учете политкадров, просил навести справки по всему Кавказскому фронту, по линии политотдела. А через две недели уже тянулся в спецвагоне РВС на Украину: из Харькова сообщили, что передвижная труппа здесь готовит постановку его ре-

---

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 51, с. 198—199.

волюционной пьесы «Марьяна». Сведения из Харькова были как нельзя кстати: с одной стороны, важна была сама по себе постановка (московские режиссеры и некоторые актеры отказывались ставить эту пьесу-агитку, как они ее называли), с другой — опять-таки была возможность поспрашивать о сыне.

3 сентября 1920 года — премьера «Марьяны» на Южном фронте. Сидел в первом ряду, получил хороший отзыв от самого Гусева, члена РВС. Человек из старой интеллигентной семьи, ростовчанин, кривить душой не стал бы. Посоветовал заняться особо «темой Махно», весьма и весьма горячей, актуальной в данное время. Махно этот — тип: ни дня не был, так сказать, белогвардейцем; числился даже красным командиром, но постоянно сидит в крестьянской, эсеровской оппозиции, а наставники у него черт знает откуда... Эсеры, анархисты, всякая дрянь!

— Поезжайте к Миронову во 2-ю Конную, там сейчас основной театр действий против Махно, — сказал Гусев в антракте.

— К какому Миронову? — с горячностью спросил Серафимович, еще не веря, что назван не какой-то однофамилец, а именно тот, тот Миронов. — Он здесь?

— Да. Недавно приехал из Ростова, принял командование в нашей Конармии, — сказал Гусев. — Штаб в Апостолово, поезжайте.

К Днепру выезжала на днях труппа Харьковского агитпропа, везли пьесу «Марат» Шиллера и свежую пьесу «Марьяна».

Узловую станцию Синельниково проехали ночью, а утром, выйдя за кипятком на щербатый перрон в Славгороде, вдруг увидел при ярком солнце многокрасочный плакат, наклеенный на стенку их вагона. Под красным флагом летит черноусый всадник с занесенной шашкой над удирающим худосочным Врангелем в белой черкеске и бурке с черным, вороньим крылом. Поверху голенастыми литерами надпись: «ЕДЕТ МИРОНОВ — БИТЬ БАРОНОВ!» Черты лица в профиль схвачены верно, он — Филипп Кузьмич! «Когда, интересно, наклеили? — подумал Серафимович. — Неужели с самого Харькова еду под этим лозунгом и — не догадываюсь?..» Побежал в политотдельский вагон, в котором ехали новые сотрудники к Миронову, попросил десяток таких плакатов для себя лично, на случай встречи с земляками-конармейцами.

— У нас их целая кипа, пудов пять, не меньше, — сказал маленький, кудряво взъерошенный человек в очках. — Пожалуйста, мы не жадные!

Серафимович пригляделся — человек был явно знакомый, виделись с ним, кажется, под Бутурлиновкой, в штабе Хвесина. Загорелась слабая надежда в душе: разузнать что-нибудь о сыне. Схватил молодого политотдельца за руку:

— Послушайте, ведь мы, кажется, знакомы? Вы — Аврам... м-м... забыл только фамилию, простите! Помните, под Бутурлиновкой, в прошлом году, я тогда приезжал в экспедиционный корпус! Да, вспомнил! Ваша фамилия — Гуманист?

— Помню вас, — сказал маленький, всклокоченный человек со смуглыми пальцами наборщика. — Действительно, встречались мы на совещании у Розалии Самойловны, и ваш сын тоже... Кстати, где он теперь?

— В том-то и дело... — развел руками Серафимович.— В том-то и дело, что с расформированием корпуса он как-то исчез, непонятно, знаете, пропал из виду и, кажется, навсегда! Розалия Самойловна, она так его любила, помогала всегда в работе, считала своим воспитанником, но даже она ничего не может о нем сказать! Все так осложнилось во время мамонтовского рейда, — свесил голову Серафимович. — А вы как?

— Тоже было всякое, — сказал Гуманист, махнув рукой. — Откомандировали сначала в группу товарища Пархоменко на разгром мятежа Григорьева. Ну, помните, летом прошлого года? А тут этот подлый Махно! Он же был «красным комбригом», а потом расстрелял всех наших!.. Едва спасся, знаете...

Беседу их наблюдала из угла вагона статная, подбористая женщина в легкой кожанке и короткой юбочке защитного цвета, с подрезанными черными волосами. Щеки ее постоянно цвели нездоровым, горячечным румянцем чахотки; в глазах — немое, самопожирающее пылание. Подошла к Серафимовичу, подала сухую, горячую руку, назвалась Стариковой, москвичкой, работавшей ранее в Царицыне, а теперь назначенной в инструкторский отдел Реввоенсовета 2-й Конной. И насмешливо кивнула в сторону своего незавидного по наружности спутника:

— Вы, товарищ Серафимович, напрасно интересуетесь у Аврама о его прошлом! Он с перепугу все перезабыл, даже не знает путем, как ему удалось выпутаться из лап Махно и одесского жулика Мишки Левчика, когда они всех коммунистов в штабе постреляли! Тут запутанная история, товарищ писатель. Вам бы ею и заняться, хорошая книжка могла б получиться!

Серафимович поежился от свирепого вида молодой женщины, определил мельком, что Гуманисту очень обидными показались ее слова, но Аврам лишь подавленно вздохнул и просяще оглянулся в ее сторону:

— Ну к чему вы все это говорите, товарищ Старикова? Я же давал подробные сведения самому Гусеву о штабе Махно... Просто не понимаю такого вашего пристрастия, Тая.

— Да вот и я тоже не понимаю кое-чего, — мстительно сказала Старикова, и Серафимовичу показалось, что женщина при этих словах даже скрипнула зубами.

— Да, такие вот наши дела, — вздохнул Серафимович, чтобы загасить назревающую размолвку меж молодыми людьми. — А я думал, что какие-то следы все же найду либо на Дону, либо здесь, на недавнем пути 1-й Конной... Но, как видно, напрасны мои надежды.

— Точно знаю лишь одно, — сказал Гуманист. — Что из корпуса его перевели в 6-ю дивизию. Потом, слышно, вызывали в Козлов, в политотдел фронта, но это из частных разговоров. А вообще я бы тоже хотел с ним встретиться...

Он услужливо отобрал десяток плакатов с броской шапкой «Едет Миронов — бить баронов!», скатал в трубочку и передал Серафимовичу. Даже проводил к

выходу и в тамбуре, придержав за руку, сообщил, как заговорщик:

— А этой Стариковой... особо-то не доверяйте, она с завихрением, знаете ли! Дочурка у нее в Москве, у чужих людей, вот она и срывается иногда... К тому же и болезнь. Туберкулез, говорят, открытая форма.

Помог Серафимовичу сойти на высокой подножке, уважая возраст заезжего писателя и корреспондента центральной газеты.

«Никаких следов... — снова подумал Серафимович о сыне, пропавшем, как видно, навсегда. — Странно, очень странно все это, и тем не менее ничего не поделаешь — война, неразбериха...»

В Александровске вся группа агитпропа задерживалась на три дня: давали спектакли для красноармейцев 13-й армии. Серафимович не вытерпел, на вторые сутки уехал дальше, на Никополь и Апостолово.

Миронов обрадовался приезду старого друга и покровителя, был весел необычайно, и Серафимович не без тревоги заметил какой-то нездоровый горячечный блеск в его запавших глазах. «Тоже стареет казачок, переутомлен жизнью... — подумалось. — А ведь какой кремень был, сколько силушки в жилушках таил в молодые года!.. Ах, Филипп Кузьмич, милый ты мой! Ну вот, даже и слезы навернулись на глаза — это уж никуда!»

— Какими судьбами?! — кричал Миронов и обнимал, тискал станичника.

— А вот видишь, Филипп Кузьмич: дела, командировки, и вдруг вижу: плакат на моем вагоне! «Едет Миронов — бить баронов!» Ну, ты посмотри! Увидал, дай, думаю, завезу самолично! — Серафимович отчего-то перенял эту запальчивую, несколько наигранную веселость от земляка, искал в ней спасения от недавней глухой тоски, все еще дававшей себя знать. — Посмотри, как нарисовали! И, говорят, по всей России такие плакаты нынче, по всем воинским маршрутам!

Плакаты развернули, раздали кому следует в штабе. Миронов усмехался, рассматривая шаржированные фигурки скачущих всадников:

— Ничего, похож как будто, но почему в черной папахе и бурке? Традиционно-закоснелые понятия у этих художников-горожан! Папаха у меня белая, полковничья. А Врангель, наверное, точнее схвачен, с фотографии. Так какими же судьбами, Александр Серафимович?

— Да пустой вопрос, Филипп! Был в Харькове, там мою пьесу в местном пролеткульте играли, там и узнал о твоем назначении, обрадовался. Ты не представляешь даже, как обрадовался! И вот, неделя не прошла, а я уже тут! Скоро этот театр и к тебе заявится, они в Александровске остановились дня на три...

— Ну, хорошо! И пьесы ваши посмотрим, и поговорим, но после, Александр Серафимович. У меня тут со временем просто беда... Поедем-ка сейчас во 2-ю дивизию, поговорим с казаками, там рады будут и заодно дело сделаем!

— Почему именно во 2-ю? — усмехнулся Серафимович.

— Потому что она — Блиновская, с Хопра и Медведицы.

— Замкнулся круг? Я так и предполагал... Весь круг гражданской войны! Надо бы на этой точке и кончать всю эту ужасную войну, а?

И только тут Миронов заметил крайнюю усталость и подавленность во взгляде пожилого земляка-писателя, пожалел мысленно. Но не стал допытываться, расспрашивать о причинах такого самочувствия: другим был занят Миронов, надо было ему за текущие недели скомплектовать и обучить боевому ремеслу целую армию — легко ли?

Во 2-й Блиновской нынче должны произойти решающие события в отношениях с Махно. С тем самым Нестором Махно, который терроризировал округу, и в последнее время тылам всего Юго-Восточного (а теперь уже Южного) фронта никакого покоя не было. И бороться с ним Миронов начал не только военными средствами, атаками на «партизан» Гуляйполя, а тесной дружбой красноармейцев с окрестными крестьянами-землеробами, помощью им. Впрочем, под защитой винтовки, конечно. Именно эти новшества свои и хотел показать сугубо мирному земляку.

— В седле сможете? — спросил Миронов.

Серафимович давно уже не прикасался к стремени и уздечке, погладил вислые усы и кивнул согласно:

— Тряхну, пожалуй, стариной... Здесь ведь недалеко?

Когда приехали в сельцо, занятое дивизией, Серафимовича поразила мирная тишина и пустота кругом, казалось, что даже дивизионный штаб выехал в воскресный день на пикник, не охранялся, а в длинном сарае-клуне мирно жевали сенцо штабные кони.

— Тихо? — сказал Серафимович, привставая в стременах и чувствуя, что немного разбился на тряской рыси. — И войны нет?

Миронов посмеивался, глядя на него, объяснял обстановку с дотошным старанием. Сейчас много работы у «незаможних селян», как тут называют мужиков; кое-где и кукуруза еще не убрана, картошку надо копать, неплохо и кизяки поделать во дворах вдов-солдаток, а то и дрова-хмыз привезти на обозных одрах из ближней лесной дачи. Всем этим и занимается нынче дивизия...

— А Махно? Как он на это смотрит? — спросил догадливый Серафимович. — Это ведь почву из-под него рвет?

— Для Махно это, конечно, нож вострый. Вот он и должен нынче налететь на сельцо, разгромить нас, у него раньше это все получалось как по-писаному...

— Откуда известно, что н а л е т и т?

— С окрестных хуторов, — засмеялся Миронов. — От селян! Притом, там уже и наши люди есть.

— То есть... Вы сколько же здесь работаете?

— Да уж целую неделю! — вновь усмехнулся Миронов. — Пора и войти в местные условия! У меня в армии довольно и украинцев, и хохлов с Кубани, мы их в первую очередь направляем в села, верст на двадцать по окрестности, а то и больше. Без разведки, Александр Серафимович, дорогой мой, шагу ступить нельзя: не только бой проиграть можно, но и свои

единственные брюки потерять. С лампасами! — довольно огладил усы Миронов.

— Засада с винтовками, значит, где-то сидит? — повеселел Серафимович.

— Само собой... Даже с пулеметами и орудиями.

Выехали к самой окраине села, скотиньему выгону. Тут над пересыхающей речушкой с гнилой осочкой по берегу красноармейцы, голые по пояс, заново ладили бревенчатый мосток — перевоз для крестьянских нужд, разломанный, видно, еще с начала германской. Кое-кто сидел в мутной глубокой заводи по шею, лазил руками под корягами в поисках рака. В глубокой тени, под обломанными широкими ветлами, четверо бойцов отдыхали за картами, играли в подкидного. Увидев подъехавших всадников с конвоем, на отдалении исчезли под мостом, будто их и не было.

— Идиллия, — сказал Миронов. — В другое время всыпать бы за всю эту идиллию, но сейчас — не возражаю, пускай отдохнут люди перед боями... — и, поднявшись в стременах, смотрел вдаль, через ближайшие огородные прясла и низкорослые вишневые садочки по окраине. — Ну вот, совершенно точно, по диспозиции... Не хотите ли бинокль?

Серафимовичу бинокль не требовался, он уже простым, дальнозорким от возраста глазом видел расстилавшуюся по горизонту пылевую тучу, и его слуха достигали уже отдаленные крики и вопли набега.

— Идут?.. — тихо, напряженно спросил Серафимович.

— Идут, — кивнул Миронов и опустил бинокль на грудь. — Идут лавой, как и положено. Немного в азарте, немного под самогонкой, будут сейчас брать нас в охват. И, конечно, на испуг.

— А мы? —несколько поежился от этого спокойствия писатель.

— Надо посмотреть, как оно у них получится. Должно выйти, как по-писаному, — упорно не хотел принимать чужой атаки всерьез Миронов.

С высокого обрыва над речкой, где стояли они, хорошо просматривалась вся луговая низина, раскинувшаяся версты на полторы до ближнего взгорья. И вдали, на степном изволоке, уже показались всадники в серых рубахах и посконных свитках, расстилавшиеся в бешеном намете. Поблескивали в тусклом осеннем воздухе крошечными просверками махновские шашки... Лава шла широко, раскидисто, едва ли не на версту по фронту, и у непривычного человека от страха, конечно, холодела кожа головы, стыли корни волос, и тогда, казалось, волосы шевелятся сами по себе либо встают дыбом. «Черт знает что такое!» — подумал мельком Серафимович, оглядываясь на мирные дворы, распахнутые двери штаба и пустую коновязь около...

— Скоро, что ль? Наши-то? — спросил он.

— Ночью, пока все спали, мы в тех вон садочках пулеметы поставили в секрет — на каждые десять сажен по «максиму». Думаю, что ни один конник не проскочит. А проскочит, тогда...

Пулеметы прервали слова командарма. Застрочило будто сухой палкой по штакетному забору. В ближнем саду грохнуло прямой наводкой оружие, трехдюймовка со шрапнельным зарядом. В полуверсте по фронту огрызнулось другое и еще подальше — третье. Целая батарея ждала в садах этой пьяной атаки.

Миронов снова поднял бинокль.

За гривой садов уже не видно стало передних всадников, но Серафимович по задним видел, что урон там страшный. Кинжальный огонь пристрелянных пулеметов выкашивал чужую лаву начисто. Задние всадники на бешеном скаку вздымали коней на дыбы, разворачивали вспять. Раздерганная, как огромная копна сена под ветром, лава повернула в сторону, растянулась вверх по изволоку. Но на пути ее уже поднималось новое пылевое облако — там заходила с фланга красная конная бригада, изготовленная к рубке...

— Вот сейчас Никифор Медведев завернет их опять сюда, к нам, — не скрывая торжества и веря в беспроигрышный исход всей этой мелкой в общем-то операции, усмехнулся Миронов.

Слева по фронту тоже запылило. Серафимович вопросительно кивнул в ту сторону.

— А-а, это полк Лесникова поджимает с другой стороны, чтоб далеко не ушли, — сказал Миронов.

Вразброс цвели по горизонту красные флажки на пиках, охватывали махновскую лаву в полукруг, потом замкнули вовсе и стали закручиваться огромной воронкой, сокращая площадь окружения. Это был психический, смертельный водоворот, от которого Серафимович содрогнулся. И махновцы, которых оставалось уже не так много, прекратили сопротивление, поднимали руки.

На мосту глазели безоружные бойцы, недавно строившие мост. Кивали друг другу, с восторгом глядя на приближавшуюся конную массу, в окружении которой шла полусотня пленных.

— Вот и все, Александр Серафимович! — сказал Миронов с оттенком похвальбы, гордости. — Вот и все! На огородах у селян наши обозники работают, а у конников — приватные учения, так сказать. Привыкают. Ну, а противник, хотя и смелый, но совершенно глупый, с Врангелем не сравнить.

Подлетел на бешеном галопе комбриг-1 Медведев. Распален как черт, гимнастерка на груди прилипла от пота, вся в темных подпалинах. Ремни крест-накрест, вдоль стремени отливает алым опущенная шашка. Отсалютовал командарму:

— Все, товарищ командующий!

— Спасибо, Никифор Васильевич, — сказал Миронов. — Видел лично: все построения выполнили исправно и даже с блеском. Ведите бойцов к штабу и — митинг! Самых куркулей и командиров бандитских судить будем, а рядовую сошку надо потом отпустить. Поработает с ними политотдел и пускай катятся по своим хатам, галушки йисты!..

— Слушаюсь!

Серафимович залюбовался выправкой комбрига. Черт возьми, ну что за трехжильное племя! И откуда у них силы берутся!

— Заамурец, герой, каких мало, — сказал Миронов и погрустнел глазами.

После митинга зашли в политотдел дивизии, поговорить за самоваром. И тут из боковой комна-

тушки выбежала неузнаваемо исхудавшая, простоволосая, с коротко стриженной прической Павлина Блинова, с плачем кинулась на шею Миронову. Она в первый раз увидала его после той вешней разлуки в марте прошлого года. И очень многое произошло с тех пор, но самое страшное — смерть Михаила, мужа ее, в неравном бою под Бутурлиновкой...

— Родимый ты наш, Филипп Кузь-ми-ич!.. — закричала Павлина по-мертвому, стиснув Миронова за шею крепкими руками и обвиснув на нем. — Да что же это сделали-то с нами проклятые нелюди-то, куды же это завели-то народ наш доверчивый, Мишу мово, ненаглядного, ведь к смерти прямо... подвели! По умыслу черному, все так и говорят, по умыслу!..

Вот так раз! Уж этого-то Серафимович никак не ожидал. Командир кавгруппы Блинов погиб героем, о промахах высшего командования знали и могли судить немногие, а тут вот прямо женский вопль «про умысел и волю вражескую...».

— И вас-то я в первый раз... Слыхала: приехал опять Миронов командовать, а где ж там увидеть!.. — Павлина не выпускала Миронова, каталась головой на его груди, обмирала вся от какой-то истерики, давнего своего бабьего горя. Лицо было мокрое, но не краснело, а как-то осунулось и подурнело.

Он, напружинясь, расцепил ее руки, усадил на диванчик с гнутыми ножками, велел вытереть слезы. Поругал для вида:

— Нельзя так, Паша... Война! Кто виноват, как все получилось — после судить будем. Теперь надо в комок душу взять, выходить из этой общей беды с победой, ну? Мишу Блинова ни мы, ни народ революционный не забудут, вон и дивизия Блиновская есть, и останется она в советских войсках до скончания веку, а ты...

Сам Миронов отвернулся и в волнении вытер глаза носовым платком.

— Встретились, что называется...

Павлина, потупясь, дрожа, хлюпала в конец белого платочка, кинутого второпях на плечи, и только сейчас увидела рядом с Мироновым этого незнакомого старика в городской панамке. А старик сел с ней рядом и загудел в усы, тронув за руку:

— Собрались живые, а слез-то море немереное, родимая моя землячка! — говорил он. — Я вот тоже целый год только что не плачу навзрыд. Слезы у самого горла стоят, наружу просятся. Сына потерял. Старшего!

Павлина успела осушить лицо, вздохнула при этих словах с непомерной глубиной, будто из воды вынырнула, и пришла в себя.

— Сы-на?!

— Девятнадцати лет, милая моя Паша... Был тоже комиссаром, да вот нету, и концов не найду. Даже на могилку не съездишь, пропал без вести. Не в бою, а в тифу, говорят, сгинул без всякого догляда и внимания. И мне тоже обида всю душу иссушила за этот год... — старик свесил голову, лохматые брови принависли над влажно мерцавшими глазами.

Миронов слушал этот рассказ Серафимовича уже второй раз, знал, что последнее письмо Анатолия отцу было из 6-й дивизии корпуса Буденного, писал он, что хорошо воюет. А в начале сентября откомандировали его в распоряжение политотдела сводного Донского, а потом в политотдел фронта, к Ходоровскому, и больше — ни писем, ни известий, только потом уж, вроде, откопали в каких-то тифозных списках. Но и эти сведения весьма приблизительные, никто этих списков ему не показывал...

Насторожило вдруг Миронова время, самый момент откомандирования политкома Попова из 6-й дивизии.

— Говорите, в сентябре это было? — переспросил он.

— В первых числах, — кивнул Серафимович.

— Опять все сводится в одну, больную точку, как видим... — неуверенно произнес Миронов. — Ведь в это время 6-я дивизия вместе с 4-й выдвигались на пути моего саранского воинства... Ну? Вот и не хотели, видно, оставить Попова в политсоставе, как сочувствующего «мироновцам». Такая печальная деталь прибавляется ко всей прошлой истории. Ведь Анатолий прекрасно понимал тогда и обстановку... и все окружающее... Очень бы мне хотелось, Александр Серафимович, ошибиться насчет этого совпадения, но...

Адъютант Миронова Соколов внес в полусумрак комнаты зажженную лампу, поставил на стол и вышел, заметив, как все замолкли при его появлении. Лампа вкрадчиво потрескивала фитилем, потолок за жестяным абажуром будто исчез и поднялся зыбким пятном. И хотя одна створка окна была распахнута в осенний, дымно-пахнущий палисадник, все же казалось, что в комнатушке нечем дышать.

— Так вот, — сказал писатель, пожав сверху ладонь притихшей Павлины.

Она немо кивнула в ответ, а Филипп Кузьмич открыл дверь в переднюю и крикнул чрезмерно громко, пересиливая спазм гортани:

— Соколов, скажи пожалуйста, нет ли у нас в тачанке... водки или хотя бы спирта?

Странная просьба до того ошеломила адъютанта, что он вышел в комнату и замер у порога в странной позе с разведенными руками:

— Что вы, Филипп Кузьмич, сроду с собой не возили. От вас же — наказ такой был!

— Ладно, Соколов... Отдыхай. Иди. Извини, брат...

После чая Павлина убрала посуду и, снова посморкавшись в платок, ушла. Знала, что у мужчин по-нынешнему много всяких дел и забот. Но мужчины на этот раз не тревожили текущих дел, сидели у стола, тихо переговаривались. Разговор был серьезный, с большими паузами, так что нелегко прослеживалось глубинное течение мысли. Серафимович все еще выкладывал свои сомнения и все свое душевное неустройство:

— Сказал я как-то Марии Ильиничне обо всем, она в редакции, пожалуй, самая душевная, нет на ней налета «официальной строгости», ну и прочего... Вдумчивая и — все понимает! Она, кстати, весной прошлого года меня от Троцкого спасла! Да. Ну, так,

понимаешь, через некоторое время получаю сочувственное письмо от самого Владимира Ильича... Сочувствие большое, товарищеское, и даже как бы сознание общей вины: вот, мол, не сумели уберечь, недоглядели. А где ж тут, в этих условиях, уберечь, доглядеть, когда... Ведь вражьи руки почти на глазах, почти открыто действуют, не стесняясь...

Миронов сидел, опираясь на стол, низко склонив голову. Когда-то жесткий и высокий чуб его поредел, расслабленно свисал над хмурой бровью. Говорил, иногда потирая пальцами усталые, приспущенные веки глаз:

— Признаться, Александр Серафимович, я только теперь, с августа прошлого года, проснулся в этой жизни, огляделся, многое понял... Бывало, в прошлые дни, удивляюсь — едва ли не каждодневно: да откуда же столько зла-то? Зла — в жизни! Люди-то, бывало, такими не были — в массе, я хочу сказать. Так где же оно копилось, в каких темных углах произрастало? Почему не показывалось раньше, как я мог упустить из виду, что и этак вот в жизни может случиться, именно этак, а не иначе? Ну, понимаешь, сам-то я ведь не ожесточился даже и теперь, после тяжкого потрясения, почему же другие-то... с самого начала были взвинчены? Почему я, к примеру, сознаю, что мое счастье и мое будущее рассеяно в общей доле, в благополучии всех, даже далеких от меня людей, человеков... а другим — невдомек? Почему?

— Это ты хорошо сказал, Филипп Кузьмич, р а с с е я н н о, — кивнул писатель. — Именно. И вот когда поймут, то и наступит, как говорят, новая заря. А до тех пор...

— Нет, нет, дослушай мысль до конца! — прервал Миронов. — Не о том я. Так считать, что «я» вроде бы лучше других, это ведь попросту дикий бред и — грех, прежде всего... Да! И наконец-то прозрел: люди просто оказались прозорливее меня, они всю эту музыку, весь этот подмен идей и словес другим, подоплечным содержанием Троцкого и компании, д о м е н я увидели и поняли! И вот думаю теперь: а за что же, собственно, я себя умным человеком считал, а? Что же я такое в самом-то деле? Легковерный романтик при седой бороде? А?

Было тут несомненное душевное терзание человека, и Серафимович хорошо понимал, о чем речь. Он и сам иногда терзался тем же и успокаивал душу трезвым размышлением: недостатки человеческие суть продолжение их достоинств, каждый судит о мироздании «в меру своей испорченности».

— Не казнись, Филипп Кузьмич, — мягко усмехался Серафимович в седеющие, колючие усы. — Здесь слишком уж крутой перепад событий, трудно было бы все схватить сразу. От революции ждали — и мы с тобой в том числе — немедленного исполнения надежд, высшей справедливости! Не только земли — крестьянам, но именно духовного раскрепощения. Аудитории университетов, рекреационные залы кадетских корпусов оглашались — если не возгласом «Долой царя!», то воплем «Долой насилие!». Слева кричали: «Долой монархию!», «К позорному столбу правящую династию!» — и справа откликались: «Свободу разуму и свету!» Умилительное единство тех и других, не правда ли? А ведь цели и задачи у тех и других были совершенно разные!

— О том и думаю теперь, — сказал Миронов убежденно. — Думаю, что надо скорее кончать эту войну. Слишком затянулась она, всему нашему народу на погибель! Мало, что враги вершат свое дело, но беда еще и та, что в этой кровавой круговерти и шумихе человек человека не докричится, а это опасно вдвойне! В мирном обиходе оно все виднее станет, определеннее! И Ковалева, покойника, часто вспоминаю: надо Ильича поддержать, а то вновь могут завертеть дело, как на брестском вопросе...

Проговорили допоздна, и чуть свет пришлось скакать обратно, в штаб армии. Во 2-ю Конную приехал председатель ЦИК Украины Григорий Иванович Петровский.

...После спектакля в бывшей школе (Харьковский пролеткульт поставил «Разбойников» Шиллера) Григорий Иванович выступал перед бойцами. Бывший думский депутат, политкаторжанин и опытный пропагандист Петровский умел увлечь красноармейцев не митинговыми звучными, но уже прискучившими словесными оборотами, а брал за живое самой болью и надеждой нынешнего дня. Политработники армии Макошин и Полуян слушали Петровского с той же самозабвенностью, как и рядовые бойцы, потому что говорил честный, думающий человек, знающий жизнь и все ее нужды.

Скамьи и стол для президиума вынесли из помещения в сад, бойцы расселись прямо на траве, сбились то плотными кучками, то просторно, в темноте не было лиц, только помигивали огоньки самокруток. И лишь над столом утлые огоньки ламп освещали напряженные, хмурые лбы тех, кто сидел в президиуме.

— У вас тут трудно, товарищи, большие потери, страдания, головы свои кладете, это все так! — говорил Петровский ровным голосом, без надрыва. — Но послушайте, что там в тылу, у рабочих, которые рвутся из сил, чтобы дать вам сюда оружие, снаряды, амуницию... День и ночь без хлеба работают они, чахнут в нужде, в холоде, в лишениях до того, что иногда прямо у станка падают от слабости. На Брянском заводе, при наступлении Деникина, рабочие — голодные, без пайков, не отрывались от станков и машин, действительно падали от голодных обмороков! Их выносили на носилках, и случалось, что умирали после в амбулатории. Зато к вам шли отремонтированные бронепоезда, громили Деникина, облегчали вашу задачу. Вот такая нынче жизнь в тылу, и рабочие ждут, что скоро вы прикончите с врагами революции и трудового народа, вернетесь к труду и общими силами начнем душить голод и разруху! Так что же, товарищи, им сказать от вас — сломите вы хребет Врангелю?

На земле уже никто не сидел, не лежал, цигарки угасли, их втаптывали в землю.

Реванули так, что поздние листья на яблонях затрепетали и отдалось эхо у церкви и ближнего лесочка, за селом:

— Сло-о-омим! Пора кончать эту беду, товарищ! Передайте там нашим! Мы тоже тут не навечно, пора и по домам!

— Там, в России, жены, матери, дети, сестры и братья ждут! — в лад выкрикам сказал Петровский, и все заметили, как сорвался и сел от волнения его басовитый голос. — Исстрадалась голодная, холодная Россия на пороге величайшего счастья новой жизни...

Белый носовой платок отчетливо мелькнул в руках председателя Всеукраинского ЦИК, а потом он снял очки, и все увидели, что глаза у него мокрые.

Кто-то крякнул в темноте, сдерживая боль души, кто-то шепотом заматерился. Серафимович отошел за дерево, растроганно сморкался. Во тьме рявкнул надтреснутый волнением, угрюмый бас:

— Там ишо якысь Фунт Стерлингаф прэ! О гады! Усех теперя зметем! И танки ихни, ероплани подлючьи!..

Когда проводили Григория Ивановича к отведенной квартире, распрощались до утра с Макошиным и Полуяном, Миронов и Серафимович постояли еще вдвоем у крыльца штаба, послушали тишину, глубокую ночь сентября с темным шатром неба, близкими шорохами сада, падучими звездами над украинской землей. Миронов был задумчив, с особой чуткостью вслушивался в далекие всплески у моста, как будто ждал ночного нападения махновцев. Либо ощущал просто движение вечности над головою, над поселком Апостолово, над всем этим дорогим ему, смертным и вечным миром. Но посты не поднимали тревоги, было тихо.

Сказал, положив руку на поручень крыльца:

— Теперь я поведу их... на самого дьявола, этих ребят. И они ему череп сломят, будь он хоть о семи головах!

Достал носовой платок и вытер в темноте глаза.

6

Командующим Донским корпусом своей армии барон Врангель назначил старого казачьего штабиста и сухаря-служаку генерала Абрамова. Заносчивый и своенравный Сидорин, все время настаивавший на каких-то особых условиях для донцов в русской армии, теперь не подходил. Злые языки утверждали, что решающую роль в крушении Сидорина сыграла его опрометчивая фраза в Ясиноватой, где он будто бы оговорился: «Не ему (Врангелю) быть правителем России и блюстителем престола — при его баронском титуле!» Последовавшая затем гибель князя Романовского (законного «блюстителя», пригревшегося за спиной генерала Слащева), а также выезд за границу председателя военного суда генерала Дорошевского приоткрыли завесу над закулисной стороной дела.

Как бы то ни было, в суворинской газете «Вечернее время» появился свежий приказ Врангеля, весьма удививший и расстроивший демократическую общественность Крыма:

«Пробил 12-й час нашей ожесточенной борьбы с большевиками. Нам надо направить всю свою мощь, чтобы соединенными силами готовиться к отражению вражеского удара. Между тем в штабе Донского корпуса царит политиканство. В издаваемой штабом газете «Донской вестник» сеется вражда между добровольцами и казаками, поносятся вожди Добровольческой армии и проводится мысль о соглашательстве с большевиками.

По соглашению с донским атаманом приказываю газету закрыть, предаю редактора, графа Дю-Шайла, военно-полевому суду по обвинению в государственной измене, отрешаю от должности командира корпуса ген. Сидорина, начальника штаба ген. Кельчевского и генквартирмейстера ген. Кислова. Главному военному прокурору назначить предварительное следствие для выяснения соучастников преступления, учиненного сотником Дю-Шайла...»

— В суд? — засмеялся будто бы на это генерал Сидорин. — Часть судная — самая паскудная! Часть оперативная — тоже препротивная! Лучше пойдемте, господа, в ресторан! Дело было проиграно, смею уверить, гораздо раньше!

И пошли. После ресторана, впрочем, всем им пришлось выехать из Крыма в Европу. Одновременно на место генерала Писарева, потерявшего в бою с блиновцами половину обоза, к кубанцам для поправки дел был назначен отчаянный осетин Бабиев.

Стремительный выход войск из крымской «бутылки» на простор Северной Таврии и молниеносный разгром и избиение с воздуха конной группы Жлобы (только в плен было взято четыре тысячи красноармейцев!) неизмеримо подняли авторитет Врангеля в международной прессе. Журналисты сравнивали нового русского главкома с Наполеоном, из Франции прибыла специальная группа военных спецов изучать «операцию». Одновременно с союзных дредноутов сгружались новенькие танки, пушки и быстролетные аэропланы новых марок.

Пока Донской корпус держали в резерве, не доверяя донцам по старой традиции, генерал Абрамов медленно, однако с завидным упорством сумел переформировать войска, сменить разложившихся, а коегде и заворовавшихся офицеров, вводил строгость. Уволенным разрешалось эмигрировать куда угодно: на Мальту, Принцевы острова, в Египет, на недоброй памяти остров Лемнос, приют казаков-некрасовцев, а у кого сохранились деньжонки, даже и в желанный Париж... Остатки мамонтовского корпуса свели во 2-ю Донскую дивизию под начало храброго генерала Кутепова, железной рукой укрощавшего пьянство и окаянство в штабе. В войсках совсем не осталось «химических» офицеров и «прапорщиков от сохи», как обычно называли скоропостижно произведенных в офицеры урядников и рядовых казаков времен Вешенского восстания. Донскому атаману Африкану Богаевскому, вместе со своим правительством вернувшемуся из Константинополя на английском судне «Барон Бек», тактично дали понять, что нельзя без конца отмечать подвиги своих воинов повышением в чинах. Поуменьшилось число «африканских» полковников и войсковых старшин...

Старого генерала Абрамова, формалиста и нелюдима, многие считали не только черствым в обращении, но и совершенно слепым в части догляда за штабной публикой, разного рода закулисными операциями и связями. Но это не совсем отвечало настоящим качествам генерала. Все-таки он добился относительного порядка в войсках, в курортной Евпатории, где располагался штаб корпуса, не терпел вовсе доносительства и оскорбленных самолюбий. «Господа, господа! — увещевательно, по-отцовски любил успокаивать он штабные дрязги. — Таврическая губерния, господа, не Таврический дворец! Поменьше словопрений!»

После того как на Днепре красные вновь отбили Каховку и плацдарм вокруг (из-за этого пришлось сместить генерала Слащева), Врангель собрал экстренный совет. Главком предупреждал своих генералов, что именно теперь, накануне нового большого наступления, нельзя — недопустимо! — проигрывать даже малые, текущие схватки с красными. На конец сентября Врангель назначил новое, решительное наступление на Каховский плацдарм с развитием успеха на другом фланге, в сторону Донбасса.

После военного совета генерал Абрамов попросил личной аудиенции у Врангеля.

Главнокомандующий стоял за столом в излюбленной своей черкеске с блестящими наконечниками газырей в несколько картинной позе триумфатора и вершителя судеб. Смотрел чуть в сторону, на большую карту южной Украины и Крыма, размеченную синими и красными флажками позиций. Синие флажки были покрупнее, занимали выгодные позиции и теснили красных повсеместно. Только на левом фланге досадно торчал у самого Днепра — вопреки общей гармонии и здравому смыслу — каховский значок красных. И очертания самого плацдарма напоминали очертания крепкого коренного зуба...

В душе Абрамов извинил Врангелю все: и толику позы, и надменность бледного лица, и чрезмерную натянутость приема; он понимал, что для белого движения и самой армии Врангель сделал так много, что имел право на подчеркивание своей исключительности. Кроме того, этикет и устав ведь всегда играли немалую роль в обществе, а тем более в офицерском собрании, в штабе. Так что для пользы дела следовало, вне всякого сомнения, терпеть эти картинные позы и белые черкески, к которым барон по роду службы ныне имел весьма отдаленное отношение...

— Ваше высокопревосходительство! — гулким басом сказал Абрамов, сунув большой палец правой руки за полу кителя у средней пуговицы и тем подчеркивая некоторую вольность, неподвластность солдафонской струне, исключающей самостоятельность мышления. — Не рискуя подменять главный штаб и его оперативную часть, ваше высокопревосходительство, я решил все же просить вашего приема по соображениям чисто деловым, оперативно-стратегическим...

Лицо Врангеля было бесстрастно и холодно, но умные глаза заинтересованно приблизили к себе казачьего генерала, будто в них повернули объектив, обнаружив за ними и мысль, и глубину.

— Да, да, — после некоторой паузы сказал Врангель.

— Смею обратить внимание, ваше высокопревосходительство, на одно немаловажное обстоятельство последних дней... Нынешнее совещание глубоко оценило и приняло к исполнению ваш приказ о ликвидации вражеского плацдарма у Каховки как чрезмерно опасной зацепы у основания всего будущего прорыва и наступления... Это, безусловно, глубокое предвидение, но мне бы хотелось указать еще на одну опасность, грозящую непредвиденными осложнениями. Дело в том, что за Днепром, в районе Никополя — Апостолово, в настоящий момент заново формируется ударная кавгруппа красных, именуемая 2-й Конной армией, и, главное, командующим этой группой назначен на днях бывший войсковой старшина Миронов...

Врангель согнал с лица гримасу скучающего внимания:

— А разве я еще не уничтожил этот красный сброд, только по недоразумению именуемый конармией? — спросил он.

Абрамов внутренне поежился. «Боже мой, что делает с человеком даже частный успех! Не мы, оказывается, разбили корпус Жлобы, не мы потрепали и обескровили конную Городовикова, не генералы, не солдаты и казаки, а он!.. В таком случае и поражение Слащева у Каховского зуба следовало бы принять на свой счет?..»

— Разве я не уничтожил их? — повторил Врангель уже с некоторым раздражением.

— Бесспорно, ваше высокопревосходительство, — наклоном головы Абрамов подчеркнул свое полное согласие. — Бесспорно, от этой конармии осталась жалкая, потрепанная до полной небоеспособности бригада в семьсот, может быть, восемьсот сабель, никак не больше. Но сейчас именно, с обновлением командования, группа эта стремительно растет. Не только за счет маршевых пополнений, но и за счет выздоравливающих из лазаретов, притока бывших дезертиров, так называемых «зеленых», которые идут к Миронову массой... — здесь Абрамов несколько замялся. Он должен был бы сказать, что с Дона к Миронову потянулись добровольцы, почти как весной восемнадцатого, но посчитал неудобным лишний раз компрометировать родное казачество. — Главное же заключается... — именно из-за чего я и рискнул тревожить ваше высокопревосходительство, — в новом командире Миронове. Дело в том, что этот изменник казачеству, к великому нашему сожалению, обладает незаурядными способностями именно в вождении конных масс... Что касается меня, то я еще в русско-японской знал сотника Миронова и четырежды вручал ему офицерские награды, из них одну в присутствии командующего Куропаткина. Я считаю, что в данных условиях никак нельзя позволить Миронову отмобилизовать и обучить стрóю эту массу прибывающих новобранцев, ваше высокопревосходительство! Надо упреждающим ударом покончить с группой, по-

ка она только формируется. Хотя для этого и потребуется форсировать Днепр. Иначе... — тут Абрамов снова сдержал ход своей мысли. Он мог сказать прямо: если Миронова выпустить с крупной кавалерийской группой на оперативный простор, то можно уже сейчас заказывать места на иностранные корабли, стоящие в бухте Севастополя. Но этого говорить он, конечно, не мог. — Иначе, ваше высокопревосходительство, наши операции могут быть в значительной степени ос-лож-нены. Нельзя даже предположить, насколько это серьезно, ибо Миронова никогда и ничем не удавалось еще предвосхитить: блестящий талант! Если вы помните, Петр Николаевич Краснов за вражеских начдивов обычно назначал суммы, не превышающие двадцати, тридцати тысяч николаевскими, а за голову Миронова, смею напомнить, — четыреста! Краснов, как донской атаман, хорошо знал, за что давал такую массу денег.

Врангель смотрел на карту, оценивая синюю преграду Днепра, флажки красных у Александровска, Никополя и Апостолово. Лицо передернула бледная улыбка.

— Ваш бывший сотник, Федор Федорович? — со скрытым упреком и печалью спросил он.

— К сожалению, ваше высокопревосходительство! Как сказано: не вскормивши и не вспоивши, не наживешь врага смертного. Истинно так, — Абрамов с не меньшей грустью склонил седую, стриженную под бобрик голову.

Врангель вышел из-за стола, ближе к настенной карте. Сказал, касаясь острым ногтем мизинца синей речной линии от Каховки до Никополя.

— Я благодарю вас, Федор Федорович, за уместное и своевременное освещение этих перемен в красном лагере, но... сейчас это уже не имеет большого значения. Дело в том, что я уже подписал приказ о ликвидации заднепровской группы Миронова. И отнюдь не из-за его личных качеств, как партизана и разведчика. Все диктуется соображениями высшей стратегии, походом на Москву, Федор Федорович, и, конечно, нашими отношениями с Пилсудским, переговорами поляков с Москвой... На днях получите приказ. Еще раз благодарю вас, генерал...

7

Фрунзе, молодой, бородатый крепыш, с окающим баском и пронзительными глазами, прибыл в Харьков с твердыми директивами Ленина и политбюро и уже на третий день созвал командармов на Военный совет.

Он был озабочен и хмур: давила не столько сложная фронтовая обстановка, где противник прочно удерживал инициативу, но и странная возня в РВС Республики вокруг его имени, возня, не прекращавшаяся со времен Восточного фронта. Вообще-то все эти происки, попытки скомпрометировать и оскандалить были понятны Фрунзе: товарищ Троцкий больше пекся о фракционных своих успехах, комплектовании «подводной когорты» единомышленников «на всякий случай» в будущем, чем о делах насущных, общепартийных и государственных. Особо не терпел он молодых выдвиженцев в партийных рядах, таких, как Киров, Куйбышев, Сергеев-Артем, ну и, понятно, его, Фрунзе... Но при этом Михаила Фрунзе все-таки удивляли и поражали та самоуверенность и то вероломство, с которыми Троцкий осуществлял свою «политику». Даже теперь, после больших побед Фрунзе на Восточном и Туркестанском фронтах, после наград от имени Республики и доверия, недвусмысленно выраженного Лениным и ЦК.

Началось с того, что прибывший на Казанский вокзал поезд бывшего командующего Туркестанским фронтом Фрунзе был оцеплен военными чекистами и обыскан со странным подозрением: не везут ли красные герои-штабисты из Средней Азии золото и бухарские ковры? Фрунзе возмутился и потребовал составить протокол по всей форме о том, что никакой такой «контрабанды» штаб его в Москву не привез. Начальник охраны, умный латыш, протокол составил и намекнул исподтишка, что обыск проводился исключительно по настоянию тов. Троцкого.

А в Реввоенсовете Фрунзе известили, что его собираются к и н у т ь не на Врангеля, а на кубанских «камышатников», дезертиров и бело-зеленых, коими безуспешно пока занимается Кавказский фронт и его командующий Тухачевский... До самого заседания ЦК партии Фрунзе кипел внутренне, собираясь давать бой недоброжелателям, отстаивать свое право сразиться с последним ставленником Антанты и кончить всю гражданскую войну к началу зимы, как он обещал в своих письмах Ленину. Здесь, на заседании ЦК, и обнаружилась пустая, но тем не менее провокационная путаница в аппарате РВС: никто даже и не думал посылать Фрунзе на Кавказ...

Шило, однако, вылезло в другом месте: Троцкий не позволил сформировать новый штаб Южного, вновь создаваемого фронта из старых, хорошо известных Фрунзе работников. Федор Федорович Новицкий, ближайший помощник и друг, авторитет в военных делах, был оставлен в Средней Азии. Начальником штаба назначили бывшего командарма-13 из военспецов с мало что говорящей фамилией Паука. Фрунзе должен был полагаться больше на полевой штаб и своего бессменного адъютанта и помощника Сергея Аркадьевича Сиротинского.

Но при всем этом Фрунзе с большим желанием и радостью выехал по новому назначению.

На Военный совет прибыли: новый командарм-6 Авксентьевский, спутник Фрунзе еще из Иванова, командарм-13 Иероним Уборевич, талантливый юноша в пенсне, с сухим прибалтийским профилем и жестким ртом, и, наконец, командарм 2-й Конной, старый вояка Миронов, смуглолицый и сухощавый пожилой казак с длиннющими усами и мрачноватыми, темно-кофейными глазами вприщур... То, что взгляд у Миронова направлен внутрь себя и неприветлив, понять легко: человек только год назад вышел из-под расстрела за свой сумасшедший мятеж в Саранске. Надо развеселить его тут хорошенькой встряской, дать настоящую работу... Говорят, из донцов...

Фрунзе видел донские пополнения в Чапаевской дивизии, слушал их песни — самолюбивые, дьяволы, похуже уральцев, хотя корень-то у них один, от Ермака-гуляки... К донцам у комфронтом Фрунзе особый счет: хромота, негнущееся колено, как у Тамерлана. В девятьсот шестом, на маевке в Шуе, какой-то охломон в лампасах поймал Фрунзе арканом за ногу и поволок по улице, да через забор и канаву... С тех пор нога не сгибается в колене. Невеселые ассоциации... Но Миронова надо оградить от «ассоциаций», к нему и без того особое отношение со стороны председателя РВС. Тут, что называется, единство судеб...

Заняли свои места член РВС фронта Сергей Иванович Гусев-Драбкин и представитель 1-й Конной Ворошилов, прибывший с Польского фронта. Рядом с ними поместились приехавшие из Москвы главком Каменев с начальником главного штаба Красной Армии Лебедевым. Сергей Сергеевич Каменев и представил всем нового командующего фронтом, передав ему слово.

Фрунзе коротко поставил главную задачу: вырвать из рук Врангеля инициативу в ближайшее время и следом за тем разгромить его главные силы.

— Поражение наших войск на Висле, — говорил Фрунзе необычно гулким, округляющим гласные баском, не глядя почему-то на представителя РВС 1-й Конной Ворошилова, своего давнего знакомца по Стокгольмскому съезду, скрывая волнение, — это поражение серьезно осложнило внутреннее и внешнее положение Советской Республики. Врангель не замедлит протянуть руку Пилсудскому, выход его на Правобережную Украину неминуем, и с этой стороны следует выдвигать наш контрплан...

Докладывали командармы 6-й и 13-й. Ворошилов в свою очередь известил, что эшелоны Конармии Буденного прибудут в район Берислава не раньше как через месяц, в лучшем случае, к 25 октября. Последним поднялся для доклада Миронов.

Миронов впервые видел двух соседей-командармов, старого большевика Гусева, главковерха Каменева, самого Фрунзе. Только отчасти знал Ворошилова. Все эти люди прославились именно в тот момент, когда сам Миронов занимался земельными делами в Ростове, знали друг друга. Он для них был фигурой не то что новой, но попросту занятной и почти одиозной. Саранск еще не был забыт, а кое-кто и старательно муссировал ту печальную память. Говорить следовало коротко и точно, без отвлечения в детали и тем более в эмоциональные крайности, причин для которых хватало с избытком.

— За двадцать истекших дней состав армии с полутора тысяч сабель вырос до десяти тысяч кавалерии, а всего едоков, включая обслугу и обоз второго разряда, — около семнадцати тысяч, — доложил Миронов. — Пополнение — за счет маршевых частей по мобилизации, но почти столько же стихийно-добровольческого элемента с Дона и отчасти Кубани... Проводятся систематические учения конников, без чего войска не смогут достойно встретить конницу Врангеля: владение конем и шашкой, джигитовка, стрельба на скаку... Эскадроны готовы к атаке лавой, разомкнутым и сомкнутым строем, учатся брать полевые препятствия. Артиллеристы осваивают меткость стрельбы с тем расчетом, чтобы запечатать с двух-трех залпов батарею противника, это особенно важно при постоянном голоде со снарядами... Занятия проводились каждодневно с восьми утра до одиннадцати вечера с коротким перерывом на обед, уделялось особо пристрастное внимание учебе командного состава. Но, к сожалению, учебный период нельзя считать законченным, новобранцы из центрально-русских губерний, можно сказать, впервые видят строевого коня и седло... Политработа стоит на высоте, все политкомы не только пропагандисты, но и первостатейные всадники, умеющие вдохнуть силу и азарт в нужный момент и показать бойцам пример. Через некоторое время, считанные дни, армия будет готова к активным действиям.

Фрунзе, и без того мрачноватый, нахмурился:

— Вы считаете, таким образом, армию еще не готовой к боевым действиям? А если Врангель завтра форсирует Днепр, что, вообще говоря, вполне вероятно, и ударит по вашей коннице?

Все с интересом смотрели на Миронова. Он подумал, прежде чем отвечать на вопрос комфронтом.

— Значит, доучимся в бою. Кроме того, важно, какими частями Врангель рискнет переходить Днепр, товарищ командующий. Если пустит, к примеру, Донской корпус, то дело его проиграно.

— То есть?

— Командующий там старый, безвольный штабист. Манекен. Постараемся вначале измотать, а потом перетянуть часть обманутых казаков на свою сторону. Несговорчивых — вырубим. Во всяком случае, развернуть крупные наступательные операции не дадим.

— Гм... А если пойдут «цветные» добровольческие полки и дивизии? — усмехнулся Фрунзе.

— Тогда попрошу подкрепление — одну стрелковую дивизию из резерва фронта, дабы обеспечить свободу маневра своей коннице, и — точно так же постараюсь разгромить противника... наголову.

Ворошилов и Каменев сдержанно усмехнулись, достаточно хорошо зная Миронова. Член РВС фронта Гусев поправил пенсне и молчаливым кивком испросил у главкома разрешения говорить. Согнал с полных, влажных губ мимолетную усмешку.

— Относительно слабой подготовленности 2-й Конной армии... ее командарм Миронов, по-моему, пытается докладывать здесь с позиций вчерашнего дня, с некоторым «запасом» и даже «запросом», товарищи, — сказал Гусев. — Можно, конечно, понять хозяйскую струнку товарища Миронова, но мы располагаем иными сведениями, о чем я уже доложил телеграммой в главный штаб... — поклон в сторону Каменева. — Как известно, в Конной армии проводилась недавно инспекторская проверка военными спецами Кавказского фронта, для объективности. Они отметили, что благодаря усиленной работе командарма, товарища Миронова, и всех штабных и политических работников достигнуты достойные замечания успехи

в части изжития партизанщины и приведения частей, прибывших по мобилизации, в состояние регулярной конницы. Работники Кавказского фронта заявляют, что дивизии неузнаваемы. Таково же и мое мнение после приличного осмотра. Сейчас все еще идут новые пополнения, но они вливаются уже в подготовленные ряды... Хотел бы еще обратить внимание на ценную инициативу товарища Миронова и члена РВС товарища Макошина в части сотрудничества с окрестными селянами, организации массовой помощи в сборе урожая, особенно вдовам и многосемейным, потерявшим кормильцев... Это произвело переворот в отношении к нам большинства украинских середняков, не говоря уж о пролетарской прослойке, так называемых «незаможних селянах»... Махно в значительной степени потерял почву в близлежащих селах и вынужден вновь пересматривать свою путаную линию. Недавно были попытки с его стороны завязать переговоры с нами на предмет общего союза против Врангеля...

— Авантюра, — сказал Ворошилов, почти не разжимая зубов. Крепенькое, мускулистое лицо его чем-то напоминало дверной замок-гирьку. — Этот Махно... уже один раз помогал нам бить Деникина, но все знают, чем это кончилось! В самый горячий момент откроет фронт — вот вам и «союзник»... Не стоит!

— Сейчас момент другой, — не согласился Гусев. Поправляя пенсне, сел на место.

Фрунзе коротко глянул на Миронова, словно обещая еще свои комментарии по докладу, и быстро спросил начальника полевого штаба:

— А сколько басмачей у этого запорожского курбаши... на сегодняшний день?

Никто не засмеялся невольной шутке командующего. Все знали, что Фрунзе «проел зубы» и наломал руку в общении с малыми и большими басмачами в Туркестане. Он их привлекал на свою сторону, разъяснял политику Советов, а после необходимой чистки состава прямо зачислял в кадровые части красных республик Хорезма и Бухары. Тем и победил, хотя эмир Бухарский вначале имел превосходство в коннице против войск Фрунзе в четырнадцать раз!

— Сколько у него бандитов? — переспросил Фрунзе о Махно.

— Более десяти тысяч, товарищ командующий, — отвечал начштаба. — Состав несколько колеблется, но вот триста пулеметных тачанок постоянно на колесах, и тут есть смысл поработать.

— Еще бы! — засмеялся Фрунзе, предчувствуя почему-то успех и от удовольствия задирая подбородок. За черной каймой бороды открывалась при этом чистейшая розоватая кожа, и всем вдруг становилось ясно, сколь еще молод Фрунзе, какая юная сила скрывается за строгой бородой и мужиковатыми усами. — Еще бы не поработать! Развал у противника — есть залог нашей победы!

И обернулся к адъютанту и постоянному своему советнику Сиротинскому:

— Здесь, Сергей Аркадьевич, придется сразу же брать быка за рога! Напишите, пожалуйста, срочную телеграмму к Махно. Да. Без всякого шифра. Примерно так... Готовы? Срочная, по месту нахождения... Пишите: «Командующему революционной повстанческой армией товарищу Эн Махно. Приказываю немедленно прибыть ставку Южного фронта Республики, город Харьков, на Военный совет по поводу окончательного разгрома врага трудового народа и крестьянства, ставленника белой Антанты барона Врангеля. Командъюж ФРУНЗЕ. Точка». Дату и время отправки. И пусть только откажется!

Фрунзе с подчеркнутым вниманием, искрясь черными глазами, посмотрел на Ворошилова и кивнул, приглашая к пониманию вопроса. Извини, дескать, Клим, но приходится с тобой не согласиться. Здесь ведь совсем иная обстановка, чем была в прошлом году с Деникиным! А вообще ты мужик дельный, никто не спорит. Сообщи и своему командарму Буденному, что мы его очень и очень ждем у Днепра и очень на 1-ю Конную надеемся...

— Ну что ж, — сказал Фрунзе. — Военный совет считаем законченным. Приказ армиям получите особо. Желаю боевого успеха, товарищи. И помните, что за нашими действиями пристально наблюдает ныне из Москвы товарищ Ленин.

Прощаясь с Мироновым, задержал руку в молодом, уверенном захвате:

— Товарищ Миронов, мы не упускаем из виду, что свой прорыв Врангель может начать именно на вашем боевом участке, где-нибудь меж Александровском и Апостолово, возможно, в районе Никополя. Поэтому штаб выделил в ваше оперативное подчинение резерв — 1-ю стрелковую дивизию из 6-й армии. Свяжитесь с товарищем Авксентьевским.

— Спасибо. Весьма кстати, — сказал Миронов.

...Вместе с Мироновым в штаб 2-й Конной выехал главком Республики Каменев. Хотел лично ознакомиться с частями ударной группы, осмотреть рубежи, береговые укрепления над Днепром, ибо оперативные сводки, а также и зрелая интуиция военного говорили главкому одно: именно здесь, на правобережье Днепра, развернется в ближайшие дни решающее, может быть, сражение с бронированной конницей «черного барона». Именно над правым флангом 13-й Уборевича, а стало быть, и над конницей Миронова, обязанной прикрывать стык под Александровском, нависает главная опасность.

ДОКУМЕНТЫ

Москва. Ленину
Из телеграммы № 17/Щ
3 октября 1920 г.

...На нашем правом фланге от Александровска до Херсона противник пассивен, но занят подготовкой к развитию операций. На всем остальном фронте продолжает рядом сильных ударов громить 13-ю армию. Части армии надломлены предшествующими неудачами и, несмотря на значительные подкрепления, ударов врага не выдерживают. <...>

Наша задача — во что бы то ни стало продержаться на левобережном участке и прикрыть Дон-

басс, не вводя в бой пока неготовой правобережной группы [Миронова]... Самым скверным считаю запоздание конницы Буденного, на что обращаю постоянное внимание главкома...

В конечном успехе, несмотря ни на что, не сомневаюсь.

Фрунзе [1].

РВС 1-й Конной
Буденному, Ворошилову
По прямому проводу
4 октября 1920 г.

Крайне важно изо всех сил ускорить продвижение вашей армии на Южный фронт. Прошу принять для этого все меры, не останавливаясь перед героическими.

Ленин [2].

Москва. Ленину
№ 9/удс, Харьков
По телеграфу
13 октября 1920 г.

Предполагавшаяся операция на Перекопе сорвана. Инициатива целиком в руках Врангеля. Сейчас мы только обороняемся. Фрунзе и Гусев полагают, что мы можем вновь начать сорванную операцию не ранее чем через 15 дней. При этом нельзя не принять во внимание распутицы. Главная надежда на скорейшую переброску 30-й дивизии, на ускорение движения 1-й Конной армии, куда сейчас выезжаю.

Главком Каменев [3].

8

Началось перед рассветом 8 октября...

Под прикрытием ураганного артиллерийского огня 1-й армейский корпус и Кубанская кавдивизия белых под общим командованием генерала Кутепова форсировали Днепр. Их части шли через остров Хортицу, имея в виду взятие с ходу города Александровска. Кубанцам и пехоте Корниловской и Марковской дивизий удалось отбросить 3-ю дивизию красных и стремительно распространиться в западном, а затем и юго-западном направлении, стремясь окружить и уничтожить армию Миронова.

С рассветом Миронов дал приказ начдиву-21 Лысенко немедленно связаться с 16-й и совместными усилиями (имея в виду также 3-ю стрелковую из 13-й армии) прижать десантные части врага к берегу и вырубить как можно быстрее, чтобы не дать закрепиться на новом рубеже. Верный своей тактике, Миронов сразу же переправил одну из бригад 1-й стрелковой дивизии на левый берег, давая понять противнику, что он может оказаться в полном окружении. Увы, этот маневр был несоизмерим с масштабами последующего сражения... Несмотря на то что группе Лысенко-Волынского удалось остановить продвижение противника в западном направлении, а затем отрезать главные его силы от Кичкасской и Хортицкой переправ, вызвав полное замешательство, а 3-й кавбригаде Масленникова даже разгромить наголову группу противника под колонией Шенеберг, бои только еще разворачивались.

Пока конница Миронова отражала с успехом фланговый удар войск генерала Кутепова (по силам равных примерно 2-й Конной), на рассвете следующего дня новая ударная группа белых в составе двух армейских корпусов под общим командованием генерала Драценко форсировала Днепр западнее, под Никополем, и беспрепятственно устремилась к станции Апостолово, где располагался штаб 2-й Конной...

— Там же, по общему мнению, непроходимые плавни! На десятки верст! Куда же смотрела наша разведка?

Миронов смотрел на карту, свисавшую со стены, кусал кончик правого уса, нервничал. Он понимал, что инициатива вчерашнего дня, отбитая с великими трудами у десантных дивизий Кутепова под Александровском, вновь упущена.

Член РВС Макошин и начальник полевого штаба армии Тарасов-Родионов молчали. Первый, понятно, не отвечал за разведку, второй же прибыл в армию совсем недавно, только входил в дело.

— Врангель использовал понтоны и прошел плавнями в одну ночь, — сказал он.

Командарм вздохнул, только искоса посмотрев на тонкое, интеллигентное лицо своего помощника. Тарасов-Родионов, бывший подпоручик одного из гвардейских полков, чекист, вместе с матросом Дыбенко пленивший в ноябре семнадцатого под Гатчиной генерала Краснова с комиссаром Временного правительства Войтинским... Лет тридцати, подтянутый и исполнительный, но каковы его навыки и способности в штабной работе? Чьими заботами он прислан в армию к Миронову?

— Уточните, пожалуйста, какими силами Врангель осуществил этот новый десант, — сказал командарм.

— Через час уже будут сведения, — исполнительно ответил Тарасов-Родионов.

Позвали в аппаратную. На проводе был штаб фронта, Миронов узнал Фрунзе. Коротко доложил обстановку, подтвердив посланные ранее сведения.

— Вы должны иметь в виду не только стратегическую инициативу барона, которую он желает закрепить во что бы то ни стало, — сказал Фрунзе, — но и политическое значение начатых им операций. Они стоят в тесной связи с проходящими в Риге мирными переговорами... Стремясь подчеркнуть слабость красных войск, барон оказывает прямую поддержку белополякам, срывает мирные переговоры. Надеюсь, вы понимаете, что на вас лично теперь лежит самая ответственная задача, от быстроты и энергии выполнения которой зависит вся судьба нынешней кампании. Короче говоря, сильным и энергичным ударом... все, что переправилось, должно быть смято и уничтожено.

---

[1] Фрунзе М. В. Избр. произв., т. 1. М., 1957, с. 352—353.
[2] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 35, с. 391.
[3] ЦПА, ф. 461, д. 30558, л. 1.

Надеюсь, что вы и вверенная вам армия с задачей справитесь скоро и решительно.

Макошин и Тарасов-Родионов слышали приказ Фрунзе, и оба с тревогой взглянули на Миронова, ожидая какой-нибудь вспышки, на которую Миронов был способен при нелепых или трудно понимаемых указаниях сверху. Ведь и сейчас отражать новый десант у Никополя было фактически нечем. Одна штабная кавбригада особого назначения, с нею комендантский взвод, и все... Но ведь и у Фрунзе, наверное, не легче!

Миронов сказал угрюмо, не возвышая голоса:

— 2-я конная, товарищ командующий фронтом, успешно выполнит возложенную на нее задачу. Сейчас отправляюсь к войскам.

Миронову противостояли три армейских корпуса и две кавдивизии противника, более чем вдвое превосходившие его силы...

После паузы Фрунзе сообщил:

— Свяжитесь с 6-й армией, Авксентьевскому дано указание поддержать вас... Да, у него есть кавалерийский резерв... И хочу, товарищ Миронов, сказать, что завтра с утра начинаю наступление всем нашим восточным флангом, в 13-й Уборевича. С выходом на линию Верхний Токмак, Пологи, Гуляй-Поле, Славгород. Группы Федько и корпус Каширина сделают все, чтобы переправившаяся группа белых посильнее озиралась на свой тыл.

— Выезжаю к войскам, — повторил Миронов.

Когда вышли из аппаратной, разведотдел уже приготовил последние сводки о боях под Ушкалкой-Бабино, где закреплялся десант генерала Драценко. Пришлось созвать экстренный совет.

Армия оказалась разбросанной, Миронов понимал, что в этих условиях легче легкого потерять управление войсками. Но — с другой стороны, за ним оставался еще оперативный простор и крепкие тылы, возможность постепенно закружить врага, сбить с толку. Маневрировать, уходить и вновь наступать, не допуская больших потерь со своей стороны... Готовы ли к этой сложной работе его части?

— Константин Алексеевич, — сказал Миронов Макошину, — мы тут посоветуемся, а вы свяжитесь, пожалуйста, с Авксентьевским, узнайте, чем и когда он может нас поддержать. Острая нужда.

Был Миронов натянуто спокоен, даже невозмутим в эти минуты. Но сведения поступали одно хуже другого. Врангель укреплял правобережные части под Александровском, наращивал силу ударов. Необстрелянные новобранцы не выдерживали ярости конных атак. Полки 21-й дивизии под напором превосходящих сил расходились в степи нелепым веером. Блиновцы и 16-я Волынского попросту отскочили от противника и замялись в ожидании каких-то перемен, подхода резервов, на которые оглядывается обычно слабейшая сторона. Не чувствуя их давления, противник уже всей массой обрушился на дивизию Лысенко, теснил к Никополю, куда выходил от новых переправ с рейдовой конницей генерал Бабиев. Это угрожало 21-й полным уничтожением.

«Вот так и проигрываются сражения... — подумал Миронов. — День-два, и все потеряно, ничего не соберешь. Повторяется тот же наглядный урок, что был преподан корпусу Жлобы, но тогда масштабы все-таки были менее угрожающи... Надо маневрировать, сохранить живую силу, временно отдать даже Никополь... Что там у Авксентьевского, надо же преградить генералу Драценко путь на Апостолово!..»

— Из 6-й сообщили: дают нам в помощь кавбригаду Саблина, Филипп Кузьмич. Состав бывалый, обстрелянный... — Но это все.

— Когда будут?

— По-видимому, к вечеру...

— Свяжитесь, пожалуйста, с нашей бригадой особого назначения, ободрите Урицкого.

«Вот сейчас может появиться авиация Врангеля, и тогда все...»

Вызвал своего командира авиационного отряда Феликса Ингауниса, у того в распоряжении пятнадцать «Ньюпоров»-этажерок с малой скоростью и два еще более неповоротливых бомбардировщика «Илья Муромец». Ждать особой поддержки от них не приходилось, но Миронов приказал любыми средствами прикрыть конников с воздуха.

— Под вашу ответственность: никаких пиратских налетов Врангеля с неба!

Латыш Ингаунис приложил два пальца к правой брови, и стеклянные окуляры, поднятые на лобную часть кожаного шлема, холодно вспыхнули, отражая хмарное окно.

— Машины заправлены горючим, вылетаем по первому приказу. Хозяйничать врагу не дадим, — сказал он. — Будем... как это по-русски... лоб в лоб таранить!

— Вот-вот, иной раз надо уметь лечь костьми!

— Латыши все умеют, товарищ командарм, — сказал Ингаунис хмуро.

Позвали вновь в аппаратную: на проводе начдив-21. Михаил Лысенко не спал ночь, можно было понять его усталость и тревогу. Доложил, что две окруженные бригады только что вырвались с жесточайшей рубкой из вражеского кольца.

— Противник? — спросил Миронов.

— Противник навязывает непрерывные атаки, девять раз бросался в рубку, но сейчас как бы притих. По-видимому, обходит наши фланги...

Миронов помолчал. И бойцы, и командиры его устали, падали духом. Да и не мудрено: Врангель все лето владел инициативой, теснил и разбивал красные части. Атаки его отличались не только бешеным напором, но и грамотным расчетом, и, конечно, жестокостью, на которую способны только обреченные... Сейчас красным нужно бы почувствовать собственную силу, устоять перед обнаглевшим врагом. Но где передышка, да и как устоять при таком соотношении сил?

Миронов сказал:

— Противник потому поутих, Михаил, что чует за спиной две наших дивизии, которые с утра отскочили в степь и никак не проявляют пока себя. Приказываю: обороняться активно, бить по зубам, части держать в кулаке! К блиновцам и в 16-ю высылаю нароч-

ным соответствующий приказ: будет и тебе помощь! А завтра с утра переходят в наступление части Уборевича, будет совсем иная обстановка, Михаил. Держись там!

Мало было поддержать начдива-героя словом, в ночь отослал своего помощника Городовикова и члена РВС Макошина к частям разыскать отступившие дивизии Рожкова и Волынского и, действуя самостоятельно, атаковать противника непрестанно.

21-я Лысенко откатывалась к западу, минуя Никополь...

В полночь Миронов отдал свой приказ № 01/оп: из частей 1-й стрелковой дивизии, 21-й кавалерийской и двух кавбригад — Урицкого и Саблина — создать ударную группу под командой начдива-1 Афонского. С утра перейти в решительное наступление, овладеть станциями Подстепное и Ток, войдя в соприкосновение с левым флангом 6-й армии.

С рассветом, как и в прошлые дни, по всей линии от Александровска до Апостолово загремела встречная канонада, возобновились тяжелые бои, атаки и прорывы с обеих сторон. Весы успеха заколебались... Миронов то находился на командном пункте ударной группы с Афонским, то скакал по фронту в сопровождении ординарцев, командовал конницей.

К полудню части генерала Драценко дрогнули, замялись... Со стороны далекой станции Чертомлык все настойчивее доносилась частая артиллерийская пальба — там активизировались две дивизии, объединяемые теперь под командой Городовикова. К вечеру начдив Лысенко сообщил, что сбил с позиций шесть кавалерийских полков противника, отбил батарею, десять станковых пулеметов. Первая стрелковая выбила в тяжелом бою противника из села Шолохово...

Надолго ли этот первый успех?..

Связь между частями наконец заработала образцово. Но белые вновь перехватили инициативу под Никополем и Александровском. Вечером в штаб Афонского прискакал вестовой с личной запиской Макошина. Указывая на крайнюю серьезность обстановки, член РВС просил Миронова приехать в северную группу и взять на себя личное руководство дивизиями. «Завтрашний день может стать роковым», — писал Макошин.

Миронов оценил обстановку на обоих флангах, написал ответ:

Константин Алексеевич!

Получил Вашу записку. По обстоятельствам мне важнее быть здесь. Приказ посылается. Будьте при 16-й дивизии и берегите нас от удара в тыл со стороны Никополя. Завтра решается судьба барона Врангеля. Подтяните командный состав и ободрите бойцов.

Миронов.

Была такая уверенность у Миронова, что Врангель выдыхается, хотя перевес сил и вся инициатива еще в руках барона...

Вестовой с запиской и штабным приказом под крепкой охраной спешным аллюром направился к Чертомлыкским хуторам, в группу Макошина — Городовикова...

ДОКУМЕНТЫ

Из сообщения штаба ген. Врангеля

Вторая армия [ген. Драценко] форсировала Днепр и последовательными ударами разгромила две пехотные дивизии /1-ю и 3-ю/ и нанесла поражение 2-й Конной советской армии... Исход операции ясен — разгром 6-й, 13-й и 2-й Конной армии красных обеспечен... Сопротивление красных полков слабеет, лишь конница до некоторой степени сохраняет боеспособность. Ощущается у красных недостаток вооружения и боевых припасов...[1]

Командарму Второй Конной
По телеграфу. № 087/с, 303/оп
Из Харькова, 11 октября

Невзирая ни на какие изменения в обстановке в районе Апостолово, Никополь, Александровск, нами не может быть допущен разгром левого фланга 6-й армии и отход ее с линии р. Днепр, и в частности, с Каховского плацдарма. 2-я КОНАРМИЯ ДОЛЖНА ВЫПОЛНИТЬ СВОЮ ЗАДАЧУ ДО КОНЦА, ХОТЯ БЫ ЦЕНОЮ САМОПОЖЕРТВОВАНИЯ.

Командъюж Фрунзе[2].

9

От чего зависит исход сражения? Разве только от соотношения сил?

Известно, что успех, в первую очередь, предопределяется разумом и талантом командующего, не в меньшей мере зависит от «духа войск», не учтенного ни диспозицией, ни сводками штабов, а то и от настроения солдат в зависимости от того, наступают ли они или обороняются, желают боя или же уклоняются от него... Но каждый военачальник знает, что нередко успех или крушение в полной мере определяет случай, нелепый, странный, возникающий как бы из ничего, прямо в бою, либо в канун боя, когда трудно уже что-либо поправить.

Перед рассветом едва задремавшего командарма подняли по тревоге. В полевой штаб вернулся раненый, едва живой сотрудник штаба, посланный связным в группу Городовикова, и доложил, что под Чертомлыком их ожидала засада, весь конвой перебит, он спасся чудом, и чудом же пакет с приказом не попал в руки противника...

— Под каким Чертомлыком?! — сразу же сорвался Миронов. — Вам куда приказывали доставить приказ?!

— В Чертомлыкские хутора, — дрожа от усталости и страха, сказал связной. — Но проводник из местных селян сказал, что так короче...

---

[1] Красный архив, т. 3/40. М., 1930, с. 27; цит. по кн.: Душенькин В. Вторая конная, с. 144.
[2] Фрунзе М. Избр. произв., с. 369.

— Так короче к ревтрибуналу! Это же разные адреса! Он где, проводник?! Ему лично было сказано: не в Чертомлык, а на хутора!

Связной доложил, что проводник погиб вместе с охраной. Измены, возможно, не было, но осложнение было столь велико (группа Городовикова теперь, по сути, изолирована), что командарм приказал отдать под суд как связного, так и начальника связи армии.

Утром пришлось затянуть время атаки, а это привело к тому, что противник ударил первым. Ночью там подошли подкрепления. Объединенная группа из трех кавдивизий под командованием генерала Бабиева бешеной атакой обрушилась на Шолохово, выбила оттуда 1-ю стрелковую и 21-ю кавдивизию. Одновременно другая группировка Врангеля вновь ударила в стык 2-й Конной и 6-й армий, потеснила Отдельную кавбригаду Саблина и 52-ю стрелковую дивизию. Весь красный фронт снова перешел к обороне. Сведений от Городовикова все не было.

Медлить было уже нельзя. Миронов сам бросился к 21-й дивизии, на полном карьере приостановил отход бригады Текучева, повел в рубку... Огонь артиллерии с обеих сторон достигал ураганной силы. Врангелевская конница была ошарашена дикой, полубезумной атакой только что отступавших красноармейцев, дрогнула и замерла в нерешительности.

Осколочный рванул прямо на пути командарма, крупный осколок разворотил грудину взвившегося коня. Миронов по привычке выхватил носки сапог из стремян и полетел наземь, рядом с кричащим в агонии конем и убитым насмерть бойцом охранения.

— Коня! — закричал он чужими, посиневшими от контузии губами.

Начдив Лысенко, следовавший обок с командармом, потирал рукой зашибленную, больную еще от прошлых ранений голову. Держал коня в поводу, смотрел с деревянной улыбкой на уцелевшего командарма.

— Живы, товарищ... Филипп Кузьмич?..

— Коня, черт бы... вас всех... Минуты уходят, Лысенко, слышишь?

— Коня командарму! — кричали где-то в стороне, в десятке сажен. Время растягивалось до тоскливой одури, как в мучительном сне. У ног Миронова, мелко вздрагивая, издыхал окровавленный конь.

— Что-то они... примолкли там... — сказал рвущимся от волнения голосом Лысенко, глядя вперед, туда, где творилось главное столпотворение атаки. — Что-то они ждут вроде бы, белые...

Чуть слышно отдалась в ушах дальняя канонада с северо-востока.

— Слышите, Филипп Кузьмич?..

— А то! Победа, Михаил, — сказал Миронов, хватая Лысенко за плечи и прижимая, словно младшего брата, от великой радости. — Победа! У Городовикова получили наконец-то приказ, аспиды!

Подвели заводного коня, командарм, не чувствуя потрясения от контузии, вновь вскочил в седло. Держа обнаженный клинок вдоль стремени, изо всех сил сдерживал в себе азарт этой решающей нынешний бой атаки, говорил сорванным голосом, почти что хрипел:

— Братцы мои, умоляю: только вперед!

Скакали ординарцы и вестовые с приказом атаковать, не отпускать противника, лишить маневра и отдыха.

По левому флангу с диким воем пошла в атаку излюбленной казачьей лавой резервная бригада Акинфия Харютина. Сшиблись с белыми в полуверсте, Миронов приказал перенести огонь батарей, бивших прямой наводкой, вглубь порядков противника, упредить их отступление, бить по тылам.

— Текучев ранен! — донеслось справа.

Миронов подозвал своего порученца Качалова, бывшего у Жлобы когда-то начальником штаба корпуса. Сказал уже с явным спокойствием, понимая, что главное в этом бою сделано:

— Владимир Яковлевич, кажется, Текучев ранен, подмените его в бригаде, пожалуйста. Шолохово надо вернуть во что бы то ни стало.

Качалов, нудившийся в порученцах, бросился выполнять приказ. Бригада Фомы Текучева ждала сейчас больше всего моральной поддержки, слов командарма...

Вместе с Отдельной бригадой Урицкого конники пошли во фланг генералу Бабиеву.

Миронов смотрел в бинокль, рядом теперь был только член РВС Дмитрий Полуян, все остальные командиры связи были в частях.

— Дмитрий Васильевич, посмотрите в бинокль: не кажется ли вам, что 1-ю стрелковую нам лучше вывести из боя, она только связывает маневр конницы?

Полуян брал теплый от руки Миронова бинокль, смотрел с кургана в ту сторону, куда указывал командарм. Ничего, по сути, понять не мог в мельтешении людей, лошадей, дыма, скользил взглядом по туманному горизонту. Удивлялся странному характеру Миронова, каким-то неестественным перепадам настроения. С одной стороны — почти театральная истерия, нашумит, накричит, натопает, глядь — опять холоден, как лед, расчетлив до мелочей, спокоен, как будто уже выиграл дело. Черт его поймет, этого заговоренного от пули и осколка человека!

— Пожалуй что следует отвести, — кивнул Полуян, возвращая бинокль. — Бабиев может, отступая, вырубить ее...

Миронов не слышал. Записывал на клочке бумаги боевой приказ о выводе стрелковой дивизии из боя. Передал подскочившему ординарцу и велел доставить лично Афонскому.

На северной окраине Шолохова пыль поднялась столбом. Это 2-я Блиновская как будто услышала молчаливый зов своего отца-командира, прорвала наконец-то фронт белых с той стороны, от Чертомлыкских хуторов, летела на выручку. Сказывалась подготовленность, школа бойцов.

— Ну молодец Рожков, ну молодец, окаянный замуреп! Слышишь, Дмитрий Васильевич, как они начали их шматовать?! Как собаки медведя! Теперь

пошло-поехало, во вкус входят красные казачки, орлы мои боевые!

«Сейчас расплачется, никак не иначе... — с непонятной издевкой хмыкнул Дмитрий Полуян, еще не поверивший в успех дня. — Нет, определенно задергал себя человек до психической болезни!..»

Бой разворачивался к северу.

Принесли сообщение: село Шолохово — наше, беляки бегут, на окраине села разрывом снаряда убит генерал Бабиев...

Миронов снял с горячей головы серую папаху и, оправив сникшие усы, вытер прохладным курпеем лоб. Полуян видел, что командарм испытывает непреодолимое желание перекреститься.

Белая конница откатывалась к станции Ток. Обрубая постромки, бросала пушки, пулеметные тачанки с перебитой прислугой и лошадьми. На пути валялось обозное имущество, винтовки без затворов.

Миронов приказал вести преследование до полной темноты, и лишь в глубоких сумерках трубач заиграл отбой атаки.

Все чувствовали, что победы еще нет. Завтра — каждому ясно — Врангель вновь попытается на этом рубеже вернуть инициативу в свои руки.

— К утру всю армию сосредоточить у Шолохова, для атаки, — сказал Миронов и ушел вздремнуть час-другой, стряхнуть тяжкую усталость.

Всю ночь мучили кошмары, со всех сторон шли валом чужие полки, оголтелые бородачи с пиками, как в восемнадцатом, под Секачами. Он пытался маневрировать, отводить части, брать зарвавшихся в «вентерь», но сила все же ломила вражья, спасения не было. «Мало сабель в конармии, мало, как ни вертись, а большого урона не миновать... — скребла в глубине души потаенная мысль. — Но, может быть, есть какой-то выход? Может быть, и у противника «глаза велики от страха»? Какой у них расчет на завтра? Атаковать? Расширять правобережный плацдарм? Это бесспорно. А какие опасения? Есть ведь и у них опасения на завтра?»

Опасение у Врангеля было, и большое. Он должен был уничтожить Миронова и смять левый фланг 6-й армии красных именно завтра, 14 октября, до подхода 1-й Конной! Упредить, не дожидаясь огромной и сметающей все на пути конницы Буденного!

Все верно.

Значит, они ее ждут со дня на день, конницу Буденного?..

Что-то такое неясное, но уже веселящее душу неожиданной находкой мелькнуло в сознании, и Миронов в первый раз за эти сутки усмехнулся. Нашел, отыскал никому не ведомый резерв и, засмеявшись, кивнув кому-то с вызовом и хитростью, провалился в короткий, сладкий сон-забытье. Душа, усталая и сникшая, вновь как бы расправляла крылья...

...Густой осенний туман, скрывавший местность и построения конармии, с восходом солнца начал рассеиваться. Миронов, чисто выбритый, в новой шинели с красными петлицами-«разговорами», со своей серебряной шашкой, объезжал выстроенные части, поздравлял с одержанной вчера победой. Горяча рыжего, белоноздрого дончака, норовившего пробить передним копытом подмерзшую корку грязи, Миронов вставал на стременах, кричал высоким привычно-митинговым голосом:

— Товарищи красные бойцы-кавалеристы! Орлы революции! Сегодня великий исторический день нашего торжества. Сегодня красное знамя рабочих и крестьян празднует свою победу, оно будет гордо реять над нами в сокрушительной атаке... и, завидев его издали... сердце «черного барона» сожмется от страха! Сегодня мы схватим его за продажное, белое горло и задушим... раз и навсегда!

Комбриги стояли в седлах с омертвевшими, усталыми лицами, хотели верить в пророчество командарма. Кони устало всхрапывали, меняли ногу. Марево истаивало, солнце, поднимавшееся из-за холмов, сбивало прямыми и острыми лучами слезинки росы с пожухлых, перетоптанных трав, зажигало кровавым светом ниспадавшие полковые стяги, узкий кумач эскадронных значков.

— Умереть, но добить нынче лютого врага Красной Республики! — Миронов выхватил свой именной клинок и вознес сверкнувшую сталь над головой. — Зову вас на победу и славу, братцы мои, зову к упорству, беспощадной удали ради близкой победы! За землю и волю, за красное знамя на всей земле... вперед!

Бойцы выпрямлялись в седлах, подбирали поводья. Заодно пружинили ноги, проверяя крепость и длину выпущенных стремянных путлищ, съедали глазами командующего, и великая отвага начинала теснить изнутри их души. И знал каждый, уверился за неделю прошедших боев: с этим командармом их никто не победит, не стопчет копытом, не застигнет сверху.

Оба члена Реввоенсовета, Макошин и Полуян, стояли в седлах по бокам командарма, завпоармом Яков Попок непривычно горбился в седле, а чуть в стороне — начальник полевого штаба Тарасов-Родионов и личный порученец командующего, тоже бывалый конник Владимир Качалов — все воздели над собою блестящие клинки, кричали «ура!». Всем было приказано стать в строй.

«Сразу ли начинать главный маневр или в разгар боя? — мучительно соображал Миронов, оглядывая местность. — Когда лучше показать свои резервы? Сейчас или после? В этом весь секрет...»

— В атаку, товарищи, по диспозиции, — махнул он рукой.

Боевая 21-я развернулась лавой и пошла карьером на опорные села белых Марьинское и Грушевку. По пути вырубила в короткой атаке заставы под Усть-Каменкой и колонией Николай-Таль. Подоспевшая бригада Саблина, от 6-й армии, взяла в работу левый фланг противника. Отдельная кавбригада Семена Урицкого залегла было под жестоким пулеметным огнем, но батареи красных накрыли пулеметный рубеж, а вылетевший на передовую позицию помкомандарма Городовиков поднял бригаду в атаку пешим строем, повел в штыки. С фланга заходил его резервный эскадрон...

Тут не было сумятицы, была хорошо обдуманная и умело проводимая военная операция, которая сама по себе могла подавить воображение командиров на той стороне. Творилось что-то небывалое и почти немыслимое: та ли конница нынче у красных, что такое произошло с нею за две-три недели?

По три-четыре раза сходились в рубке с белыми лавами бригады Лысенко. Тяжесть была страшная, урон велик, но не падали духом бойцы, вновь шли в атаку. А свою возлюбленную Блиновскую дивизию Миронов еще не выпускал в дело, держал в резерве.

Полевой штаб армии был вынесен на высокий курган, почти над самой линией фронта. Без помощи бинокля великолепно просматривалась вся окружающая равнинная местность. Солнце поднималось, видно было, как от Марьинского шли подкрепления к белым, рысила конница — как видно, последние сотни...

Вызвали к телефону.

Звонил лично начальник штаба фронта Иван Христианович Паука, спокойный, вяловатый военспец.

— Командующий фронтом просил передать, что противник с утра бешено атакует каховский плацдарм на левом берегу, следует ожидать прорыва вновь на фланге 6-й армии. Поэтому просим обратить особое внимание на Грушевку и теснее связаться с флангом Авксентьевского... Самые решительные действия конармии могут спасти положение! Бригаду Саблина, по-видимому, следует вывести в резерв на стыке армий!..

«Даже Паука поднял голос! Видимо, под Каховкой и в самом деле горячая обстановка...»

— Передайте командующему фронтом товарищу Фрунзе, что его указания приняты к решительному исполнению, товарищ начальник штаба, — сказал Миронов. — У меня все.

— А как... вообще, Филипп Кузьмич? — помедлив, спросил Паука.

— Ничего, Иван Христианович, — сказал Миронов. — Бешено атакуют, но это, думаю, их последние атаки. Сейчас начинаю главную свою операцию с участием резерва.

— А у вас есть еще и резерв? — в трубке послышался невеселый смешок и вздох.

— Да. Имеем... на крайний случай, Иван Христианович...

— Ну, с богом, как говорят, Филипп Кузьмич...

Дали отбой связи.

Миронов дал команду вывести на исходные рубежи, к двум невысоким холмам впереди, резервные бригады Блиновской.

— Позвать комбригов!

За шумом и гвалтом ближнего боя, взрывами снарядов, пулеметной трескотней и за десять шагов никто бы не расслышал тех указаний, какие давал командарм своим резервным бригадам. Что касается штабных и адъютантов, то они немало удивлены были, что комбриги, до того бывшие в мрачно-сосредоточенном настроении, вдруг заулыбались, закивали папахами, а Никифор Медведев, комбриг-1, даже гулко захохотал, откинувшись в седле. И с места бросил жеребца в карьер, к своей непобедимой казачьей братве.

Командарм и штаб взяли к глазам бинокли. Но и было ж на что посмотреть впереди!

Пока третья бригада из Блиновской в шальном намете полетела на помощь Лысенко, первая и вторая начали вдруг странные занятия по конной маршировке и перестроениям вокруг ближних курганов. Любо было видеть этот парадный марш эскадронов, распущенных взводными колоннами на дистанции, с красными знаменами и даже оркестром. Каждая бригада шла почему-то на самую вершину холма (по-видимому, лишь для того, чтобы командиры могли хорошенько рассмотреть впереди поле сражения) и на быстрой рыси спускалась на той стороне. Но, затерявшись в кустах, у подножия, эскадроны незаметно возвращались по окружности холма в исходное место и возобновляли новый марш к вершине...

— Что они делают? — спросил Полуян, глянув на Макошина.

Макошин едва заметно пожал плечом и усмехнулся:

— Какая-то карусель вокруг кургашков... Дайте закурить.

— Да, веселая минута! Закрутили донцы-молодцы, как в песне... — вновь усмехнулся Макошин. — А между тем уловка неплохая, Дмитрий Васильевич. Вы только представьте, какая картина открывается теперь с той стороны, от Днепра. Ведь противник видит эти курганы и непрерывное течение конницы, лавы за лавой... А?

На вершины холмов вслед за четырьмя эскадронами вылетали еще четыре. Спустя несколько минут — снова, эскадрон за эскадроном, несчетно. С широкими флагами, с эскадронными значками на пиках, вовсе без пик и флажков, но с медными трубами оркестра впереди. Если смотреть с низины, от Днепра, то этим конным массам и вправду не было конца!

— Теперь смотрите в бинокль, Дмитрий Васильевич, — сказал Полуяну смеющийся Макошин. — Боюсь, что с белыми нам сегодня встретиться лицом к лицу не придется. Хотя и готовились мы с вами к настоящей рубке!

— Да, По-моему, там какое-то смущение, — не очень уверенно проговорил Полуян и стал проворачивать меж трубок бинокля регулятор четкости.

Миронов подозвал начальника политотдела армии и сказал, протягивая заготовленную здесь же телеграмму:

— Товарищ Попок, прошу вас лично доставить эту телеграмму на узел связи для командующего фронтом. Очень важно. И срочно. Прочтите текст здесь же на всякий случай...

В телеграмме говорилось:

Вторая Конная выполняет свой революционный долг и ждет дальнейших приказаний Республики. Есть уверенность и надежда выбросить противника на левый берег Днепра. Бой продолжается.

Миронов, Макошин, Полуян.

Начальник политотдела с конвоем выехал к ближнему селению. Миронов же потребовал коня и с резервным Заамурским полком пошел сам в конную атаку.

Белые бежали. В долине раздался вопль: «1-я конная пришла! Разворачивается для атаки!» и начался панический отход по всему фронту. Три вражеских кавдивизии стоптали и повернули за собою две пехотных. Пошла неудержимая и ужасающая рубка бегущего противника. Артиллерия между тем била шрапнелью с хорошим упреждением, доставая даже тех, кто уже скрывался в плавнях, в густоте камышей.

ДОКУМЕНТЫ

Донесение в РВС Южного фронта
14 октября 1920 г.

Правый берег Днепра и Каховский плацдарм спасены. Корпус генерала Барбовича, поддерживаемый 6-й и 7-й пехотными дивизиями, разгромлен. После семичасового упорного боя на линии сел Марьинское — Грушевка — Покровское противник в беспорядке бежал к переправе у села Бабина... Пока сведений не имею, но убежден, что только жалкие остатки ушли на левую сторону.

Жду указаний. *Миронов*[1].

Ходатайство РВС 2-й Конной в РВС Южфронта

Прошу срочного разрешения украсить грудь доблестного начдива 2-й кавалерийской т. Рожкова орденом Красного Знамени и ходатайствую о награждении начдива 21-й т. Лысенко, как имеющего таковой, — золотым портсигаром за боевые подвиги 13—14 октября.

Командарм 2-й Конной *Миронов*.
Член РВС *Макошин*[2].

Фрунзе мучила старая язва желудка, обострявшаяся в дни, подобные нынешним, когда все силы были на пределе, не было ни сна, ни отдыха. Запаздывали эшелоны с пополнением, боезапасом, провизией для бойцов, плавсредствами для форсирования Днепра... Затяжные, с переменным успехом бои в течение целой недели могли истомить и здорового человека. Под Каховкой лезли на Блюхера новые, несокрушимые, окрашенные в рыжий «колониальный» цвет английские танки. 13-я Уборевича никак не могла взять инициативу, разбегалась под ударами вражьей конницы либо погибала с мужеством и проклятьями, на Миронова ударили с двух концов вдвое и втрое превосходящие силы. Казалось, что фронт Южный будет смят, ждали на подмогу 1-ю Конную. Но вот что-то случилось на позициях решающее, пришел наконец-таки успех! Миронов сумел все же выйти из тяжелого положения, смял неприятеля. Гонит в плавни, в болото! Отбил у них всю артиллерию!

Боли, мучившие комфронтом в эти дни, держали его в штабе, не мог выехать в Апостолово, к конникам. По вечерам с ним по обычаю засиживался Гусев, вспоминали прошлое, каторгу и ссылку.

В этот раз, после составления подробного доклада в ЦК, Ленину, Гусев просмотрел бегло представления из армейских штабов о наградах особо отличившимся и посмотрел на Фрунзе:

— Начдива Рожкова, как просит штарм-2, наградим и комбрига Журавлева из 6-й, разумеется, тоже наградим. Но ведь надо и самих командармов не забыть, полагаю?

Фрунзе достал из ящика стола еще два наградных документа. Сказал, держась за правый бок:

— Сегодня... Иван Христианович уже изготовил листы на Миронова и Авксентьевского. Учли результаты боев. Оба заслуживают орденов Красного Знамени. Я подписал и прошу засвидетельствовать согласие Реввоенсовета фронта. Но тут вот такое дело еще... Письмо из РВС Республики, от с а м о г о, — Фрунзе, крепясь, попробовал квело и надменно усмехнуться. Он не терпел Троцкого ни вблизи, ни на расстоянии.

— И что? — спросил Гусев. Глаза прятались за большими стеклами очков, в которых пламенели огоньки ночной лампы.

— Прочти. Требует сместить именно этих командармов.

— Ну да? — хмыкнул Гусев.

— Именно сейчас. Не нашел ничего лучшего...

— Так в чем дело?

— Авксентьевского хочет послать командармом-16, на запад...

— Отчего же не Миронова? — засмеялся хмуро Гусев. — Один раз он его уже отсылал в 16-ю, это всем нам дорого обошлось. А теперь?

— Сейчас он на место Миронова придумал поставить... Ворошилова, — сказал Фрунзе. — Как будто в 1-й Конной и делать нечего!

Гусев подумал собранно, прикинул все за и контра, выругался:

— Знаешь что? Пошли лучше ужинать. Ну его к черту! А наградные давай подпишем!

10

...Собственно говоря, что же получается? Там, на юге?

На столе перед глазами Ленина появились почти одновременно две телеграммы с Южного фронта, от 13 и 15 октября, но совершенно исключающие одна другую.

Телеграмма главкома Каменева была, по сути, панической: «Мы только обороняемся, инициатива полностью в руках противника...» — но следом за нею принесли чуть ли не парадную реляцию Фрунзе:

№ 17/УД-С
По телеграфу
15 октября

С рассветом 8-го переправой на правый берег Днепра у Хортицы своих лучших ударных частей

---

[1] Душенькин В. Вторая конная, с. 151.
[2] Военно-исторический журнал. М., 1980, № 7, с. 64.

Врангель начал выполнение большого стратегического плана, сулившего при удаче полный разгром нашей ударной группы и делавшего его хозяином всего Черноморского побережья.

В результате семидневных ожесточенных боев по всей линии фронта план этот ныне потерпел полное крушение.

В районе Марьинское, Грушевка, ст. Ток нами разбиты три кавалерийские дивизии и две пехотные, и противник в панике начал отход на левый берег Днепра, неся большие материальные потери.

...Эта неудача, несомненно, является началом крушения Врангеля...[1]

Поступила к тому же почта с представлением к награде командармов Миронова и Авксентьевского.

Что же, в самом деле, произошло там и что скрывалось за столь странным совпадением исключающих друг друга телеграмм? Никто, знающий главкома Каменева, не мог бы допустить мысли, что он в своем донесении продемонстрировал слабое понимание складывающейся в этом районе стратегической и тактической обстановки. О Фрунзе и говорить нечего: он докладывал о результатах сражения и ошибиться не мог. Значит, там действительно произошло нечто невероятное, из ряда вон выходящее?

Безусловно, хотелось бы знать подробности с юга, но сам Каменев еще не приезжал, Троцкого же, как водится, в нужную минуту не могли сыскать. Владимир Ильич поэтому пригласил Калинина, который собирался выезжать с агитпоездом «Октябрьская революция» на Южный фронт и знал многое.

Некоторое время говорили о предстоящей поездке, затем Владимир Ильич подал оба телеграфных донесения собеседнику в руки и как бы затаился в позе любопытствующего, ожидая впечатлений от Всесоюзного старосты. Калинин читал медленно, вдумываясь в смысл, прикидывая что-то, но не спешил с ответом.

— Сравните даты отправки, — подсказал Ленин.

— Так ничего удивительного! — блеснул очками Калинин, откладывая на край стола военные сводки. — Там битва шла целую неделю, с переменным успехом, «весы» качались довольно резко, так что заранее никто бы не мог предсказать подобный конец: противник уничтожен, вся артиллерия его завязла в плавнях и теперь ее вытаскивают на сухое место. Этот Миронов... просто невероятный командир, оказывается! Фрунзе его представил к награде, говорят.

— Да. Его и Авксентьевского. У вас откуда сведения? — спросил Ленин, имея в виду подробности боев, сообщенные Калининым.

— Макаров, казачий наш комиссар, только вчера говорил с кем-то из Харькова и сразу же рассказал мне, — сказал Калинин. — Там все смеются, между прочим: такой тактический ход выдумал Миронов!

— Смеются — это хорошо, — кивнул Владимир Ильич с усмешкой. — До последних дней в Харькове все ходили грустные... И от их реляций все больше плакать хотелось... Так что же Макаров рассказывает? Кстати, не пригласить ли его к нам, если сведения у него из первых рук?

— Владимир Ильич, я его беру с собой комиссаром поезда, так что сейчас вряд ли мы его сыщем. Много всяких мелочей перед отправкой.

— Хорошо. Слушаю вас.

— Смеялся Макаров оттого, что прием психологического воздействия Миронов применил старый и, говоря прямо, банальный, который, по зрелом размышлении ума, никак не мог вроде бы привести к желаемому эффекту. Но, как видим, все получилось наперекор здравому смыслу... Говорят, еще во время русско-турецкой кампании один казачий генерал — кажется, Лошкарев! Да, точно так Макаров назвал: Лошкарев! — придумал такой маневр. Первым подойдя к исходным под Плевной и не обнаружив пехоты генерала Гурко, которая запаздывала, применил то же самое. Ложную демонстрацию войск... Момент упускать нельзя было, следовало с ходу атаковать турок, поэтому этот Лошкарев и должен был изобразить подход к крепости несметного войска...

— И каким же образом... он? — явно заинтересовался Ленин.

— Несколько казачьих полков пущены были через вершину горы, в виду неприятеля. Затем они же незаметно возвращались у подножия той горы и вновь всходили на вершину. Со знаменами и пиками. Получалось зрительно, со стороны оборонявшихся, что силы подошли несметные. Турки упали духом и сдали крепость.

— Великолепно! Надо это хорошенько продумать и запомнить! — засмеялся Владимир Ильич и от удовольствия даже потер ладонями. — И напрасно вы считаете, что у Миронова был риск в повторении приема! Недаром говорят, что за новое у нас часто принимают хорошо забытое старое. Не так ли?

— Для белой конницы все эти приемы, все эти выкрутасы фантазии не новы, вот в чем вопрос, — объяснил Калинин. — Миронову все сошло с рук по той причине, что он прекрасно учитывал фокус момента, фактор времени! В этом все дело! У Врангеля даже в приказе особо указывалось: уничтожить 2-ю Конную немедля, до подхода основных красных сил, в первую очередь Конной Буденного! Они и ждали с опаской, разумеется, этих главных сил! Боялись, спешили! В этом секрет.

— Великолепно! И — архиинтересно, Михаил Иванович! — снова засмеялся Ленин. — Надо хорошенько прославить этот подвиг Южного фронта в нашей печати и, конечно, оперативно, быстро наградить особо отличившихся. В первую очередь и командарма 2-й Конной. Предстоят новые бои на

[1] Фрунзе М. В. Избр. произв., с. 375.

полное уничтожение Врангеля, надо поднять дух кавалерии.

Ленин положил телеграфные донесения в папку и продолжил мысль:

— Фрунзе так и считает: Конную Буденного, с ее подходом, поставить в тылы Врангеля, от перешейков, чтобы взять всю армию белых в кольцо и уничтожить. Чтобы не пришлось брать крымские перешейки с бою... Расчет великолепный, если, разумеется, успеет подойти Буденный. Он еще в пути, где-то между Бердичевом и Бирославом.

Оба посмотрели на карту, оценили расстояния, затем Калинин сказал:

— Награды я буду вручать сам, в этой поездке. Чтобы не возникло какой-либо заминки... как в прошлый раз с Мироновым. Он ведь уже награждался однажды, но, по-видимому, даже не знает об этом.

— То есть? О чем не знает? — правая бровь Ленина поднялась и замерла в удивлении.

— Недавно обнаружилось, что один из первых орденов Красного Знамени, третий по порядку присуждения, предназначался Миронову, но своевременнно не был вручен из-за путаницы. Пропустили фамилию Миронова.

— Как же это? Свердлов наградил человека без фамилии?

— Сказано было: «...командира Усть-Медведицкой красной бригады товарища Филиппа Кузьмича...» И все. Девицы в секретариате у нас все больше француженки, Владимир Ильич, приняли отчество за фамилию, как видно...

— Именно. У нас это случается нередко, к сожалению! — нахмурился Ленин. — Это, представьте себе, вопиющее безобразие! И что же, орден так и не был вручен?

— Конечно. И досадно то, что орден-то в высшей степени заслуженный! Бригада Миронова тогда охраняла протяженный участок железной дороги под Царицыном, там шли эшелоны с хлебом для Москвы и Петрограда.

— Вопиющее безобразие, — повторил Ленин.

Калинин поднялся и сказал, отходя к двери:

— Человек он, как видно, не обидчивый, делу служит, а не самолюбию. К орденам уже у него своеобразное отношение; Макаров сказал, что у него было восемь царских боевых орденов за храбрость и тактический ум.

— Восемь? — поднял голову Ленин с некоторым изумлением. — И такой офицер не раздумывая пошел в революцию?.. А вы, Михаил Иванович, между прочим, воздержались на политбюро, когда мы решали его судьбу после Саранского недоразумения. Так, кажется?

Калинин хитро сощурился, не отнимая руки от двери.

— Наверное, меня тогда не так поняли, Владимир Ильич. Я воздержался, полагая, что этого казака следует направить на военную работу, на более высокую должность, тогда как вы настаивали на другом. Я не мог упорствовать, тогда голоса разделились бы поровну. Да было и не совсем удобно поддерживать «левую» сторону...

— Ах так! Ну, спасибо, — засмеялся Ленин. — Но представьте себе, что именно в тот момент Миронова никак нельзя было возвращать под начало предреввоенсовета, мы бы могли его попросту потерять. Пришлось тоже сделать этакий тактический ход...

— Теперь я в этом разобрался, — сказал Калинин.

— Счастливого вам пути, Михаил Иванович! И передайте от меня, пожалуйста, личный привет героям-конникам Миронова и, разумеется, самому Фрунзе. Теперь я верю в большой и скорый успех на Юге!

...Приезд Калинина на фронт для командарма Миронова явился в некотором роде спасением, ввиду назревавших осложнений со штабом фронта, попыткой его уклониться от выполнения боевого приказа.

Уж так не хотелось Миронову выполнять «сломя голову» директиву о форсировании Днепра н е м е д л е н н о, «на плечах отступавших войск противника», прямо по захваченному у Никополя понтонному мосту! Не хотелось по многим причинам, из которых главной была — усталость и истощенность армии после тяжелых рубок. Понтон под Никополем был порван в трех местах, середину вылавливали ниже по течению, следовало наводить переправу заново, и эта переправа сразу же стала пристрельной точкой для белой артиллерии. Ни специальных команд для наведения другой, новой переправы, ни подходящего инженерного имущества для этого в хозяйстве конармии пока не было. Вплавь же глубокой осенью Днепр взять нельзя...

Сам Миронов считал, что под Никополем стоило лишь демонстрировать попытки переправы малыми силами, чтобы в ином, неожиданном для Врангеля, месте перебросить мост. Уже разосланы были разведчики и местные жители вниз по Днепру, чтобы найти брод, подходящее место. Но кроме всего прочего, был еще один тайный довод в пользу некоторого промедления, который Миронов не мог высказать открыто никому, таил про себя. Довод этот заключался в том, что не стоило вообще теперь класть людей и лошадей под прямой наводкой чужих пушек, на шаткой переправе, до выхода конницы Буденного в тыл Врангеля. Ведь совершенно ясно: как только Буденный «опечатает» перешейки Крыма (переправившись, кстати говоря, совершенно беспрепятственно у Каховки), так вся масса белых бросится без боя от Днепра к югу, к Сальково и Чонгару, и только тогда-то 2-я Конная мигом должна быть на левом берегу, «на плечах отступающего противника». Тогда! А сейчас надо готовиться, искать мели, броды, чтобы после гнать плоты и лодки на шестах, крепить понтоны. Горячность тут ни к чему.

Но эти доводы никого не интересовали, победа под Шолоховом прямо кружила головы. Штаб фронта торопил, в оперативное подчинение Миронову теперь передавалась вся ударная группа Федь-

ко — 3-я и 46-я стрелковые дивизии и Отдельная кавбригада Кицука. Только вперед, только на ту сторону!

Вечером 19 октября Миронов говорил по прямому проводу с Фрунзе. Он доложил, что обнаружено очень удобное место около села Верхне-Тарасовского, с лесистым островом почти на середине реки, причем одна, правая протока глубокая, с протяженной дамбой, а левая — очень мелкая, фактически брод, не более полутора аршин глубиной, которую можно преодолевать без больших затруднений даже с артиллерией. Начаты-де уже подготовительные работы, там сосредоточена полностью 16-я кавдивизия...

— Я прошу отсрочить переправу, товарищ комфронта, хотя бы до 24 октября, — сказал Миронов. — Слишком ранний срок моей переправы по сравнению с днем общего наступления может поставить армию в весьма тяжелое положение. Противник, никем не отвлекаемый на других направлениях, свалится на нее всею тяжестью своих резервов и будет, конечно, трепать ее прежде времени по частям...

Было некоторое волнующее затишье на том конце провода: Фрунзе и сам не любил опрометчивых решений...

— Хорошо, — сказал он, — если потребуется отсрочка для окончания устройства переправ, то таковая может быть дана... — еще подумал, с паузой, и повторил сроки тяжелеющим от напряжения голосом, — но... отнюдь не позднее 24 октября. Имейте в виду, товарищ Миронов, что на вас и на вверенную вам армию возлагается целиком ответственность за успех всей операции.

Миронов вздохнул с облегчением: и это «хлеб»! За трое суток дивизия Волынского спокойно подновит дамбы, устроит мосты под Верхне-Тарасовским, дивизия Федько сосредоточится под Никополем, у старых переправ, и отвлечет на себя внимание противника... Белые должны там сосредоточиться крупными силами. И тогда-то 16-я Волынского бросится через водную преграду, форсированно зайдет с фланга и тыла и утопит всю вражью группировку на глазах красных пехотинцев Федько! Чтобы они, молодые бойцы, видели, как орудует на просторе 2-я Конная!

Главное теперь — достать побольше красной материи, каждому взводу и эскадрону идти с большим знаменем, потому что атаки в дальнейшем начнутся встречные, на рассечение и охват белой конницы, важно своих не порубить... Интенданты забегали, кинулись в Борислав, Александровск, оголили все столы в ревкомах, крытые кумачом, реквизировали частные лавки, кто-то уже выдвинул идею красить в кумачный цвет обыкновенные простыни...

Все же готовились к переправе на 24-е, хотя, по разумению Миронова, и это был преждевременный срок. И вдруг — как по мановению волшебной палочки — новый приказ: переправу временно, впредь до особого на то распоряжения, приостановить...

Везло Миронову в Таврии до чрезвычайности! Оказывается, приехал на фронт с агитпоездом сам Всероссийский староста, Михаил Иванович Калинин. Длинный состав классных вагонов на всех парах шумел по уныло-серой, вылинявшей степи меж Синельниковом, Александровском и Никополем, и здесь уже выстраивались для встречи сводные эскадроны и полки героев из 21-й Лысенко и 2-й Рожкова. Стояли при знаменах и духовом оркестре для приветствия красного президента и получения наград революции.

Да, везло в эти дни Миронову, как никогда. Буденновские кони уже ржали под Бориславом, сосредоточивались у Каховской переправы. Все складывалось счастливо, с удивительной целесообразностью, как будто он сам командовал всем ходом операции на Врангелевском фронте, от Мелитополя и Синельниково до Апостолово и Борислава...

Классные вагоны, обшарпанные и серые, расписаны и обляпаны яркими красками, разводами вьющихся знамен, зубцами шестеренок и колес, языками хищного пламени — так оформили художники агитпоезд. Во всю длину штабного вагона кричащая пляска неровных, прыгающих букв:

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ПОЖАР МИРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ

В этом вагоне прибывают Калинин и Макаров.

Встречают Макошин, Полуян и приехавший из Харькова товарищ Гусев. Миронов во главе конного строя, развернувшегося по перрону влево и вправо, замерших по команде «смирно» двух полков из дивизий Красной Рабоче-Крестьянской армии, над которыми витает навечно отвоеванная слава, ужас всесокрушающих атак...

Паровоз еще исходил одышкой и белым паром, как на подножках штабного вагона появился Всероссийский староста Калинин, небольшой человек с лукавым лицом и бородкой клинышком, в очках, за ним теснились Макаров, другие члены агитбригады. И в тот же миг взвились блестящие шашки конников, ахнуло хриплое, торжествующее «ура» в полтысячи глоток. Командарм отсалютовал клинком, соскочил молодо с высокого седла, вестовые подхватили чумбур и придержали коня. Два пальца — к правой брови, под обрез белой папахи. Рапорт Миронова:

— Товарищ председатель Центрального Исполнительного Комитета Советов! 2-я Конная армия приносит торжественный рапорт родной Советской Республике победой над ее врагами! Наглая вылазка барона Врангеля и всей мировой буржуазии в его лице отбита в Заднепровье и будет пресечена повсеместно! 2-я Конная ждет новых боевых приказов своего рабоче-крестьянского правительства!..

Потом говорил Калинин.

Вновь гремело «ура!», кони прядали ушами, просили повод как перед атакой. Миронов вскочил на коня, скомандовал перестроение. Начался парад.

К вечеру Калинин был в расположении 16-й кавдивизии, которой предстояло первой идти через

Днепр. Украинское село Верхне-Тарасовское встречало первого гражданина Республики, а с ним и прославленного командарма Красной Армии Миронова.

Снова был парад войск. Свежая дивизия, почти не принимавшая участия в недавних боях, выстроилась вдоль широкой улицы, на пологом скате, лицом к синему, похолодавшему Днепру. Солнце скатывалось к закату, в синей прохладе неба — чистота и простор. Над осенними туманами поймы с той стороны реки, за порыжелыми и частично уже облетевшими сквозными купами займища одиноко и призывно белела колоколенка полузаброшенного монастыря. От заходящего солнца меркло поблескивал в глазах конников серебряный крестик отвергнутой ими веры. И, показывая вздетой в руке шашкой на далекую колокольню, Миронов вновь кричал звучным, командирским голосом:

— Ваша дивизия, товарищи красноармейцы, еще не была в деле, не рубила головы вероломных и жестоких бандитов генерала Врангеля, вы стояли до времени в резерве... (Какой там «в резерве», просто неповоротливый и хитрый начдив Семен Волынский проволынил дважды, не поспел подойти ко времени, успевал лишь к развязке дела. Надо бы судить за это, да время не позволяет! И говорить об этом сейчас тоже не стоит...) Вы стояли в нашем секретном резерве, товарищи, но я уверен и глубоко убежден, что завтра вы не уроните чести героической 2-й Конной армии, первыми займете плацдарм на вражеском берегу, вон у того монастыря, что блестит так призывно за лесом! Не кто иной, как вы, героические и неудержимые всадники революции, возьмете Врангеля за горло, чтобы он отдал нам всю Таврию и весь Крым!

Калинин смотрел, щурясь, на далекую колокольню за Днепром, и на его лукавых глазах наворачивались слезы — от блеска солнца, от призывных речей Миронова, берущих за душу.

В Апостолово возвращались в автомобиле Калинина. Приходилось спешить, так как сам Фрунзе назначил на семь часов вечера в Апостолове Военный совет фронта. По-видимому, из уважения к успехам доблестной Конармии-2.

По пути Миронов пытался говорить с комиссаром ВЦИК Макаровым, но особенно разговор не связался из-за спешки: все с тревогой посматривали на часы и на закатывавшееся солнце, боясь опоздать к сроку.

Прибыли, конечно, вовремя, но оказалось, что опаздывал поезд, с которым ждали Фрунзе.

Войдя в приемную штаба, услышали в глубине комнат громкий и довольно-таки вольный для серьезного помещения гомон мужских голосов и даже отчаянный хохот, немало озадачивший прибывших.

Миронов с удивлением посмотрел на сопровождавшего его Полуяна и шагнул на гомон.

В большой комнате штаба сидели новый командарм-6 Корк, командарм-13 Уборевич, совсем юный начдив-46 Иван Федько, в углу, за круглым столом, топорщились усы командарма 1-й Конной Семена Буденного, а в самом центре, облокотясь, а точнее, развалясь у стола, восседал какой-то штатский товарищ внушительных размеров и потешал всех вольным рассказом... Бросились в глаза его круглая, начисто бритая голова и круглые, немного навыкате, глаза. Миронов кашлянул, расстегивая «разговоры» шинели, лапнув свежую розетку ордена.

Увидя Калинина, все разом поднялись. Толстый штатский гражданин первым шагнул навстречу и подал руку Михаилу Ивановичу.

— Ах, это вы, Ефим Алексеевич, оказывается, здесь собрали массовку? — усмехнулся Калинин, не очень охотно отдаваясь в объятия толстого человека. Высвободившись, обернулся к Миронову:

— Познакомьтесь, пожалуйста, Филипп Кузьмич... Поэт «Правды» и «Бедноты» наш Демьян Бедный!.. — и отрекомендовал с другой стороны командарма Миронова.

Ручища у Демьяна, как ощутил ее Миронов, была явно не интеллигентская, скорее бурлацкая, не стеснительная. Но уже отчасти и барская, ленивая, шашку такой рукой не удержишь... Старался Демьян показать силушку в захвате, но Миронов легко отобрал у него желание первенства, словно клещами захватив толстое запястье.

— Ого! — сказал Демьян, округлив глаза. — Есть силушка в жилушках, казак, есть!

— Новые стихи читали, что ли?.. — Калинин подходил к каждому из командиров, знакомился, пожимал руки. На каждого смотрели из-за очков лукавые, с прищуром глаза.

— Манифэст барона Врангэля! Уморил нас... — смеясь, сказал с небольшим прибалтийским акцентом Август Корк, недавно сменивший на посту командарма-6 Авксентьевского. — Товарищ Демьян само-лич-но доставил нам послание барона в переводе з немецкаго!

Интеллигентный юноша Уборевич, пряча смех, потупился, начал поправлять пружинку пенсне... Столь же юный Федько открыто улыбался во всю ширь скуластого лица, словно деревенский парняга на уличной потехе. Что выражало лицо Буденного, на отдалении нельзя было понять, но и он, кажется, с удовольствием бы посмеялся еще, подбивая согнутым указательным пальцем концы своих тяжелых усов.

— Так что же? Тогда и мы послушаем, если так интересно? — сказал Калинин, отходя к приготовленному для него креслу. — Почитаете, Ефим Алексеевич?

— Отчего же? Всегда го-тов! — сильно «окая», важничая без меры, согласился Демьян. И, выйдя на середину, стал в некой царственной позе, подняв правую десницу, похожий скорее на Цезаря, чем на Врангеля.

— Итак... «Манифест барона Врангеля»! Свежее, так сказать, создание авторской фантазии! Написано в штабе Южного фронта по листовкам и воззваниям как самого барона, так и его идейного вождя Кривошеина, боготворившего некогда царицу

Алису Гессенскую, подругу Гришки Распутина...

Они все, как известно, плохо говорили по-русски, картавили...

Читал Демьян громовым голосом и, надо сказать, с выражением:

Вам мой фамилий всем известный:
Ихь бин фон-Врангель, герр барон.
Я самый лючший, самый шестный
Есть кан-ди-дат на царский трон.

Послюшай, красные зольдатен:
Зашем ви бьетесь на меня?
Правительств мой — все демократен,
А не какой-нибудь звиня...

Миронов, до сей поры сохранявший невозмутимость, как хозяин помещения, в котором творилось нечто непонятное ему, покатился со смеху. За ним грохнули остальные... Ломаный язык почему-то потешал особенно Августа Корка, который сам грешил акцентом и неумелым обрывом окончаний некоторых русских слов. Что касается Вани Федько, то он просто обмирал от удивления и смеха перед столь замысловатым текстом Демьяна. Он дотянулся локтями до стола, распластался над краем, кожаная тужурка горбом взъехала ему на бритый затылок. Громко взрыкивал Семен Буденный, не умея сдержать внутренний смех. Только Уборевич усмехался с мягкой, застенчивой иронией и даже краснел отчего-то...

Демьян лоснился скуластым, самодовольным ликом, басил громче:

Часы с поломанной пружина —
Есть власть советский такова.
Какой рабочий от машина
Имеет умный голова?

Какой мужик, разлючный с полем,
Валяйт не будет дурака?
У них мозги с таким мозолем,
Как их мозолистый рука!

Новый взрыв хохота заглушил чтение. И сам Михаил Иванович Калинин как-то застенчиво и смущенно склонился лбом на растопыренные пальцы, пряча глаза. Плечи его мелко тряслись, всклокоченные, вьющиеся волосы прыгали, словно в давней, молодой пляске.

Миронов жевал и проглатывал смех, у него болело, подрезало в скулах. Он разом примирился с этим громоздким, давящим, отчасти самодовольным человеком в своем штабе. Вот он какой, Демьян, вон какая у него российская душа! И никто не сочинит за него подобного «манифеста», никто!

Ви должен верить мне, барону,
Мой слово — твердый есть скала.
Мейн копф ждет царскую корону,
Двуглавый адлер — мой орла!
И я
скажу всему канальству:
«Мейн фольк, не надо грабежи!
Слюжите старому начальству,
Вложите в ножницы ножи!»

Еще были там другие слова, про «святую Руслянд» и белого коня («пферд») у стен Кремля, но никто уже не мог ничего усвоить нового, всех обезоружили окончательно эти ножны-ножницы... Все дружно и едино хохотали, вытирали слезы, и Калинин вовсе уже обессиленно и как-то безвольно отмахивался ладонью: «А ну вас, Ефим Алексеевич, право!..»

Удивительное дело — сам Демьян был невозмутим. То ли привык к своему тексту, вжился в образ барона, то ли выручал артистизм натуры, крепкий мужицкий придумок.

Отсмеялись, отблагодарили, Миронов позвал всех в боковую комнату, к самовару. И тут Демьян Бедный признался, что у него почти готово еще одно стихотворение, уже совсем другого смысла, — почти ода! — посвященное как раз мироновским конникам. Но читать рано, потому что стихотворение еще «сырое», «не созрело», как он сказал.

Миронов, конечно, насторожился: не дай бог попасть на острое перо и столько же острый язык баснописца! — но все приступили с настойчивой просьбой прочесть оду. Демьян достал из внутреннего кармана тужурки смятые листики бумаги, шутил:

— Прямо горячее, с пылу, с жару, не обессудьте!.. До блеску еще далеко, один кураж, но закваска уже есть. Вот, значит — экспромтом, в штабе 2-й Конной...

Стихи, по правде сказать, были еще корявые:

По фронтам по всем кочуя,
Насмотрелся я чудес.
Вот и нынче к вам качу я —
Еду, еду, что за бес,
Где же Конная Вторая?
Впереди да впереди!
«Мне ее, — вздыхал вчера я, —
Не догнать, того гляди!»

Трух да трух моя кобыла —
Кляча, дуй ее горой!
Доскакал я все ж до тыла
Конной армии Второй...

Тут поэт сделал гримасу, разведя руками: дескать, какой-то перерыв здесь должен быть, пауза, целое четверостишие, но его пока нет... А дальше уже написано и зачищено:

Целый табор у костров,
Разомлел я, будь здоров!
Спал. И все казак Миронов
Мне мерещился во сне:
Вздев на пику трех баронов,
Он их жарит на огне!

В конце было и вовсе неловкое четверостишие: загорелась, оказывается, у поэта шинель от костра, бойцы разбудили, смеялись, желали, чтобы скорее от Врангеля «осталась одна зола...». Но все одобрили стихотворение, оно все-таки очень подходило к моменту, всеобщему подъему в рядах армии. Михаил Иванович Калинин порекомендовал читать стихи в красноармейских клубах и на митингах, которые предстоят на пути агитпоезда.

Чаепитие продолжалось. Только поздней ночью прогудел маневровый на станции и оттуда позвонили, что прибыл поезд командующего.

Совещание отложили на завтра, 26 октября. А в полночь прибыл на совещание с громкими песнями конвоя еще один участник — помощник командующего повстанческой армией полубатька Каретник. Сам Махно, подписавший все-таки Старобельское соглашение с красными, не приехал, сказался больным. От общеизвестной двуединой заповеди его «Бей красного, пока побелеет, лупи белого, пока покраснеет!» теперь, по-видимому, оставалась в силе только вторая половина анархической идеи. До времени, разумеется. Закрашивались и задки тачанок с надписью «Не догонишь!» в пользу обновляемых передков с кличем «Не уйдешь!».

Фрунзе наутро решил передать все махновское воинство в оперативное подчинение Миронову...

ДОКУМЕНТЫ

Крым. Из штаба ген. Врангеля
Газета «Великая Россия», № 155

Настойчивые переправы через Днепр в разных местах и сравнительно пассивное положение красных на северо-восточном фланге определенно указывают на сосредоточение крупных сил красных на правом берегу Днепра, почему днепровский фронт снова приобретает первенствующее значение в предстоящих боях. Этим в некоторой степени можно объяснить и оставление нашими войсками г. Александровска 10—13 октября (ст. стиля). При оставлении г. Александровска нами красные не только не оказали давления, но, по сведениям наших летчиков, летавших вчера в 17 часов над Александровском, красные, опасаясь попасть в мешок, еще не занимали города.

Положение по всему фронту устойчивое. Два наших бронепоезда произвели налет в ночь на 7 (20-е) октября на ст. Синельниково, где рассеяли своим огнем пехоту красных и захватили 89 пленных. Бронепоезда красных, не приняв боя, ушли на Павлоград...

ВОЗЗВАНИЕ

Реввоенсовета 2-й Конной Красной армии к солдатам генерала Врангеля

В боях 30 сентября и 1 октября (13—14 октября н. ст.) у сел Шолохово, Грушевка и Марьинское 2-я Конная красная армия нанесла сокрушительный удар конному корпусу ваших генералов Барбовича, Бабиева, Наумова и др., причем генералу Бабиеву, этому «черту в красных штанах», как его звали в царской армии, свернули голову.

Из опроса пленных солдат и офицеров выясняется, что младший командный состав не прочь сложить оружие, но... боится расстрела, самосуда. <...>

Сейчас в помещении Реввоенсовета повешено отбитое в этих боях черное знамя генерала Шкуро с волчьей головой и надписью: «Вперед, за великую, единую Россию!» Другой эмблемы, как волчья головa, для характеристики генеральской души трудно и придумать. Хищник-волк равноценен хищнику-генералу. Им кровь нужна.

И льется эта кровь трудящихся крестьян, казаков и рабочих вот уже три года во имя хищников-капиталистов, хищников-генералов.

ОФИЦЕРЫ, КАЗАКИ, СОЛДАТЫ Врангеля! ДОВОЛЬНО КРОВИ!

ОПОМНИТЕСЬ И ВЕРНИТЕСЬ В СЕМЬЮ ТРУДЯЩИХСЯ МАСС!

Как ни тяжело сознание огромного зла, причиненного вами русскому трудящемуся люду, он найдет в себе великодушие и простит ваше заблуждение.

От лица Рабоче-Крестьянской Республики Реввоенсовет 2-й Конной армии призывает вас сложить оружие, прекратить безнадежную для вас борьбу, в которой вы отдаете свои молодые жизни за чуждые вам интересы.

РЕВВОЕНСОВЕТ ТОРЖЕСТВЕННО ОБЕЩАЕТ СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ всем сдавшимся и искренне раскаявшимся офицерам, казакам и солдатам.

Казаки и солдаты, обманутые братья наши, одумайтесь, опомнитесь! Не «великая, единая Россия» генералов Врангеля, Шатилова, Абросимова, Барбовича, Наумова, Богаевского и др., зовет вас великая Россия рабочих и крестьян, Россия трудящихся кричит: «Дети, вернитесь домой!»

Помните, что Врангель, сидя в Севастополе, уже поглядывает на английский пароход, чтобы удрать за пределы «великой, единой России». Куда поедете и побежите вы?!

Последний раз обращаемся к вам с призывом: СЛОЖИТЕ ОРУЖИЕ!

Иначе карающий меч рабочих и крестьян обрушится всей своей тяжестью на ваши головы.

СЛОЖИТЕ ОРУЖИЕ!

Командующий 2-й Конной армией
казак Усть-Медведицкой станицы *Миронов.*
Члены Реввоенсовета *К. Макошин* и *Д. Полуян.*
Пом. командарма
казак-калмык Платовской станицы *Городовиков*[1].
Октябрь 1920 года

11

Едва пропела труба горниста над селом Покровским, где располагались основные части 21-й кавдивизии, кубанский казачок Юхненко с охотниками-дружками из третьего взвода (набралось желающих 12 человек) столкнули легкие баркасы-плоскодонки с правого берега и под покровом сумерек и спокойного, умиротворенного настроения по всему фронту благополучно выбросились на противоположную песчаную отмель, подняв затем стрельбу и переполох. Сняли заставу белых из тринадцати нерадивых пластунов и вернулись восвояси...

---

[1] Архив историка Д. С. Бабичева: Фотокопия.

На другую ночь собралось охотников сорок человек: Миронов велел начдивам приучать бойцов к инициативе, добровольности. Переправились в другом месте на лодках и плотах, с лошадьми. На берег вышли аккуратно, тихо, затем оседлали коней, сделали налет на Большую Знаменку и, переполошив гарнизон, вырубили на церковной площади до сотни не проспавшихся солдат, а двух офицеров Корниловского полка захватили с собой.

В эту же ночь 46-я стрелковая дивизия Ивана Федько бросилась через Днепр у Никополя, используя, кроме понтонной переправы, подручные средства: челноки, плоты, баркасы. Одновременно 16-я кавалерийская к рассвету 26 октября без особых помех скрытно перебралась на левый берег у Верхне-Тарасовского и сразу же, разбираясь в эскадроны, ударила на село Балки, потеснив части Марковской дивизии белых. Закипел жесточайший бой по всей днепровской излучине на сотни верст фронта. Напор Миронова был жесток и неудержим, в первые же часы под шашками красных лег целиком 12-й Донской пеший полк, офицеры которого помешали солдатам и казакам вовремя выкинуть белый флаг...

Начальник Марковской, генерал Третьяков, которому поручалась охрана всего речного рубежа, покончил с собой.

Близились главные бои. В ночь на 29 октября над всем левобережьем неожиданно разгулялась непогода, закружили снежные бураны. Снег укрыл дороги и тропы, засыпал овражки, окопы, воронки от снарядов и мин. Застаревшие от засухи бурьяны на взлобках холмов и суходольных скатов приоделись в серые, льдистые жемчуга, тихо позванивали на ветру. Пала ранняя стужа.

Плохо одетая армия, в изношенной разбитой обувке, коченела в окопчиках и секретах, конные эскадроны укрывались в редких селах и зимовниках, им было легче...

...Письмо Врангеля было доставлено в Никополь, лично командующему армией. Миронов пробежал глазами первые строки и позвал Макошина. Сказал, жуя от великого возмущения правый ус, что делал лишь в минуты самые жестокие и нелепые.

— Вот, Константин Алексеевич, восчувствуйте! Ну, никакими средствами не брезгуют, подлецы! Надо бы еще Полуяна позвать: он свидетель, что и генерал Краснов также вот подкапывался под Миронова... Надо немедленно переправить в Особый отдел, чтобы никаких кривотолков.

Письмо было короткое, адресовалось лично Миронову. Макошин, брезгливо оттопырив губу, прочел:

Крым. Ставка Верховного Главнокомандующего
За великую, неделимую Россию!
Командующему 2-й Конной Красной армией Ф. К. Миронову

Войсковой старшина Миронов!

Как и в прошлую военную кампанию 1918—1919 годов на Дону, именно Вы являетесь ныне главным камнем преткновения на великом крестном пути русских армий к главному большевистско-еврейскому гнезду — Москве, к желанному возмездию и победе.

Вы, Миронов, в простоте душевной искренне разделили всеобщее заблуждение так называемой «мыслящей интеллигенции» России о благотворности революции и всяческих свобод для темного народа. Вы имели достаточно времени и опыта, чтобы понять, какая бездна русскому народу уготована международным альянсом Интернационала. Но по их же поговорке: есть время разбрасывать камни и есть время их собирать — одумайтесь! Сердце русское отходчиво: все мы ходили с красными бантами после крушения монархии и теперь вкушаем заслуженные плоды. Не будем злопамятны!

Ваше место, Миронов, в рядах истинных патриотов, в рядах белой армии. Чин генерал-лейтенанта и командующего Русской армией — за Вами, если вы искренне раскаетесь и вернетесь в стан патриотов.

В случае Вашего согласия прошу направить Вашу армию в район Херсона — Николаева, разгромить части 6-й советской армии и войти в непосредственную связь с Русской армией.

Барон *Петр Врангель.*

Макошин прочел текст дважды, поморщился, сказал со странным удушьем в горле:

— Прекрасная бумага, почти что гербовая и, помоему, даже пахнет мужским одеколоном... Любовное письмо для нашей контрразведки! Может быть, прямо выбросим его в печку, чтобы без лишних разговоров?

— Зачем? — нахмурился Миронов. — Любопытных станет еще больше! Надо передать Полуяну, пусть свяжется с особым отделом фронта. Это же черт знает что такое! «Петр Врангель! Ваш кровный брат!» Когда охаживают его в хвост и в гриву! Но... между прочим, сейчас меня тревожит другое: нежелательные перемещения в командном составе Донского корпуса.

— Генерал Говоров вас беспокоит, Филипп Кузьмич?

Макошин, как и Миронов, знал, что за поражение под Никополем Врангель отстранил от должности командующего 2-й армией генерала Драценко и поставил на его место педантичного старика Абрамова. Донским корпусом теперь командует бывший начштаба молодой генерал Говоров...

Миронов сказал, медленно вытягивая из себя слова:

— Нет, Константин Алексеевич, насчет Говорова пусть никто не обольщается: лизоблюд, стратег из поповичей, дрянь! С такими воевать нетрудно... Но вот на его место, начальником штаба корпуса, теперь волею судьбы выдвинут из низов генерал Тарарин, вот этого я и боюсь! Знаю еще с русско-японской... Непременно задаст нам задачку, прекрасный был офицер! Если еще не съела крымская ржа... Во всяком случае, ушки надо держать востро! А письмо Врангеля передайте через Полуяна по назначению, прошу вас...

На левом берегу у Днепра Врангель активизировал действия войск, надеясь вернуть инициативу в свои руки.

Донской корпус белых обрушился на 16-ю кавдивизию, державшую стык с 13-й армией. Удар не был неожиданным — разведка Блиновской дивизии своевременно перехватила приказ генерала Говорова о предстоящем наступлении, но меры противодействия, принятые командованием 2-й Конной, оказались явно недостаточными. В 16 часов 30 минут 29 октября командующий группой на этом участке Иван Федько доносил спешно:

«16-я кавдивизия не выдержала натиска трех дивизий противника, отступает из района Орлянка — М. Белозерка. Противник, развивая наступление, занял Балки, распространяется в направлении Днепровки. Наши 23-й и 24-й полки захвачены в плен. 22-й полк с артиллерией отошел на север и занял позицию севернее с. Балки. Части 3-й дивизии приводятся в порядок... № 4209».

Получив такое донесение, Миронов с Макошиным спешно выехали из Никополя в район Днепровки — Белозерки, чтобы лично направлять действия отступающих частей. Грязь в пойме была невылазная, перемешанная со снегом. За переправой автомобили забуксовали, в наступившей темноте Миронов погнал во все стороны вестовых, ночь прошла в полной неразберихе, с чертыханием и матом всадников и храпом усталых коней. Тащили одну из машин конной тягой, ее кидало в размытых колеях, свет фар плясал на замызганных конских крупах, грязно-пегой от разбитого снега дорожной полосе.

— Положение, прямо сказать, незавидное, — гудел всегда спокойный Макошин. Он курил здоровенную солдатскую цигарку и брызгал искрами.

— Да. Удар Тарарина, — сказал Миронов. — Кое-что успели ему противопоставить, но, как видим, маловато... Надо бы до рассвета выбраться.

Помолчали. Оба хорошо знали, что никакого настоящего плацдарма за Днепром, с укреплениями, проволокой, волчьими ямами, у них не было. Была спешка, и она-то теперь могла обернуться роковыми последствиями.

— Видимо, Буденный замешкался на переправах, — сказал Макошин в раздумье. — Или идет слишком скрыто от противника. Врангель и Абрамов занялись исключительно нами...

Перед рассветом в сплошном тумане выбрались к селу Днепровка. Наскоро развернули полевой штаб, сюда и начали поступать обрывочные и разноречивые сведения от Федько, Волынского и Лысенко. 2-я Блиновская молчала, словно провалилась в эту мокрую снеговую хлябь.

Миронова стало покидать спокойствие и самообладание, каким он обычно отличался в сложной боевой обстановке.

— Что пишет, что пишет, гимназист сопливый! — закричал он, потрясая донесением начдива-16 Волынского. — Вот... «Сообщаю о переходе на сторону противника двух полков 3-й стрелковой дивизии и своем вынужденном отходе по этой причине в западном направлении...» Вы слышите, Константин Алексеевич? Сам «отходил» в аллюре «три креста», небо с овчинку показалось, оттого и пехотинцев в обиду дал! А? Срочно начальника связи! Где начальник связи?

Разошелся командарм как-то даже и нехорошо. Кричал на связиста, пугая трибуналом:

— Чтобы через два часа — от силы! — связь с Блиновской была! Лично!

Адъютанты, что называется, рыли землю, но от этого было не легче.

Туман стал рассеиваться, но с ним рассеивались и надежды на благополучный выход из положения. Противник всюду забирал инициативу. Грязь, холод, ненастье, удар в челюсть, от которого откидывается в полусознании голова и летят искры из глаз... Ну, погоди, бывший полчанин и бывший сотник Тарарин, с которым игрывали в подкидного по вечерам в молодые годы! Погоди...

— Где же все-таки Блиновская, ч-черт возьми?!

Прибежал ординарец Соколов, сказал, немея от взгляда Миронова:

— Товарищ командарм, начальник связи... застрелился!

— Что-о?

Миронов осекся, плечи сразу опали, нервными пальцами сжал нижнюю челюсть. Этого еще не было у него за всю службу — паники!

— Черт бы их... слабонервных... А? — Макошин молчал, в глазах его Миронов не мог отыскать сочувствия. Сказал тихо, будто оправдываясь: — Попросите Погребова с оперативным отделом. Надо же искать 2-ю дивизию с Рожковым. И где Лысенко? Отменить прошлый приказ, дать совсем иную задачу, по обстановке. Немедленно!

Отлично, спокойно, как всегда, работал штабист для особых поручений при командарме бывший окопный офицер Качалов. Всегда так получалось, что у него и связных достаточно, и сметка есть и хладнокровие. Выходы ищет и находит с необходимой быстротой.

— Лысенко приказ получил, занимает позиции твердо, товарищ командарм. С этой стороны угрозы не предвидится.

— Что с Блиновской?

— Пока неясно...

Только через два часа стало известно о трагедии в штабе Блиновской. На рассвете прямо во дворе штаба, когда собирались выезжать к войскам, убиты разрывом тяжелого снаряда начдив-2 Рожков и начальник штаба Берендс. Ранен начальник политотдела Друян.

Дивизия отошла под натиском превосходящих сил в полном порядке, готовится вернуть Большую Белозерку...

Рожков, начдив-2, молодой коммунар, 26 лет, почти мальчик... — что о нем знал Миронов? Только то, что он уроженец Калужской губернии, питерский мастеровой, бывший комиссар 5-го заамурского полка?

И все? Заамурцы рассказывали о нем: «Такой плохонький был, одежа помятая, сапоги нечищены, самый неказистый из пулеметчиков. А как пришла революция — другой стал. Опрятный, подтянутый, во всем — образец, выбирать его всюду стали...»

Нет, пожалуй, знал Миронов о нем совсем немало, очень чутком и очень ровном, очень порядочном юноше с серьезным, редко улыбающимся лицом. Это он, Рожков, когда-то воспротивился безрассудному рейду конницы в тылы Врангеля под началом Жлобы и был за то отстранен от должности. Но когда трагедия свершилась, когда корпус погиб, а родная Блиновская выскользнула из огненного кольца полумертвая, но сохранившая себя, единая прежним воспитанием, зализывающая раны, тогда Рожкова снова вернули в дивизию, исправили дорого стоившую ошибку...

Потом еще — в бою под Грушевкой, когда успех решали минуты и Миронов сам пошел в атаку с последним резервом заамурцев. Рожков не дал тогда командарму вырваться вперед. С возгласом «Командарм близко, с нами!» он кинулся в рубку с азартом мальчика, и тогда судьба сберегла ему жизнь. Оставалось еще у него две недели до разрыва этого проклятого снаряда во дворе штаба...

Еще одна потеря дорогой жизни, еще одна зарубка на сердце.

Как живой представился начдив Рожков — на параде, когда Калинин вручал награды. Подошел Иван Андреевич Рожков, получил из рук в руки орден Красного Знамени, молча, сомкнув губы, посмотрел на Калинина и сконфуженно сунул орден в карман. Не подозревая совсем, что он герой, достойный этой награды.

Миронов вытер глаза носовым платком, не скрываясь, вызвал порученца своего Качалова.

— Пожалуйста, Владимир Яковлевич, поезжайте к блиновцам, примите командование. Бой там тяжелый, но имейте в виду все же, что на подходе к вам Лысенко. Я с 16-й пока здесь повожусь... Счастливо, Владимир Яковлевич.

Подвижный здоровила Качалов, умница, в заломленной по-кавалерийски черной папахе, откозырял и тут же исчез с вестовыми и связистами штаба.

— Ничего, ничего, генерал Тарарин, скоро у тебя снаряды кончатся. По такой хляби тяжело их подвозить. Тогда уж и мы заиграем артподготовку... Ничего, туман как будто падает в лощины, скоро оглядимся! — подогревая себя несвойственным, легкомысленным задором Миронов. Кончались, по-видимому, нервные силы.

Вслед за первым, обнадеживающим донесением от Качалова из Блиновской («Противник отброшен, Большая Белозерка вновь за нами...») доставили из тыла огорчение: «Вероятно, в верховьях Днепра прошли дожди, тонкий лед поломало, по реке идут мелкие льдины и шуга, переправы сорваны!»

В том, что переправы сорваны, таилась большая беда. Бо́льшая, чем могли предполагать в штабе... Противник не должен об этом знать, иначе катастрофа неизбежна. Наверняка прервется поступление снарядов и прочего боезапаса!

Ну, что скажешь, командарм Миронов, куда подевалась боевая выучка твоих эскадронов, куда запропали полтора месяца учений и боев, почему от крепкого удара все посыпалось на глазах, рушится вдрызг, затаптывается в грязь? А?

Потому что — война. Потому что боевое счастье изменчиво, на твою выдумку и твой риск существуют сотни неведомых ответов, есть иные головы в стане врага, которые тоже умеют думать и решать...

Надо продержаться. Не может от одного крепкого удара рассыпаться армия Миронова, должен быть перелом.

Перелома еще нет, зато налажена связь со своим армейским штабом и штабом фронта...

Сведения с позиций: 21-я Михаила Лысенко вышла в тыл генералу Говорову, сбила встречную лаву, поворачивает противника вспять, с Качаловым у него прочная связь. И на том спасибо... Можно наконец вздохнуть спокойно. Сражение медленно и верно возвращается «на круги своя», инициативу снова берем в свои руки.

Командарм видел разъяренную конную массу блиновцев, идущих по взбитому, грязному снегу южнее Белозерки в жуткую, неудержимую рубку — напролом, на уничтожение, за смерть любимого начдива Рожкова...

Но еще рано говорить о переломе: здесь, поблизости, бьют и мотают 16-ю дивизию как бы в отместку за то, что именно она, неудачливая в прошлом, неповоротливая и вялая, первой форсировала Днепр и вышла в неприятельские тылы.

Еще рано успокаиваться, надо выручать неудачливого начдива Волынского...

— Правда ли, что Миронов разбит и будто бы повстанческая дивизия Махно предательски ударила по его тылам? Тут у нас все с ног сбились, целые сутки не было связи!..

— Какая чушь, господи прости! Я привезла докладную Миронова, ничего подобного там не было и не могло быть. Я только что из дивизии Махно! Впрочем, самого батьку не пришлось видеть, командует пока его помощник Каретник. — Старикова, «бой-баба» из политотдела армии, смотрела на штабных девиц, не нюхавших пороха, почти с презрением. Опять они муссируют всякие небылицы про Миронова, про измену во 2-й Конной, им хочется «остренького», «небывалого», «душещипательного» и обязательно с кровицей, чтобы рассказывать с придыханием и восторгом! Черти из благородного салона!

Армия Миронова отбивается с большими потерями, скрывать нечего, но у нее, Стариковой, была цель отнюдь не штабная, в стратегию ей незачем влазить, она инструктор политотдела, а к Махно ездила вообще едва ли не по собственной инициативе. Надо было развязать кое-какие узлы прошлого, выяснить подробности расправы над коммунистами в штабе махновской армии в декабре прошлого года, когда армия состояла в союзе с красными против Дени-

кина. Между прочим, как раз в тот момент, в ночь «святого Варфоломея», Аврам Гуманист был там, на политической работе, но как-то уцелел, спасся, увильнул из-под неусыпных глаз Левы Задова и Мишки Левчика, садистов и гадов, и до сих пор молчит, как воды в рот набрал... Руки у него дрожат, глаза бегают, как у мелкого жулика, но рассказать членораздельно ничего не может. Пришлось ехать к махновцам, но там разве что узнаешь?

Штабные девушки липли к Таисии Ивановне, искали сенсационных сведений, но ей-то было не до них, спешила сразу в отдел, к самому начальнику со странной фамилией Попок...

Вообще говоря, вся эта история прошлогодняя почти не прояснилась, надо было через начальника нажимать на Аврама, пусть наконец все расскажет и объяснит!

Махно, он ведь никогда не входил в блок с белогвардейцами. Воевал все больше на два фронта либо примыкал к нашим силам. В конце восемнадцатого года громил петлюровцев под Екатеринославом, и большевики даже назначали его главкомом района. В январе девятнадцатого, например, силы махновской армии доходили до 30 тысяч штыков и сабель, и он воевал с Деникиным в составе 7-й Украинской советской дивизии. Потом дело осложнилось. Анархическая конфедерация «Набат» направила к Махно своих эмиссаров Иосифа Гутмана, Макса Черного и Аршинова-Марина, которые и убедили Нестора Ивановича, что пора переходить к безвластию... На помощь им явился из центра анархист Волин-Эйхенбаум, именно тогда Махно ушел с поста комбрига Красной Армии. А дальше начался бунт, расстрелы. Мишка Левчик, начальник махновской контрразведки, в одну ночь расстрелял начдива Полонского с женой и коммунистов штаба Азарова, Семенченко, Вайнера и Бродского. Гуманиста почему-то пощадили...

Некий «крючок» Старикова все же нашла в махновском штабе и, бережно храня его от посторонних, везла с собою. Дело в том, что Аврам, оказывается, был в бандитском застенке вместе с другими арестованными, а потом почему-то его **выпустили** на свободу. Именно, не «сумел бежать», не «скрылся в момент арестов», а вышел из тюремных ворот целым и невредимым! Это было новостью, и не только для одной Стариковой.

Старикова держалась воинственно. Она уже докладывала раньше о сомнительности политической репутации Аврама Гуманиста, ждала подробного следствия и разбирательства и на медлительность начальника политотдела отвечала необходимым партийным натиском: «До каких пор этот махновский туман будет застить нам глаза?!.»

— Товарищ Попок, я выяснила, что Аврам находился в застенке анархистов, чего мы раньше не знали. Выйти живым и невредимым из лап Мишки Левчика и Осипа Черного — это не простая случайность! Такое пятно на репутации члена партии немыслимо. Я требую, чтобы товарищ Аврам признался честно и разъяснил всю подоплеку своего освобождения...

Аврам позеленел от возмущения и, напрягшись, выдавил из самой гортани, обиженно:

— Товарищу Татьяне, — он почему-то упорно называл Таисию Татьяной, — я, по-видимому, ненавистен лично... Судя по ее пристрастности, было бы ей намного легче, если б меня растерзали эти одесские собаки!

— Нет! — живо откликнулась Старикова. — Мне было бы это хуже, товарищ Гуманист! Я тоже член партии, и твоя жизнь, как коммуниста, мне дорога и близка, тут говорить особо не приходится. Но жизнь твоя должна быть кристально чистой и отнюдь не замаранной! В этом наша с тобой правда, товарищ!

Они еще некоторое время препирались, и Яков Александрович Попок чувствовал всю прочность позиций под москвичкой Стариковой и очень сложное положение Аврама. Что там, в логове Махно, было? Почему других политработников расстреляли, а Гуманиста отпустили с миром? Как объяснить, да и достаточно ли будет словесных объяснений, когда возникает со всей очевидностью персональное дело?

От этой Таи Стариковой просто не избавиться, она с Красной Пресни, девчонкой еще носила патроны и харчи старшим, сражавшимся на баррикадах. Она к тому же больна чахоткой, это все знают, и она не щадит себя ни в бою, ни на работе... С другой стороны — Аврам тоже заслуженный человек, он с весны восемнадцатого года на ответственной работе, говорит, что в Ростове его сам чрезвычайный комиссар ЦК Орджоникидзе выдвинул в актив ревкома! Да и молод он, может еще поработать для общего дела...

Попок строго посмотрел на всклокоченного Гуманиста, на его обвисшие от обиды и безволия губы и обратился к Таисии:

— Старикова, я не понимаю твоей настойчивости именно в такой момент. Именно не понимаю твоего сиюминутного какого-то наскока! Кругом же бои, смерть вокруг нас ходит, а ты... Я уже приказал Авраму написать наиподробнейшее объяснение по поводу, каким образом он... ну и — так далее! Приказал! И ты напишешь, Аврам, не больше недели сроку тебе, запомни, — Попок мстительно кинул взгляд в сторону Гуманиста. — Но это не пожарное дело, Тая, это официальное разбирательство, тут горячка не нужна.

У Стариковой, как всегда, пылали запекшиеся губы, она облизывала их сухо и готовилась сказать излюбленное насчет кумовства и семейственности, мешающих принципиальному разбору дела, но Яков Александрович не дал ей говорить.

— Это не пожарное дело, Таисия Ивановна, еще и потому, что назавтра мы все обязаны выехать в части, на позиции! — Попок поднял голос: — Этого требует от нас Реввоенсовет армии, а Миронов так вообще возмущался, что штабы забиты людьми даже в самые тяжелые моменты боев! Старый его загибчик: выгонять весь политсостав в голову атаки! Но,

признаемся, что в данный момент такой приказ и справедлив, Врангель обнаглел совершенно, в частях наших большие потери! Так что готовьтесь, пожалуйста, на рассвете выезжаем в дивизии. Все.

Старикова застегнула на груди малиновые «разговоры» шинели, подняла колючий суконный ворот вокруг тонкой шеи и, мстительно глянув на обоих — начальника и инструктора, — умелась из комнаты.

Попок несколько минут молчал, потом поднял на Аврама выпуклые, усталые, с кровяными прожилками глаза:

— Ну?..

— Ну как я могу, Яков, что-то объяснять, когда сам не знаю, в чем там было дело, — развел руками Аврам. — Какая-то фантасмагория, честное слово! Этот фармазон с Молдаванки, Левчик, бил меня по лицу и хотел моей смерти — это безусловно...

— Ну? — повторил Попок, снижая в голосе недоверие и пристрастность.

— А потом приехал этот... Черняк-Черный! Ну, Осип... ихний теоретик! Перед самым расстрелом Азарова, Семенченко и других...

— Так, — поощрил Попок.

— А там, у них в делах, валялась моя записная книжка с адресами. Совершенно случайно! И вот этот Осип с Одессы вызывает меня на допрос и разворачивает книжечку и тычет пальцем: «Это кто такой... М. И. Мукасей? Кем он тебе приходится?»

— Да-а? — заинтересованно подался к Авраму начальник.

— Ну, я никакого подвоха не почувствовал, ответил, что Мукасей Михаил Иванович мой знакомый из Козлова, аптекарь... А он: «Какие у него мнения были о тебе?..» Что за вопрос, говорю, — самые наилучшие! Он меня устраивал даже в агитпроп, ведь из Ростова и Воронежа я ехал в Козлов без всяких протекций, чуть ли не на голое место! И вообще, штабы Южного фронта тогда еще только формировались!

Яков Александрович Попок, по-видимому, все уже понял, как тонкий и дальновидный человек. Он усмехнулся, правда, но усмехнулся без всякого подобия улыбки, а лишь внутренне, от сознания своей проницательности и верности своих оценок.

— И Осип, конечно, сразу переменился к тебе? — спросил он тихо.

— В том-то и дело! Представляете? Вернул мне даже записную книжку и тут же, не мешкая, темной ночью вытурил из тюгулевки, как они это место называли. Да. И сказал, чтобы я, при случае, передавал от него привет Михаилу Ивановичу, это, говорит, очень почтенный и уважаемый человек...

— Да. Но этого не надо больше нигде объяснять, рассказывать, — грустно заметил Попок. — Это может скомпрометировать тебя, ведь они люди другой политической веры. В таких случаях, Аврам, говорят, что хорошо бы получить легкое ранение, исчезнуть с глаз этой Стариковой, полежать в госпитале! Лучшего выхода я, пожалуй, не вижу.

— Пуля, она не выбирает, куда и как ранить, — трезво, с некоторым напряжением сказал Аврам.

— В том-то и дело... — кивнул Попок. — А там тяжелейшие бои, все будем под богом, как говорится... — Но с тобой все же надо подумать более основательно, ты еще пригодишься в нашей борьбе. Тут есть бумага из Реввоенсовета об откомандировании наиболее проверенных товарищей, из молодых, на учебу в Москву...

— Яков Александрович!.. — взмолился Аврам. — Ради бога!

— Нет, нет, обещать еще ничего не могу, — остановил его Попок. — Надо еще согласовать кое-что с Гусевым и Бела Куном... В общем, завтра как-нибудь задержись с выездом, до вечера. Я тоже здесь буду... И тогда все прояснится. А сейчас надо укладываться на сон грядущий, уже поздно! И спи, пожалуйста, спокойно...

Аврам шел темной ночью к своей квартире, спотыкался на мерзлой скользи, и не было покоя у него на сердце.

С ужасом вспоминал махновский застенок, сухие, темные кровяные пятна по грязной штукатурке стен, ночные крики, близость и неотвратимость смерти. Надежд не было никаких, бандитская шпана зверствовала пьяно и напропалую, стреляли и рубили шашками в соседнем помещении, от душераздирающих воплей терзаемых людей у него замерзала кровь в жилах. И все его существо молодо бунтовало и не соглашалось принять столь ужасную участь...

«Как же так? Ведь жизнь моя дарована мне свыше, самой природой, это же священный дар! Я не волен ни в рождении своем, ни в смерти, так может ли кто посягать на мое святое право — жить? Ведь я — это все, это средоточие самой природы и высших сил, даровавших людям разум и понятие не убивать друг друга! Даже волки не загрызают друг друга до смерти, а вы, люди? Боже, во мне может угаснуть до времени целый мир, вся вселенная, миллионы клеток, которые созданы разумом Бога!.. — он стал молиться, не делая, впрочем, никаких движений, но поминая Бога, своего и чужого. — Да, во мне погибнет весь мир и тогда наступит всеобщая тьма, как же о н и не понимают этого, звери! А мы-то их за людей считали!..»

Мольба, по-видимому, дошла до высших сил этого мира. Потому что расстреляли всех коммунистов штаба: супругов Полонских, Азарова, Вайнера и Бродского и даже хохла Семенченко, а его, Аврама, отпустили с миром, для жизни и новых свершений.

И вот Старикова, чахоточная гадюка, лезет в душу. Хочет, чтобы он признался в своем падении, в мольбе, в той тайне, которая должна быть скрыта от всех. Но этого ей, конечно, не добиться — есть еще иные выходы, есть и люди, которые помогут. Если не сегодня, так завтра! Главное — не спешить, как сказал Яков Александрович, задержаться с выездом... Пусть Тая Старикова сама поедет...

К великому своему удивлению и даже с испугом Аврам вдруг осознал в себе жуткую ненависть к простодушной фабричной женщине, которая допекала его каверзными вопросами, как товарищ по партийной ячейке. И не только ненависть испытал он,

а даже как будто желание ее гибели, смерти! Нет, пусть даже не физической кончины, а просто духовного ее распыления, о т с у т с т в и я в ближайших к нему пределах...

Аврам смирил чувства, сжав кулаки и втянув голову в плечи. Ночь была промозгло-холодной, с изморозью, от которой бросало в дрожь...

13

Да, старый вояка Абрамов, командующий 2-й армией у Врангеля, выдержал экзамен на тактическую зрелость. Они с Тарариным потеснили на полсуток конницу Миронова, как раз настолько, чтобы дать время остальным армиям барона перегруппироваться и вырубить почти две дивизии 1-й Конной у Сальково...

Сводка на рассвете 1 ноября: Донской корпус Говорова отходит на юг, переходя в контратаки. Сдерживает конармию Миронова.

Приказ Миронова: всеми дивизиями одновременно ударить по арьергарду белых, ни в коем случае не отрываться от противника, идти буквально «на плечах» врага!

За сутки 1 ноября 2-я Конная прошла на бешеном аллюре больше пятидесяти верст, с налета заняла село Петровское и стала на дневку, чтобы унять усталость бойцов и утомление лошадей. Разведка доносила: 1-й армейский корпус Кутепова и конкорпус генерала Барбовича выбили части 1-й Конной из села Рождественского, окончательно расчистив для себя путь отхода в Крым, по Чонгару и Арабатской стрелке, и прекратили дальнейший отход...

А куда ускользнул Донкорпус генерала Говорова?

Разведка Блиновской дивизии сообщала: захвачен ординарец командира 6-й пехотной дивизии белых с оперативной сводкой для генерала Кутепова, из коей явствует, что 6-я дивизия и Донской корпус отскочили к северо-востоку, дабы оказаться в тылах зарвавшейся мироновской конницы... Еще раз вспомнишь, Миронов, собственные откровения, что с бывшим сотником Тарариным шутить нельзя! Умен, черт!

Но есть выход. Блиновскую дивизию, родимую, и отдельную кавбригаду в таком случае развернуть фронтом на северо-запад и тем обезопасить свои тылы. Двумя другими дивизиями брать Рождественское, предварительно нащупав связи с ближайшими частями Уборевича и, конечно, 1-й Конной. Действовать незамедлительно, пока части Барбовича и Кутепова перестраиваются...

— Ну, Михаил Филиппович, на тебя вся надежда. Опять на тебя! — обнимая Лысенко, едва не прослезился Миронов. — Заходи от Сальково, не пускай белых к переправам на Чонгаре. Соседние части попрошу оказать помощь тебе. Может быть, подоспеет и Буденный! Рассылаю свой оперативный приказ соседям, должны помочь. Обязаны. Иди!

Сколько уж раз лихая 21-я кавдивизия решала исход этой затянувшейся битвы с бароном Врангелем, и вот опять вся тяжесть ближайшего боя на ней!

Бой 2 ноября по плотности артогня и жестокости конных атак превзошел даже кровопролитные схватки недавних дней у Шолохово. Мощный артиллерийский и пулеметный огонь с большой точностью резал атакующие массы конницы с той и другой стороны. 16-й дивизии удалось все же выбить противника из Рождественского, и когда части Кутепова и Барбовича, направляясь к переправам, навалились у Сальково на 21-ю, Миронов с Макошиным были уже в штабе у Лысенко.

Положение того требовало, ибо силы были снова неравные. Соседи — 30-я дивизия и части 1-й Конной, по горло занятые собственными заботами, отбивались. Пришлось Миронову снять из собственных боевых «тылов» Особую кавбригаду и подкрепить отчасти дивизию Лысенко.

Маневр, маневр и еще раз маневр! Малыми силами создать видимость кругового охвата противника! Обескуражить смелостью! Давить, где можно. Отходить, где узел завязывался насмерть, выскальзывать, изворачиваться и вновь налетать в сумасшедшем, уверенном азарте конной атаки — это и есть толковый кавалерийский бой на изнурение и медленное истребление запутавшегося противника!

Красноармейцы видели командарма и начальника полевого штаба вместе со знаменщиками армии в атакующих линиях, это вселяло нужную уверенность в исходе схватки. Огромная, высоченная фигура комиссара, члена РВС Константина Макошина маячила тут же, бойцы орали своим командирам «ура!» не столько от восторга, как от благодарности за их присутствие, за вселяемую в них веру: командиры самые большие тут, значит, бой уже выигран... Кричали «ура» храбрые конники и пролетали мимо, поднимая истолоченные вдрызг, грязные снега... Толчея на сальковской дороге стояла страшная.

— Командарм ранен!

Черт возьми, этого бы не стоило громко кричать. Никто не должен знать, кроме личной охраны и ближнего фельдшера! Рана-то небольшая, пуля глубоко укусила голень, пустила кровь и причинила боль, конечно. А кость, по всему видно, цела, и командарм жив. С тугой перетяжкой может еще прыгать, опираясь на ножны шашки, может скакать в седле. Но все равно не ко времени нашла пуля Миронова — бой впереди.

— Константин Алексеевич, прошу вас... Поезжайте к Новомихайловке, теперь вся масса противника ударит туда, там — ворота к перешейкам. Туда же перевожу и Блиновскую, пока Говоров притомился и зализывает раны. Когда хватится, тогда что-нибудь придумаем... Дивизий насмерть не класть, побольше маневра! Буду сейчас пытаться говорить с самим Фрунзе...

В ближней избушке оборудовали полевой штарм, наладили связь. Миронов рвал и метал, пока дождался желанного уведомления далеких штабных телеграфистов: «Командующий фронтом на проводе...»

— Товарищ командующий, обнаруживается все резче безобразное непонимание соседями — армиями и дивизиями — самых насущных тактических задач

момента! 1-я Конная слишком долго приводит себя в порядок, не тот момент, чтобы прохлаждаться. Уже пятый час ведем тяжелейший бой, но никакого движения с ее стороны... Известно, что из четырех дивизий там большой урон понесли только две! Нет, я совершенно не склонен винить в собственных затруднениях соседей, но сейчас все армии Врангеля заняты исключительно 2-й Конной, прошу проверить сводки и донесения. Латыши вообще прошли мимо, будто по грибы или в увольнение... Главный принцип военной тактики: действовать по обстановке, выполнять приказ соседнего старшего начальника для совместной операции. По-видимому, к вечеру упустим Кутепова и Барбовича в Крым.

— Чонгарский мост должен быть взорван Конной Буденного, — сказал Фрунзе издалека. — По-видимому, и на других направлениях было не легче.

— Чонгар в руках у головорезов Гусельщикова, — доложил Миронов. — Буденного там нет, не пробился.

— Хорошо, — ответил Фрунзе. — Командование полагается на вашу армию и на ваш боевой опыт, товарищ Миронов... Я в скором времени прибуду на фронт. Все.

Отключили связь. Миронов стоял у аппарата, грыз зубами ус.

Под вечер стало известно: блиновцы и Особая бригада Бадина уничтожили белый гарнизон в Новомихайловке, захватили большие трофеи, но тяжело ранен член РВС армии Макошин. Миронова больно задело это сообщение.

Он чувствовал, что бои не ослабевают, обстановка вокруг армии сгущается. Попросил начальника полевого штаба написать неофициальную грамотку Буденному с просьбой встретиться и обсудить положение. Начштарм Тарасов-Родионов, старый журналист с писательскими наклонностями, изложил необходимую просьбу необидно для командарма-1 и самым изысканным слогом: «Командарм 2-й Конной ввиду весьма важных, полученных из доставленного донесения противника сведений о последнем просит Вас не отказать прибыть для военного совещания сегодня ночью в полевой штаб 2-й Конной в село Рождественское, возле церкви. Не откажите также любезности поделиться снарядами... Начполештарм Тарасов-Родионов».

В это время привезли Макошина. Он тоже был ранен в ногу, как и Миронов, но куда серьезнее. Осколок разворотил бедро, была большая потеря крови, задет нерв... Бледный, с закушенными губами, огромный, этот человек за короткое время стал для Миронова не то что другом, но даже как бы родным по душе, по убеждениям и привычкам. Главное, он был храбрый человек в бою, не обходил опасностей.

Миронов взял свежую записку к Буденному и пошел с нею в лазаретную. Хотел все же посоветоваться. Как-никак, Буденный — прославленный человек, не обидится ли на приглашение?

Макошину только что сделали перевязку. Лежал на серой холстинной простыне, задрав небритый, изуродованный старым ранением подбородок. Веки болезненно прижмурены, в уголке глаза прикипела одна, последняя слезинка от боли и напряжения при чистке раны. На полу, у кровати, валялся оброненный клочок кровавой ваты. Миронов незаметно сунул его носком сапога под кровать.

— Константин Алексеевич... Мне тут будет сильно не хватать вас, — хромая сильнее обычного, опираясь на ножны отстегнутой от портупеи шашки, сказал Миронов. — Это никуда не годится!.. — И после паузы добавил: — Спасибо за все, Константин Алексеевич. Думаю, скоро встретимся, не в лазарете, разумеется, а на мирной стезе, после этой войны. Врачи говорят: много крови... но кость цела...

— Залатают, — скупо дрогнула ладонь неподвижной, вытянутой вдоль тела руки. Макошин говорил очень тихим, ослабленным голосом. — Спасибо, что навестили, Филипп Кузьмич, в такой момент... Я знаю, какая обстановка...

— Отбиваемся на всех фронтах, — кисло усмехнулся Миронов. — Попробую продержаться несколько дней в седле, завернуть их!

— Вы думаете, в несколько дней это кончится? — Слабая, безвольная усмешка тронула бледные губы Макошина. Он был до того слаб, что уже не верил в благополучный исход нынешних боев, по-видимому.

— В несколько дней именно они рассыплются, — твердо сказал Миронов. — Там все у них — на волоске... Вот решил, знаете ли, пригласить командарма-1 на совет. Нет больше выхода. Иначе Врангель еще будет огрызаться и бить нас поодиночке. — Не знаю, удобно ли приглашать...

— А почему неудобно? — спросил Макошин, стараясь поднять голос.

— Просим-то прибыть в Рождественское, — объяснил Миронов суть неудобства. — А Рождественское по первоначальным планам и диспозициям должна бы удерживать Буденновская... Вышло не совсем как-то... Не получилось у них, и выйдет эта записка вроде упрека...

— Ничего. Стерпит, — усмехнулся Макошин.

— Значит, посылать? — без тени улыбки, иногда просто теряя врожденное чувство юмора, спросил Миронов.

— Разве у вас есть лучший вариант на завтра?

— Если бы!

— Так о чем разговор?

Протрубил рожок санитарного автомобиля. Приехали за Макошиным, его следовало эвакуировать в тыл, к хорошим врачам. Миронов сжал неподвижную руку своего комиссара. Припомнился почему-то Ковалев, его неожиданная, несвоевременная кончина. Сказал еще раз с настойчивым сожалением в голосе:

— Очень жалею... И очень мне будет вас не хватать. От всей души говорю. Не знаю, кого теперь подошлют вместо вас.

Как-то даже сломался глуховатый голос Миронова под конец.

— Думаю, пришлют достойного человека, — оживился Макошин, повернув голову к Миронову, но глядя мимо, на дальнее окно и к двери, откуда могла прийти к нему помощь в облике приехавших медиков. — Будет все хорошо, Филипп Кузьмич. Делами

Южного фронта и, в частности 2-й Конной, сейчас очень интересуются в ЦК партии и сам Владимир Ильич. Это я для вас только, по секрету... — Вновь дрогнули паленные красноармейскими цигарками, небритые губы Макошина. Улыбнулся через силу, довольный своими словами, их смыслом.

— Спасибо. И до свидания, Константин Алексеевич.

— Еще увидимся, конечно... До свидания, Филипп Кузьмич, — обессиленно прошептал Макошин. Его брали на носилки. — Как в песне: «Як не сгину, то вернуся!..»

Автомобиль оказался тесным и коротким для Макошина. Кое-как положили, из угла в угол. Распрощались.

Отправив спецсвязью записку командарму-1, Миронов приказал усилить сторожевое охранение, вести глубокую разведку в сторону противника, чтобы не допустить какого-либо срыва встречи.

Буденный приехал поздно ночью с крепкой охраной, с ним был начальник полевого штаба Зотов, бывший есаул, толковый штабист.

...Присивашские села — Строгановка, Ивановка, Владимировка — в дыму костров, в шуме и гомоне тысячных пехотных и конных войск, в гомоне людском, ржании коней, сутолоке штабов, лазаретов и передвижных агитповозок...

Врангель ушел в Крым.

Ветер дует пока с запада, выдувает мелкую, вонючую воду из Сивашских ильменей к Азовскому морю, но все равно морозный, суховатый воздух над степями и всем пологим побережьем таит в себе тревогу, солоноват и горек предчувствием новой большой крови. За непроходимостью Сивашских зыбей, за Турецким валом и мостом на Чонгаре затаился Врангель. Там тепло и тихо, еще не сникла зелень, а тут — голая равнина, стужа, снега сдуты непрерывными ветрами в балки, овражки, к руслам пересыхающих речек. Пыль: копыта конных дивизий растолочили широкие таврические шляхи, будто орды кочевников прошли по этим просторам.

Приехал к самому Сивашу командующий фронтом. Осмотрел берега, опросил местных старожилов насчет возможных бродов напротив Строгановки и Владимировки. Атака на Турецкий вал с ходу не увенчалась успехом, 51-я дивизия Блюхера и Латышская готовятся к штурму заново. Левее, на Чонгаре, у Геническа, пойдут 13-я и вновь организованная 4-я армия, а также 3-й кавалерийский корпус Николая Каширина. 1-я и 2-я Конные стоят пока во вторых эшелонах, чтобы войти после в прорыв с шашками наголо... Но сначала надо взять Турецкий вал и Юшуньские укрепления за ним, в глубине перешейков, изрезанных солеными озерами.

Военный совет штаба фронта. Ночь. Керосиновые лампы чадят, люди не смыкают глаз до утра. Все взвешено и учтено, слова командующего Фрунзе тяжелы и неотвратимы, как сама необходимость:

— Прежняя задача — не допустить противника в Крым — сорвана. Врангель искусными действиями конницы сумел спутать наши карты и частью через Чонгар, частью через Арабатскую стрелку, где по непростительной небрежности конницы Буденного не был взорван мост через Генический залив, ушел в Крым... Отсюда возникает новая, труднейшая задача: взять Крым! Взять в кратчайшие сроки, добить во что бы то ни стало Врангеля до нового года! Владимир Ильич на Всероссийском совещании политпросветов на днях сказал... — Фрунзе вооружился газетой и прочел отмеченные заранее красным карандашом строки:

«Победы над Врангелем, о которых мы читали вчера и о которых вы прочтете сегодня и, вероятно, завтра, показывают, что одна стадия борьбы приходит к концу, что мы отвоевали мир с целым рядом западных стран, а каждая победа на военном фронте освобождает нас для борьбы внутренней, для политики строительства государства»[1]. Вот, товарищи командиры и комиссары, как стоит вопрос: Республика не может откладывать далее конец гражданской войны, Республика зовет нас любой ценой победить, уничтожить Врангеля! Поэтому заготовлен боевой приказ, в котором армиям фронта ставится задача — по крымским перешейкам немедленно ворваться в Крым и энергичным наступлением на юг овладеть всем полуостровом, уничтожив последнее прибежище контрреволюции. Части 6-й армии сегодня в ночь атакуют Перекопский вал с одновременным ударом через Сиваш, в тыл перекопским позициям. 15-я Инзенская и 52-я стрелковая дивизии должны ночью форсировать Сиваш, взять и надежно удерживать плацдарм на Литовском полуострове Крыма, куда в необходимый час пойдет для выполнения специального моего задания Конармия товарища Миронова. Повстанческую армию немедленно, по получении приказа, бросить в тыл перекопских укреплений... Командармам 4-й и 13-й энергичным преследованием разбитого противника обеспечить плацдарм на южном берегу Гнилого моря в районе Чонгарских переправ и устья реки Салгир... Командарму 1-й Конной спешно привести в порядок конницу и готовиться к переправе вслед за пехотой 4-й армии... Все операции проводить сосредоточенными силами и с максимальной энергией, доводя атаки во что бы то ни стало до успешного конца!

Затянулось совещание перед решительным штурмом.

Все вместе с командующим фронтом вышли на крыльцо, в холод и тьму, в пронизывающий ветер и горько-соленые запахи близкого Гнилого моря. Вблизи посверкивали цигарки, на отдалении по всему берегу пылали сотни, а может быть, и тысячи костров. В огонь подбрасывали больше сухого камыша, степного курая, чтобы осветить край подмерзающего Сиваша, пологий спуск в коварную низину. Эти же огни должны маячить за спиной проводников и штурмовых групп пехоты в дальнейшем, для ориентировки.

Сгущалось вокруг сдержанное, напряженное движение: подходили и вновь исчезали командиры и ве-

---

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 41, с. 406—407.

стовые, отдавались короткие команды, над спускавшейся к Сивашу передовой колонной Инзенской дивизии проплыло широкое, смутно проступавшее во тьме, расчехленное знамя.

— Пошли, — вполголоса сказал начдив 15-й Раудмец, стоявший по правую руку от Фрунзе.

— Плацдарм на Литовском взять и держать любыми средствами, — сказал Фрунзе и спросил точное время. Сиротинский посветил фонариком и ответил. Фрунзе застегнул белую дубленую бекешу на все крючки и стал прощаться. Засветились яркие фары автомобиля. Фрунзе пожал руки Блюхеру, Раудмецу, Корку, следом подошли Миронов и новый член РВС 2-й Конной Горбунов.

Свет фар проскользил по дороге, машина, заурчав, пошла на подъем: Фрунзе ехал в Каховку и Борислав, поближе к штабу фронта, чтобы позаботиться о резервах: битва предполагалась широкая, кровопролитная и, по-видимому, последняя в этой войне. Надо было предусмотреть все.

Постепенно берег опустел. Войска Раудмеца исчезли в темной низине, командующие разъехались, только Миронов и Горбунов еще стояли вместе с начдивом-15, смотрели в непроглядную темень, в направлении Крыма, ожидая возможной перестрелки, каких-либо нежелательных известий. Но все было тихо, заставы белых на Литовском спали, здешние связисты суетились с проводами, налаживая связь...

— Ничего. Спит теперь Фостиков на Литовском и хорошие сны видит, — уверенно сказал Миронов, прощаясь с Раудмецом. — Важно будет закрепиться на плацдарме, отбить первые атаки. А там... — приложил пальцы к краю папахи и, прихрамывая, пошел в глубь темной, спящей улицы, к своему штабу.

Николай Петрович Горбунов — двадцати восьми лет от роду, молодой бородач-ученый, секретарь Малого Совнаркома при Ленине и член коллегии Высшего научно-технического отдела ВСНХ, последние полтора года обретался на политической работе в 13-й и 14-й армиях. 27 октября в связи с тяжелым ранением Макошина последовал приказ из Москвы: назначить Горбунова членом РВС во 2-ю Конную Миронова.

В этом был определенный смысл, поскольку к Миронову и Фрунзе проявлялся повышенный интерес ныне в самых высших инстанциях. Сам Горбунов, внимательно следивший за всеми перипетиями военных операций в Северной Таврии, и в особенности за «чудом у Никополя», не без удовольствия принял новое назначение.

О Миронове, впрочем, в штабах говорили всякое. Неуживчив, излишне суров в боевой обстановке, а зачастую и просто вздорен, взрывается по пустякам. Партизан, предлагает всякого рода авантюристические и необоснованные «прорывы» и «охваты», на которые ни один здравомыслящий командир не решился бы... За плечами — огромный военный опыт, слава «непобедимого» и в то же время несмываемая пока тень приговора к высшей мере наказания, помилование и полное снятие всех обвинений, наконец — принятие в партию большевиков с ведома и по утверждению в ЦК... Тут слабый не выдержит, да и сильный нахмурится: жизнь, полная кипучей мысли и бессонной работы, душа мятущаяся, больная. Он сам, лично, повел казаков и казачек всего Верхнего Дона, с Хопра и Медведицы, со всеми их домами и семьями к новой жизни, к партии большевиков и Ленину и теперь отвечал жизнью своей за их судьбу. Хорошо ли им будет в новой жизни-то, когда третий год кипит, не кончается гражданская война, голод и холод навалились на Донщину и всю Россию, плач народный стоит до неба, — тут заболит душа, что и говорить! Другого бы согнуло и искорежило к сорока семи, зубы повыпадали, а тут, изволите ли видеть, самолично показывает командирам-новичкам из пополнения приемы верховой езды и укрощения конятрехлетка, джигитовок и рубки «с обманом»... При всем том — молодая жена, отчаянная кавалерист-девица, которая не пожелала остаться в теплой ростовской квартире (он там был членом губисполкома), приехала на военные позиции, поближе к мужу...

Присутствовал Горбунов на одном собеседовании в штабе фронта, по пути во 2-ю Конную, как раз обсуждались там последние бои ударной группы Миронова в Заднепровье. Начальник штаба фронта, старый военспец Паука, прямо сказал, что результаты двухдневного сражения с корпусом Говорова — белых донцов — заслуживают самого подробного изучения, поскольку результаты эти никак не вытекают из соотношения сил: 2-я Конная была резко ослаблена после решающих боев под Шолохово, наконец 16-я кавдивизия оказалась попросту рассеянной. И все-таки Миронов сумел искусными маневрами «истаскать» за собою усиленный и подготовленный к боям корпус белых и завернуть его к югу. Отход же Донского корпуса вслед за тем был задуман великолепно, коварно с целью подвести наступающую конницу Миронова под неожиданный фланговый удар. Но и здесь сработала интуиция, а может, попросту отличная разведка, командарм-2 снова вышел «сухим из воды» и, как говорится, «на коне».

Иван Христианович Паука, умный штабист, сказал в заключение:

— Тут многие считают, что Говоров после контрудара с фланга по Миронову сам бросился сломя голову к Салькову и Геническу. Это так, ибо в тылу у всей армии Врангеля, как вы знаете, замаячила 1-я Конная. Но не следует забывать, что его контрудар длился двое суток, товарищи. Это не толчок с ложным выпадом, не разведка боем, а генеральное сражение с прицелом полного уничтожения противника. Да. Лично я склонен считать, что будь на месте 2-й Конной какая другая кавгруппа, не исключено, что повторилась бы летняя трагедия: легкий пепел и запах «горелого»... Повторяю, что эту операцию Миронова нам всем надо еще изучать и изучать.

Командарм встретил Горбунова без особого интереса (как это часто бывает, он свыкся с бывшим членом РВС Макошиным), просил только другого по-

литработника Дмитрия Полуяна поскорее ввести нового человека в курс дела, поскольку предстоят решающие бои... Миронов не понимал, что Горбунов был прикомандирован к нему именно затем, чтобы разобраться наконец, каков же из себя он, Миронов, — молодой член РКП(б.) и столь же новый командарм?

Теперь они шли к штабу рядом, плечо к плечу, даже касаясь иногда локтями в абсолютной темноте, и Миронов сказал в раздумье, как бы и не затрагивая члена Реввоенсовета:

— Очень хмур и сосредоточен командующий... Смущен, по-видимому, трудностью задачи на Перекопе. Да. Тут еще эти листовки с самолетов. Что касается меня, то я предпочел бы обойти, конечно, Перекоп. Тем более что ветер согнал воду, это уже не море, а лужа грязи...

Листовки Врангель действительно разбросал над прибрежными селами, по линии наших войск, и все знали содержание этих листовок дословно: «Красные! Уходите! Вы никогда не возьмете Перекопский вал! Когда бы вы ни пошли в атаку, вас встретит огонь сотен орудий и тысяч пулеметов... Вы взорветесь на фугасах, повиснете на проволочных заграждениях, падете от пуль и осколков, сгорите на нашем огне...

Горбунов шумно вздохнул и сказал тихо, вполголоса, так, чтобы слышал его только Миронов:

— Не в этом, по-моему, дело. Идея Перекопа созрела не только в голове командующего, она ныне владеет сознанием всех армий: умереть, но взять Крым! Не только вражескую территорию этого полуострова, но последнюю точку войны. Чтобы к весне, к посевам хлеба, жить уже по домам, оглядеться, справиться с инвентарем, подремонтировать что надо. И тут, как снег на голову, действительно — телеграмма наркомвоена, полученная утром, а в ней те же мысли, что в прошлой его газетной статье: помните, он обрушился на Гусева за его победные реляции о первых успехах наших на правом берегу... И вот уже новый член РВС у нас на фронте — Смилга.

— Да? — насторожился Миронов. Он еще ничего не знал о телеграмме Троцкого и был благодарен Горбунову за откровенность и ясную доверчивость к нему.

— Наркомвоен считает, что атаковать Крым преждевременно, Врангель еще силен, необходимо построить рокадные железные дороги, подвезти тяжелую артиллерию морских калибров, ну и так далее...

— Чем же занять на это время войска? — спросил Миронов.

Рассуждения Троцкого, как и многих других сугубо «статских» военных, его бесили. Всякому человеку армии и войны хорошо известна непреложная истина, что большие массы, мобилизованные в час войны, нельзя долгое время держать в бездействии. В мирное время может, конечно, существовать армия, но небольшая, кадровая, спаянная традициями и дисциплиной, строго регламентированная уставами и порядком. Но миллионная масса войны, она должна либо воевать, либо идти по домам, к мирной жизни...

— Предполагается часть войск перебросить временно на Кубань и Дон для отражения возможных десантов. Ну и, разумеется, для подавления разного рода камышатников...

— Н-да, — крякнул Миронов неопределенно. Наученный горьким опытом прошлого, он не рисковал теперь прямо осуждать директивы Троцкого. Подлые, заведомо предательские директивы, но это ведь всем ясно, говорить тут нечего...

— Командующий сказал, что телеграмма эта писалась... видимо, под диктовку самого Врангеля, — с молодой неосторожностью сообщил Горбунов.

— В переносном смысле, конечно, — засмеялся Миронов. — Это уж не в первый раз! Весной девятнадцатого на целый год удалось ему затянуть в Донщине гражданскую войну. Теперь снова... желает протянуть кампанию до весны. До полного истощения...

— Трудно понять это. Даже странно как-то, — сказал Горбунов.

— Теперь-то уже не трудно, теперь этот «дым» помалу рассеивается, — сказал Миронов, плохо скрывая внутреннюю ярость.

Подошли к штабу, и разговор сам по себе прервался.

В штабе ждали их командиры дивизий. Миронов задержал их ненадолго. Попросил начальника полевого штаба зачитать свежий приказ о подготовке войск к десанту через Сиваш для выполнения особого задания и велел расходиться, чтобы хорошенько отдохнуть до утра. Здесь доставлена была в штаб почта, в том числе и некоторые газеты «с той стороны». Миронов счел нужным тут же просмотреть их и в «Южных ведомостях» за 24 октября (старого стиля, конечно), № 233, обнаружил статью самого барона. Статья дышала верой в несокрушимость «Крымских твердынь», прочли статейку вслух. Врангель писал в этой статье:

«...Стратегический план большевиков благодаря хорошо поставленной у нас агентуре был нам заранее известен. Развивалось чрезвычайно энергичное наступление десятитысячной конницы Буденного, подкрепленной двумя пехотными дивизиями. Она глубоко проникла в наш тыл и к вечеру передовыми частями вышла на линию желдороги в районе ст. Сальково. Неприятельские резервы проникли даже на Чонгарский полуостров. Красные, видимо, считали свое дело выигранным... Между тем одним переходом в ночь на 18 октября (31 н. ст.), отбивши атаки 2-й Конной противника, наша ударная группа неожиданно подошла к расположившимся на ночлег в районе Сальково красным. На рассвете 18-го наша группа атаковала красных, прижав их к Сивашу. Одновременно ударом с северо-запада конница Буденного разбита. Мы захватили 17 орудий, более 100 пулеметов и целиком уничтожили латышскую бригаду. В то же время Донской конный корпус, разбивая частые атаки 2-й Конной и 13-й армии противника, захватил полностью три полка в плен и 9 орудий...»

Тарасов-Родионов читал все это негромко, монотонно, без всякого выражения, чтобы снизить как-то впечатление от прочитанного. С одной стороны, конечно, в статейке была известная доля пропагандистской лжи — силы 1-й Конной, например, заведомо преуменьшались, в ней было до 20 тысяч сабель, и поражение ее было не столь уж «полное»... — но факт оставался фактом: Врангелю удалось выскользнуть из красного кольца, уйти, нанеся при этом противнику чувствительные удары.

Миронов сказал, опустив голову:

— Как ни печально для нас, но надо сознаться: может быть, единственный раз за три года войны генералы именно здесь блестяще выдержали экзамен на звание военных... Несколько с запозданием, но выдержали. Наше дело теперь разобраться и вынести урок...

На рассвете Турецкий вал загремел и задымился от непрерывной канонады. На расстоянии десятка верст слышался грохот тяжелых батарей, вздрагивание земли, вспышки залпов, — там бились и умирали на крутых скатах мерзлой земли штурмовые батальоны 51-й дивизии Блюхера и Особой ударно-огневой бригады красных курсантов.

Первые атаки к полудню 9 ноября были полностью отбиты белыми. Неся огромные потери, цепи красных откатились и залегли. Началась лихорадочная переформировка, передвижка частей, подход резервов, но и второй штурм не принес успеха.

Поздно вечером Фрунзе вызвал Василия Блюхера к проводу и сказал коротко:

— Ветер изменил направление, Сиваш заливает водой. Наши части на Литовском полуострове могут быть отрезаны. Надо взять вал во что бы то ни стало. Я надеюсь. Или...

— Хорошо, — сказал Блюхер.

— Я надеюсь, — повторил Фрунзе. Голос его не предвещал ничего хорошего.

В два часа ночи вновь поднялись в смертельную атаку изреженные цепи красноармейцев.

На рассвете стало известно, что Крымский вал взят. Противник откатился под защиту Юшуньских укреплений, на 20 верст к югу. Там были еще окопы в полный профиль и шесть проволочных заграждений...

11

Личный поезд генерала Врангеля стоял под всеми парами на узловой станции Джанкой. Турецкий вал был временно сдан красным, но ничто еще не говорило о решающем поражении и тем более катастрофе. Станция была забита резервными стрелковыми частями, эшелонами со снарядами и минами, санитарным имуществом, броневиками и танками. Спесивые, вылощенные адъютанты, как в лучшие времена, стояли у дверей, картинно отдавая честь старшим офицерам.

Поздно вечером 10 ноября по новому стилю Врангель пригласил к себе генерала Барбовича и, стоя посреди салона, вытянувшись во весь рост, сказал:

— Генерал! Красным удалось потеснить нас на Перекопе. Но прорвалась через укрепления лишь небольшая горстка... Да! Более десяти тысяч их легло при штурме вала, генерал! Но, как я сказал, эта небольшая горстка все-таки прорвалась на перешейки и настойчиво штурмует Юшуньские линии нашей обороны... Времени для переформирования и передислокации частей у меня предельно мало. Необходимо пресечь дерзкую попытку красных именно здесь, на перешейках, в районе озер, между Юшунью и Армянским Базаром. Я возлагаю на ваш сводный корпус, генерал, священную задачу: уничтожить всех, кто посягнул на крымскую землю. В этом успех сражения, успех всей зимней кампании.

Барбович пристально смотрел чуть выше плеча Врангеля, на карту Крыма и Северной Таврии, размеченную красными и синими флажками позиций. Он, подобно главнокомандующему, верил и надеялся, что эту зиму еще удастся провести в Крыму, за надежной преградой Перекопа и Сивашских болот, с тем, чтобы ранней весной начать полный разгром изнуренной голодом и разрухой Красной совдепии.

Врангель истолковал его молчание превратно, как усталость или сомнение в предстоящем, повторил со значительными нотками в голосе:

— Красных под Юшунью очень мало, генерал. Полагаю, не более трех — пяти тысяч...

Барбович подтянулся. Сказал, все так же глядя на карту Крыма:

— Ваше высокопревосходительство. Насколько известно, в Строгановке сосредоточена вся конармия Миронова. Она стоит в резерве, но это ничего не значит. Не исключено, что ее уже вводят на перешейки вслед за остатками пехотных частей, взявших вал...

— Чтобы бросить на колючую проволоку под Юшунью? Вряд ли. Мы уже смогли убедиться, что некоторые операции они проводят грамотно. — Врангель переживал всей душой роковую неудачу на просторах Таврии и за Днепром. Говорил, напряженно двигая костенеющими мышцами лица: — У Миронова, как нам известно, теперь осталось не более семи тысяч боеспособных сабель, у вас будет более десяти. И помните всякую минуту, генерал, беззаветного героя и великого воина Бабиева, который говорил всегда своей коннице одно: «Идя в этот решающий бой, мы должны считать себя уже погибшими за веру и Россию...» Вырубите красных поголовно, генерал! В ваших руках все.

Врангель был прав. Корпус Барбовича оставался последним конным резервом. Последним серьезным резервом армии, который еще мог переломить ход сражения на перешейках. Барбович взял белую папаху на руку, почти доставая алым верхом до крестов и медалей на левой стороне груди, и склонил большую, седеющую на висках голову в полупоклоне.

Врангель сделал шаг вперед. Значимость минуты была такова, что ни он, ни Барбович не думали о какой-либо церемонности. Просто на кон ставилось

нынче все — это понимал каждый. И потому глаза Врангеля на бледном, костяном лице горели исступлением и верой...

Едва только забрезжил рассвет, залиловело на востоке и поднялись первые печные дымки над прибрежным крымским селением Караджанай, как Блиновская дивизия выбралась из гнилых, хлюпающих, замерзающих на ветру солеными брызгами пространств Сиваша на земную твердь. За нею спешили 21-я Лысенко и Особая кавбригада, пулеметно-тачаночный дивизион и, наконец, большой транспорт с сеном, фуражным зерном и пресной водой в бочках — необходимым запасом на сутки-двое в пустой и безводной степи.

Сиваш пройден был с предельной скоростью, без особых помех, все опасные топи-зыбуны и залитые теперь поднимавшейся водой ямы-чеклаки были загодя отмечены длинными шестами с метелками камыша или бурьяна, эти шесты-вехи, поставленные пехотой, так и остались на опустевшей, взбаламученной и растоптанной полосе Сивашей от северного берега до южного. И тут, на Литовском полуострове, под глухие раскаты недалекой канонады закрутились, забегали адъютанты и связные, раздались протяжные команды, начались перестроения к бою. С командармом были только начальник полевого штаба Тарасов-Родионов и член РВС Горбунов (Полуяна зачем-то вызвал приехавший на фронт Ивар Смилга...). И если Тарасов-Родионов вместе с Мироновым наводили необходимый порядок, отдавали команды и распоряжения, то Горбунов, как новый человек, только наблюдал за ходом операции, старался ничего не упустить из вида, понять, каким образом удастся Миронову выйти из невероятно трудного положения: противник и на этот раз едва ли не вдвое превосходил численно. Разведка уже принесла эти весьма невеселые данные: за исключением Донского корпуса, который еще удерживал на Чонгаре 4-ю армию красных и Конную Буденного, здесь, на перешейках, Врангель собрал все свои конные резервы — до 15 тысяч сабель, офицерские полки...

Прискакал начдив-2 Качалов с адъютантами, разгоряченный и злой, козырнул. Губы немели на каленом ветру. Миронов сидел на коне сутуло, чуть боком: болела в тесном голенище поцарапанная пулей голень.

— Ну, что там? — спросил, морщась.

— 16-я опять отходит без боя, видно, жарко приходится. А фланг? У меня фланг открыт! — Качалов указал плеткой в сторону и сжал обветренные губы.

— Хорошо, — сказал Миронов. — Пошлите когонибудь за Медведевым, надо обдумать мелочи...

(Горбунов тут отметил про себя, что Миронова как бы и не коснулось сообщение об отходе 16-й, был он занят какими-то «мелочами», неведомыми стороннему человеку...)

Медведев Никифор, перед самым рейдом сменивший начдива Волынского, обожавшего волокиту и затяжки, появился скоро по собственной нужде за подкреплениями. Доложил с напряженным спокойствием, что конница Врангеля сбила пехоту Блюхера под Юшунью, рассеяла и вырубила ослабленные роты. Часть той конницы приближается к Армянскому Базару, а две-три дивизии рвут сюда, удержу им никакого нет, силы явно превосходящие, поэтому, мол, пришлось попятиться...

— Это хорошо, — невозмутимо сказал Миронов. — Хорошо, что они в азарте. Чуют большую кровь, сволочи...

Горбунов смотрел хотя и со стороны, но с пристрастием, и покуда ничего не понимал. Минута была, мягко говоря, не для спокойных размышлений.

Командарм между тем подозвал начдивов вплотную, кони сошлись мордами и обнюхивали гривы и спутанные челки. Миронов сказал, по-прежнему кривясь от боли в ноге и жесткого ветра на этой голой, по-осеннему мертвой равнине.

— Значит, план у нас старый, обговоренный... В авангарде вы, Никифор Васильевич (взгляд в сторону Медведева), и одна бригада Блиновской, поведет лично Качалов... (столь же пронзительный взгляд в сторону любимца начдива-2). Держаться в атаке до последнего момента, до самого накала страстей, за четыреста — пятьсот сажен, а то и поближе! Дыхание врага услышать. Отскочить в стороны по флангам надо в полной панике и беспорядке: беляки должны видеть вашу малую численность и смятение, испуг от близкой рубки, ну, не мне вас учить! В этом и будет вся закорюка...

Начдивы держали коней на коротком поводу, слушали со вниманием.

— А когда вы освободите пространство тыла, саженей на сто по фронту хотя бы, навстречу вылетает 21-я, и я с ней буду. Мы и примем основной удар на себя. Лысенко, ты выдержишь?

Командарм обернулся в подветрие и чуть заметно усмехнулся, пошевелив усами. Но Михаилу Лысенко было не до того, чтобы замечать всякие оттенки голоса и усмешки командарма: его дивизия, красные кубанцы, чуть ли не весь месяц не выходила из боев. Потери страшные, а тут новая затея: принимать лобовой удар белого корпуса, в душу мать!..

Хмуро отмахнулся рукавом шинели Лысенко — шинель новая, с малиновой окантовкой на обшлагах и «разговорами» во всю грудь:

— Нам не в первый раз... Надо, значит, выдержим, товарищ командующий. 21-я все выдержит!..

— Ничего, Михаил Филиппович, потерпи... Больше сделали, меньше осталось. Я даже думаю, что потерь у тебя нынче не будет вовсе... — Командарм удивил этими словами Горбунова и обернулся к другим начдивам. — Итак, в путь, полагаюсь на вашу выдержанность, товарищи! Нынче все дело будет в нервах: уже и запечет «под ложечкой», уже вроде бы и пора тикать, ан продержитесь как можно дольше в атаке, отойти всегда будет минута. Минуты такие дела и решают. Все, братцы!

Медведев и Качалов сразу тронули коней куцым галопом, Миронов задумчиво и протяжно посмотрел им вслед, затем приказал найти начальника пулеметно-тачаночного дивизиона Федорова.

Рослый, багроволицый, перетянутый по коже ремнями, Федоров на буланом жеребце выглядел куда внушительней командарма. Но честь отдал по всей форме, трепеща каждой жилкой, понимая авторитет командарма и всю важность момента.

— Сколько тачанок в порядке? Все перебрались? — спросил Миронов.

— Так точно, сто пятьдесят шесть, товарищ командарм! Прислуга полная, запас лент и цинков — по уговору, хватит полосовать до самого Джанкоя! Жду команды, товарищ Миронов.

— Задачу помнишь: ни на шаг не оторваться от кавалерии в атаке?

— Так точно. Пойдем впритир...

— Интервал между тачанками по фронту не меньше восьми шагов, для немедленного и одновременного разворота. Чтобы не было толкучки! Учти, товарищ Федоров, момент будет горячее некуда, надо не сплоховать при развороте. Иначе, сам понимаешь, ничего от тебя не останется, один гуляш-рагу... Конница у Барбовича злая, офицерье, казаки-перестарки! В общем, хочешь жить — развернись мигом и вдарь. Разом!

— Тачанки разверну, — хмуро сказал Федоров. — Неделю отрабатывали маневр, товарищ командарм.

Миронов снова усмехнулся, как показалось Горбунову, с крайней беспечностью и добавил для большей лихости:

— Если хоть на сотню шагов отстанешь от конницы, не показывайся на глаза! — Миронов пригрозил сжатой в руке нагайкой. — Не жалеть кнутов на передках! Расстояние в атаке будет не больше трех верст, кони выдержат без запалу!.. Да, между прочим, вот и товарища Горбунова, члена Реввоенсовета, на одну из тачанок бы взяли. Он должен вашу атаку вблизи посмотреть. Там будет главное.

Горбунов от неожиданности как-то вздрогнул весь и с недоумением взглянул на Миронова. Надо ли быть им, ему и командарму, в самой толчее? Теория и практика кавалерийского боя тому ли учат?

Командарм понял его озадаченность и кивнул в ответ как-то запросто, вроде по-отечески, с грубой фамильярностью, и в голосе его прозвучала неуместная шутливость:

— Ничего, Николай Петрович, дорогой, я бы и сам с тачанками пошел, там опытный глаз нужен для точности маневра. Но на Федорова могу положиться, да и жаль, не могу бросить резервной дивизии Лысенко, подстрахую вас в случае чего... Поезжайте, пожалуйста.

— Советуете пересесть прямо в тачанку? — румянея скулами, спросил Горбунов.

— Нет, в седле. Вместе с товарищем Федоровым. Желаю удачи!

Миронов козырнул члену РВС, и полторы сотни тачанок загрохотали по мерзлой дернине вслед за кавалерией. Ездовые сразу же привстали на передках, засвистали кнуты, растянулись рыжие и вороные гривы по ветру, только пыль темными облачками завилась из-под колес. Тачанки медленно растягивались по фронту, догоняя идущую на рысях конницу, и Горбунову стало видно, как передовые дивизии тоже разворачиваются в лаву для атаки...

По правую руку мелькали густые, но чахлые от соли камыши Красного озера, слева, от озера Старого, выкатывалось в сизой мгле багроволикое солнце. Вся степь, розоватая от холодного тумана, была впереди засеяна бегущими фигурками пехотинцев, в панике бросивших Юшуньские позиции. Их было слишком мало, и вот их уже нагоняла с той, встречной, стороны сплошная туча пыли, конского топота, ярости и матерщины... Проблесками крошечных молний сверкали в пыли шашки атакующих. Огромная белая лава, разгоряченная азартом погони и кровью близкой и неминучей победы, шла на предельном карьере, рвущем из-под копыт землю и ощущение страха. Она как бы стаптывала и обращала в пыль, в ничто отдельных, настигаемых ею пехотинцев, праздновала и вымещала злобу за потерянный Перекоп. Мало того, именно в ближайшие часы все красные силы, просочившиеся на полуостров, должны быть сметены, уничтожены, и спокойная зимовка обеспечена для всей белой армии до самой весны!

Но конница красных, по-видимому вся мироновская армия, так некстати вылезшая из гнилой зыби Сивашей, нестройной, жидковатой лавой пробовала встать на пути... Где-то в белых тылах генерал Барбович принял донесения, перекрестился столь удачному стечению обстоятельств и махнул рукой — с богом! — будучи уже не в состоянии выйти из этой главной атаки во всей своей жизни. И вот уже две конные лавины мчались встречно одна другой, и померкло солнце в глазах каждого всадника, и смерть опахнула крылом узкое пространство в озерном дефиле...

Горбунов мчался следом за тачанками, а тачанки шли, что называется, впритирку за кавалерией. И вот в виду встречных всадников почувствовался сбой впереди, возникло какое-то смущение, испуг... Дрогнули, кажется, передовые всадники прославленных дивизий Качалова и Медведева и стали отходить, отплывать на обе стороны, делясь на два вялых, испуганных крыла. Бежали к чахлым камышовым гривам, теснились к мерзлым окраинцам озер. И страшной была эта сумятица поражения, замирало сердце от предчувствия краха, но властная сила атаки продолжала втягивать Горбунова и Федорова глубже, к самой сердцевине боя.

Мироновская конница распалась, последние всадники уходили влево и вправо... Был текучий, неуловимый миг, когда Федоров выпалил из ракетницы и остановил коня.

Уже близок был грохот копыт чужой встречной лавы, уже доносились дикие вопли и крики, гиканье и свист идущих в рубку сотен. Уже можно было различить за триста — четыреста шагов запененные морды лошадей, растрепанность грив, мелькание лиц с распяленными, орущими ртами:

— Ура-а-а-а...

— Ага-а, дрог-ну-ли прок-ля-ты христо-про-давцы, пошли в рас-сып-ну-ю, мать в-вашу!.. Р-р-руби!

Орали бородатые урядники и вахмистры, прикры-

вавшие собой вторую, сплошь офицерскую лаву. Вставали на стременах, опуская правые руки с клинками к лампасу для «затека», тяжести скорого удара. И, подчиняясь некоему закону сходящихся лав, клином шли в образуемый красными разрыв...

Но именно в этот момент, в доли минуты, привычно развернулись тачанки красных! Левые пристяжные, хрипя, осаживаясь, чуть ли не ломая дышла, коренники с ржанием и фырканьем забирали влево, правых пристяжных секли кнутами, чтобы не унять скорости в развороте...

Скакавший рядом с командиром дивизиона Горбунов видел с высоты седла своими глазами всю эту удивительную и страшную операцию пулеметных тачанок.

Они отработали маневр образцово, как понял он, потому что все встали в прямую линию, колесо к колесу, выставив навстречу атакующей вражьей коннице тупые стволы пулеметов. Пулеметчики сгорбились за щитками и сжали ручки затыльников, и Федоров подал в нужный момент команду «огонь». И грянул гром небесный: конница генерала Барбовича попала в шквал шестислойного пулеметного огня.

Первые же очереди пулеметов срезали начисто передние линии атакующих. Кони падали, летели через головы, растягивались намертво в полете, всадники то никли в седлах, то вскидывали руки и картинно, как в дурном сне, вылетали из седел, пропадали внизу, в густой и уже кровавой пыли. А сзади напирали новые ряды обреченных на смерть.

Это было невероятное, ужасающее зрелище. Ничего похожего не приходилось видеть Горбунову за два года войны в Таврических степях. Не слышал подобного он и от старых конников — это был новый маневр Миронова, продуманный еще на Днепре, на марше через Сиваш, а может быть, и раньше. Была задача: уберечь в бою красных казаков всех до единого, а белых разгромить наголову... Горбунов вспомнил небрежно сказанную Мироновым злую фразу: «Чуют большую кровь, сволочи!..» и понял настроение, с которым она была сказана: смертью наказать безумие этой последней атаки белых!

Пулеметы еще били по клубящейся пыли, хлестали огнем по бьющейся в смертной агонии чужой конной массе, когда из недалеких тылов, слева, при ясном солнце замелькали широкие красные полотнища 21-й дивизии Лысенко, идущей в атаку во главе с самим командармом. А от камышей, из болотной зыби, будто восставшие из мертвых, разворачивались эскадроны Блиновской. С гиканьем и криками, коршунами кидались в погоню за уцелевшими белыми всадниками.

Сколько времени продолжалось все это — пять, десять минут? Или, может быть, целый час?

Отстрелявшись, тачанки стали по одной разворачиваться и переходить на преследование врага. Федоров сказал Горбунову:

— Спасибо, товарищ член Реввоенсовета, за душевную поддержку... Потому как за ворот прямо жар сыпался, когда лицом к лицу мы с ими вышли, да! Ну вот, и все дела! Теперь, думаю, тут ничего занимательного не будет, можете с адъютантом ехать к товарищу Миронову, вон туда... — и показал с седла в направлении пологих курганов, где еще мелькали маленькие фигурки красных кубанцев.

— Теперь, считаете, там будет главное? — не скрыл усмешки бородатый юноша Горбунов, понимая, что все главное в этом сражении уже совершилось только что, на его глазах.

— Командарм приказал: как, говорит, отработаешь свое, так отпусти товарища комиссара ко мне. Я, мол, далеко зарываться в атаке не буду, вернусь...

— Так и сказал? Значит, был уверен в успехе?

Федоров не ответил на вопрос, только засмеялся зубасто и как-то освобожденно, сбрасывая с души последнее волнение боя. После некоторого молчания разъяснил:

— Никто не знал ведь про эту уловку, товарищ комиссар. Мы разворот с тачанками отработали давно, а для чего, и сами не знали! И начдивы, сами знаете, разъяснения получили за час до атаки, — такой вот командарм, шпионам около него делать нечего...

— Это и я заметил, — кивнул Горбунов, не переставая удивляться тому, что произошло на его глазах полчаса тому назад.

Когда Горбунов с ординарцем прибыли в тылы 21-й дивизии, Миронов уже возвратился из боя и рассматривал в бинокль широкую равнину, на которой все еще перекипали мелкие схватки с уцелевшими врангелевцами. Рядом спешенный держал коня в короткой узде Михаил Лысенко.

Горбунов заметил, что начдив кубанской с восторгом и благодарностью следит за командармом и как будто ждет каких-то слов-приказаний. Он готов был теперь броситься в любое пекло, ведь, и правда, в этом страшном бою он не потерял пока ни одного бойца!

Миронов, бледный от волнения, коротко взглянул на подъехавшего Горбунова и оборотился к Лысенко:

— Ну, Миша, теперь давай. За тобою дело. Выводи остальные бригады из засады и — гуляй, казак, до самого Джанкоя! Может, и самого Врангеля прищучишь где-нибудь на путях: он-то еще победных реляций ждет от Барбовича. Иди!

Тяжеловатый Лысенко кинулся в седло, группа всадников сразу же оторвалась от штабного значка. Зато сам командарм неловко сполз с седельных подушек и медленно, кривясь лицом, перебрался в открытый автомобиль.

— Проклятая нога... Вы, Николай Петрович, тоже идите сюда, поговорим. Теперь пускай штабные потрудятся! — Обернулся к начальнику полевого штаба Тарасову-Родионову: — Ваша забота, Александр Игнатьич, добить остатки Барбовича, взять Джанкой так, чтобы ни один эшелон не ушел в глубь Крыма! Там крупные боезапасы и весь ихний медснаб... И не забудьте связаться со штабом фронта: как там у них? А я часок отдохну, да и ногу надо перебинтовать...

ДОКУМЕНТЫ

Председателю СНК и Совета Обороны т. Ленину
По телеграфу
Ст. Воинка, 12 ноября 1920 г.

11 ноября 2-я Конная армия вступила в Крым.

Противник бежит в беспорядке. Бросает орудия, пулеметы, взрывает танки и броневики. Бросает лошадей и оборудованные технические поезда, сжигает вагоны со снарядами и пулеметами. В бессильной злобе мстит населению, уничтожая пшеницу и фураж.

Войска 2-й Конной армии шлют Вам привет и выражают уверенность в кратчайший срок покончить с бароном, чтобы затем покончить с пешкой мирового империализма Петлюрой...

Командарм *Миронов*. Члены РВС *Полуян, Горбунов*[1].

...За двое суток Крым был очищен. В полдень 13-го конница Миронова вступила в Симферополь. По пути вырубила до 10 тысяч бегущих солдат противника и взяла в плен 20 тысяч. Все дороги оставались усеянными трофейным имуществом, брошенной артиллерией, тачанками с обрубленными постромками, полевыми лазаретами с ранеными и скарбом. До двухсот вагонов, груженных военным имуществом, было захвачено только на станции Джанкой.

Почувствовав за спиной десант Миронова, донцы Говорова оставили Чонгарские укрепления и спешно начали отход к Керчи. На их плечах в Крым ворвались 3-й кавкорпус Каширина и 1-я Конная...

В Севастополе царила паника. Штабы Врангеля грузились на крейсер «Генерал Корнилов» и транспорт «Херсон», а члены правительства и их семьи уже скрывались на морском горизонте, где дымил французский дредноут «Вальдек Руссо»...

16 ноября Миронов прощался с Горбуновым, которого срочно отзывали в Москву. Как обычно случается, все уже знали, что Горбунов займет пост управделами СНК, при Ленине. Поэтому на станции Симферополь провожающими были не только армейские знакомые Горбунова, но и политработники штаба фронта Гусев и Бела Кун.

Редкий, слабый снежок падал на перрон, роился в изуродованных, обломанных ветвях акаций и тополей у простреленного и разбитого снарядами вокзала. Ветер колыхал красные флаги на паровозе — это был едва ли не первый советский поезд из Крыма в Красную Россию.

Миронов подошел прощаться последним, как-то странно, по-граждански снял папаху — так хотелось ему стать штатским человеком, кончить наконец-то войну. Но вспомнил все же, что он военный, от младых ногтей, что называется, надел папаху на лысеющий лоб. Пожелал Николаю Петровичу счастливого пути, успешной работы в Москве и добавил после некоторого раздумья:

— Что ж... передавайте, пожалуйста, мой поклон Сергею Сергеевичу Каменеву, вы его, конечно, увидите. Он знает мою просьбу, пусть поторопится с переводом. Мне в Крыму оставаться далее нет смысла, устал, знаете, да и армию, наверное, скоро расформируют, пора уж и демобилизовать старшие возрасты: мир на земле и благоволение в небеси... — И повторил, встряхнув сильной рукой кисть Горбунова: — Счастливо вам! Путь теперь повсюду мирный... Ну и будет случай, передавайте нижайший поклон Владимиру Ильичу. От души.

— Спасибо, Филипп Кузьмич. Передам... — Горбунов держался левой рукой в кожаной перчатке за холодный поручень классного вагона, а теплой молодой ладонью сжимал пальцы Миронова. — Спасибо, и до скорого свидания. Я полагаю, что очень скоро мы с вами увидимся... А насчет усталости и прочего, то ни-ни, как говорится! Ни в коем случае! Мне даже кажется, что предстоит как раз немалая работа, новые бои и сражения, но — на мирном поприще. До встречи!

Поезд лязгнул сцепами и стал медленно отплывать в сторону Джанкоя. Провожающие подняли папахи и платки, махали вслед. Лицо Горбунова, молодое, улыбающееся сквозь бороду, исчезло, двери закрылись. Белая пороша кружила в воздухе. Пахло свежим морозцем, кирпичной пылью и остывающим паровозным шлаком...

15

Донской корпус грузился на пароходы в Керчи...

Вдоль железной дороги Джанкой — Владиславовка — Керчь без помех, веселым аллюром и с победными песнями шли полки красных уральцев, 3-й кавкорпус Николая Каширина. Всего-то чуть более суток требовалось им на этот путь до конечного убежища белых, и этого времени было вполне достаточно для эвакуации, поэтому бежавшие донцы не предпринимали даже арьергардных боев.

На рейде дымили небольшие суда, увозившие в Константинополь штабы, генералитет с семьями, членов Донского круга и правительства во главе с последним атаманом Африканом Богаевским и председателем Харламовым, кассу, выметенную до последнего рубля, личную охрану. Ночью говорили о том, что турецкое правительство временно предоставит убежище доблестным донцам, какой-то неведомый никому Чаталджинский район близ Константинополя и, возможно, обжитый когда-то беглыми казаками-некрасовцами остров Лемнос...

Последним должен был сойти с берега самый отчаянный и веселый из донских генералов — начальник «цветной» дивизии Гусельщиков, своими развесистыми усами и орлиным взором разительно напоминавший давнего покорителя турок генерала Скобелева. Он стоял на балконе приморской гостиницы «Европа» и, приходя в себя после ночной попойки с Богаевским, проветривался с обнаженной головой и расстегнутым воротом френча, смотрел на море, на дымившие за краем бухты последние корабли. Ночью говорилось и о том, что начальником временного лагеря на чужбине будет он, Гусельщиков, как

[1] Военно-исторический журнал. М., 1980, № 7, с. 64.

человек, заслуживший доверие в тяжкой войне и еще не потерявший головы при последних неудачах. Но, разумеется, лишь временно, для того только, чтобы заново договориться с союзниками, собраться с силами для нового сражения с большевиками...

Но то, что грезилось ночью, в пылу надежд, никак нельзя было принять всерьез днем или даже на сереньком, вполне трезвом рассвете, в виду этой бухты и дымящих на рейде судов. Ясно уже было, если не всем, то лицам генеральского звания, что союзники не только хотели именно помочь белому движению, демократии или монархии, против красных, но старались при этом усугубить и растянуть во времени саму гражданскую войну, анархию и вакханалию в России, дабы ослабить, а при случае и вовсе умертвить эту страну-исполина.

Герой и сквернослов, любивший разбрасывать вокруг гирлянды замысловатых ругательств, Гусельщиков теперь молчал, осознав вдруг всю непоправимость случившегося, беспочвенность надежд. Разрозненные, вялые мысли копошились, каждая сама по себе, и не подчинялись утомленному рассудку. Свежий ветерок с рейда, словно привычный степной зазимок, насухо брил лицо генерала, выжимал из прижмуренных глаз бисеринки мелких, злых слез.

Снизу, из распахнутой форточки буфета на втором этаже, неслись пьяные выкрики, нестройный гомон, берущий за душу гитарный перебор — еще с вечера шла последняя попойка офицеров его дивизии. Генералы и атаманское окружение давно отошли ко сну либо, наоборот, мучились бессонницей и головной болью, а боевое офицерство еще гуляло, еще праздновало и веселилось на собственных похоронах.

— Г-гниды, — мрачно и бессознательно, скорее лишь по привычке пробурчал отчаянный генерал Гусельщиков и, застегнув на все пуговицы френч, велел подавать автомобиль и охрану: он отвечал еще и за погрузку в порту.

...В запущенном буфете второго этажа гостиницы, в узком кругу знакомых офицеров, обмывал новые, совершенно необношенные погоны есаула штабист и полковой поэт Борис Жиров.

Торжественность момента, понятно, омрачалась общей растерянностью и неразберихой эвакуации. Да и погоны были хотя и не «химические», как во времена верхнедонского восстания, но всякий отдавал все же отчет в их «африканском» происхождении (Африкан Богаевский в последнее время не скупился на чины и награды), и даже сам свежий есаул Жиров хорошо понимал, что повышение в чине производилось с единственным расчетом на получение сносной пенсии от какого-нибудь эмигрантского благотворительного общества или комитета в дальнейшем, и только. Поэтому-то не было ни громких хлопков шампанского, ни заздравных спичей, друзья собрались скоротать за горькой рюмкой эти последние часы на последнем русском берегу.

Чаще прочих звучало турецкое слово «лемнос», означавшее в данном случае изгнание.

Жиров по своему обычному легкомыслию был, впрочем, достаточно бодр и весел. «Наша жизнь копейка, и пропадем мы ни за грош!» — этот припев походной казачьей песни как бы органично жил в нем еще с начала германской, и он даже не помышлял о каком-либо нравственном сопротивлении печальному рефрену, повторявшемуся после каждого неловкого поворота той песни. И не грустил, как и всякий порядочный офицер, по поводу сильно затянувшейся всеобщей игры со смертью. Жиров, как мог, развлекал друзей, бренчал на старенькой гитаре, пел что-то привычное и замызганное, вроде «были когда-то и вы рысаками», до самой полуночи, когда в тесный буфет зашел вдруг чужой офицер, не казак, неизвестно почему оказавшийся в Керчи. И тогда решительным образом сменились и настроение, и характер разговора, утвердившиеся с вечера.

Усталый, только что с дороги, поручик огляделся, хмыкнул удивленно и, раскрыв объятия, пошел на самого именинника:

— Ми-и-илый мой Боря, свет ненаглядный, да неужели же это тебя довелось увидать снова на краю земли! Сколько лет, как говорится... — и уже обнимал есаула, тряс по-дружески его тяжелые, мясистые плечи, обремененные свежими погонами, радостно смеялся. И никакого уныния на челе новоприбывшего никто при всем желании не смог бы обнаружить.

— Поручик? Какими судьбами здесь? — удивился Борис Жиров.

Перед ним стоял тонкий, спортивного вида поручик Щегловитов, старый контрразведчик еще со времен Лавра Георгиевича Корнилова и Каледина, в последние годы упешно лазавший по красным штабам то в роли особого порученца фронтового масштаба, то комиссара в черной кожаной тужурке и при особых полномочиях. Была у него там даже и своя сеть, случайно порушенная и разоблаченная в середине девятнадцатого, но сам он был еще жив и здоров, и только временно, видно, отирался по эту сторону.

— Какими судьбами? — повторял веселый и немного хмельной Жиров, так и этак оглядывая неистребимого лазутчика.

— Все теми же, не-ис-поведимыми! — сказал Щегловитов, жадно оглядывая разгромленный стол с остатками жирной еды. Он был с дороги, это заметили все. Не удивительно, что человека сразу же потянуло к еде.

Щегловитова усадили на чье-то место, дали чистую тарелку и вилку.

— Контрразведка, как всегда, не дремлет? — не без юродства, имея в виду полное крушение всяческих предприятий на этом свете, спросил Жиров. Щегловитов с излишним вниманием взглянул на знакомца — они знались со времен печальной эвакуации из Новороссийска, — глянул, как бы стараясь прощупать душу есаула, и кивнул неопределенно, вроде: «сейчас наемся, потом отвечу...», и принялся за остывшую баранину. Официант из крымских татар принес под салфеткой свежую порцию зелени и соусник, забрал пустую посуду.

— Красные далеко? — спросили из темного угла.

Щегловитов тяжело дышал, наливая водку в пузатые рюмки толстого стекла, морщился. Всю поря-

дочную посуду здесь, как видно, уже давно перебили, приходилось столоваться «без ложных претензий». Рюмку брал плебейским движением: не за ножку, а в обхват, всеми пальцами. Сказал, ни к кому в отдельности не обращаясь, лишь для констатации положения:

— Корпус Каширина? На полпути к желанной гавани. Завтра будет здесь. Уральские казаки под командой бывшего подъесаула Каширина сидят у вас, так сказать, на хвосте... Что касается 2-й Конной, то она уже в Симферополе и не сегодня, так завтра довершит дело. Если, разумеется, не грянут иерихонские трубы и не начнется суд праведный... — правая сторона лица и уголок рта у поручика нехорошо дернулись в нервном тике. — За ваше здоровье, господа офицеры.

Говорить, собственно, было не о чем. Все слова были исчерпаны еще в тот момент, когда под Петроградом и близ Новочеркасска заговорило оружие. Теперь и оружие, кажется, вынуждено было смолкнуть. Начиналась пора черного кладбищенского молчания.

Из полутемного угла выдвинулся молодой сотник с длинным, иссохшим чуть ли не до черепных костей, лошадиным лицом и горящими глазами. В глазах пылала великая надежда и решимость стоять до конца.

Ему давали дорогу. Это был тот самый бывший вольноопределяющийся Пухляков, что весной восемнадцатого молча пристрелил командира революционных отрядов Голубова, прибежавшего каяться прямо в партизанский штаб полковника Денисова. С тех пор он стал сотником, и его знали все.

Сотник пристально всматривался в лицо Щегловитова, еще раз исказившееся тиком, и без спроса присел рядом. Взгляд его кричал изнутри и одновременно вопрошал, чувствуя некую родственность настроений. Щегловитов же хранил мрачное нерасположение духа: с одной стороны, он был все же обижен нелестным упоминанием о контрразведке, с другой — ему нечем было ответить на зов святой, жестокой и ничего не прощающей взрослому миру юности в лице сотника Пухлякова.

— Вы понимаете... — сказал сотник, невежливо притронувшись бегающими, тонкими пальцами к рукаву Щегловитова, — понимаете, все как-то смирились! Словно отравленные газом... Но был ведь ледяной поход, было и самопожертвование, поручик! Я прошу, скажите им...

Тут совсем некстати затренькал на гитаре Жиров и запел неприхотливые куплеты собственного сочинения. Слушать их было жутко, но до времени никто не посмел прервать хозяина пирушки. Поздний час и общая усталость примиряли. Жиров, отвалясь к стене, пел. Около него, на грязном блюдце, чадила дешевая, обмокшая по краю папироса.

Вначале шли дела отлично,
Брыкался Врангель энергично,
И, развивая в красных злобу,
Разбил зарвавшегося Жлобу,
На север Таврии залез,
Но тут-то и попутал бес —
И вместо славы, вместо блеска
Вдруг получилась юмореска...

— Бож-же мой, г-господа! — вне себя, но как-то немощно и хрипло вопросил сотник Пухляков, поочередно шаря глазами по лицам друзей вкруг стола. — Господа, что же мы?! Нельзя же глу-мить-ся!

— Ладно, — махнул бледной рукой кто-то рядом. — Недолго музыка играла, недолго плакал арлекин... Что уж там, сотник!

— То есть... Что вы этим хотите сказать?!

Ответа на многозначительное восклицание вообще не последовало. Простые души, как и всегда, уклонялись от понимания высокого и вечного. А Борис Жиров, усмехаясь, продолжал бренчать на гитаре:

Генеральный же наш штаб
Оказался слишком слаб,
И весь план его мудреный
В пух и прах разнес Миронов...

Никто особенно не вслушивался в кощунственные куплеты, но никто и не хотел возражать и вдаваться в подробности. И все же последняя частность из этой плебейской частушки все-таки задела Щегловитова. Он был дворянин и однофамилец знаменитого министра юстиции при Петре Аркадьевиче Столыпине, во времена порядка и благоденствия. Он не мог стерпеть и сказал, не скрывая брезгливости:

— Уд-ди-ви-тельный народ эти казаки, право! Чтобы не сказать хуже, но... Как изволите понимать, есаул, эту вашу извечную м-м... сепаратистскую оппо-зиционность к существующему порядку вещей? Царь был плох — это ясно! Как апельсин! Франкмасон Керенский, скрытый еврейчик и краснобай, главноуговаривающий в войсках и все к тому прилагаемое... Никто его не поддерживал, в том числе, разумеется, и «донцы-молодцы»! Не изволите ль знать подробности? Так вот... В ночь на двадцать пятое октября старого, разумеется, стиля... в самый разгул министр-председатель всея Руси поднимает трубку телефона и вопит отчаянным голосом в штаб 4-го Донского полка, расквартированного в столице: спасайте, режут! Лезут в Зимний дворец и Оружейную палату! А? И что же? По полку дежурит обольшевиченный есаул... как его, ч-черт!.. Ку-зю-бердин, не изволите ли знать? Кузюбердин, полукалмык, полусволочь, так вот он-то и ответил министру-председателю, ничтоже сумняшеся: «Казаки, мол, уморились и сплять, будить по такому пустяковому случаю не считаю нужным!» А? Коронная фраза, достойная анналов... Так что вы на это скажете? Е-са-ул Донского казачьего войска Кузюбердин — прошу запомнить!

Все молчали. Щегловитов с недоумением обвел бледневшие лица офицеров злым взглядом и остановился на Жирове:

— В общем, Керенский вам не подошел, равно как и государь-император. Ну, что касается большевиков, то и с ними, насколько я знаю, «была без радостей любовь...». Не так ли? — он распахнул ту-

журку и, переводя дух, растирал грудь округлыми движениями правой руки. — Едва появился Деникин — снова свара, неподчинение, черт знает что! Да что говорить, своего-то атамана, Петра Краснова, и то съели, не мудрствуя лукаво: в куль да в воду! Теперь — Врангель, святая душа, кремень, искупитель всех прошлых вин русского офицерства, несмотря ни на что отсрочивший конечную развязку на целый год... Целый год жизни, господа, и какой жизни, каких побед! Так и его вы тоже оголяете посреди непристойной частушки, глумитесь, как... Не могу и не собираюсь омрачать вашего дня, тем более в такое тяжкое время, но — есаул! Пора ведь и образумиться, есть же что-то святое в конце концов у всех нас за душой? Россия — наконец, отечество?!

Сотник Пухляков как бы ожил и расцвел изнутри, глаза прояснились и ждали высочайшего откровения, способного не только увлечь, но и спасти на самом краю бездны. Но Жиров не дал ему торжествовать. Он коротко спутал гитарный перебор мягкой ладонью, унял струны и отбросил музыку на засаленный бархат зеленой банкетки у стены. В нем что-то произошло за время этих откровений поручика. Он сбросил с лица глуповатую маску, спасительную в этот немыслимый час общего крушения и расплаты, и сказал вызывающе грубо, исключительно ради вдохновившегося так некстати земляка-сотника:

— России? Ради ка-кой России? — Спазма ненависти перехватывала ему дыхание: — Той самой, что пустила собственную кровь еще в удельной междоусобице до Калки и Трубежа? Ради тех ее сынов-умников, что поочередно радовались тому, как Батый отворачивал им головы, полонил жен и дочерей? Или России Ивана-изверга, выжигавшего глаза и вырывавшего языки самым прозорливым на страх друзьям своим и в назидание потомству? России, которая только умела умирать за себя, но никогда не умела жить? Той России, что от века запускала на горб народу то шведов-вояк, то немцев Биронов, то полную Немецкую слободу Монсов и прочего торгового жидовья? Да, господи, я уж умолчу о плавучих качелях, пускаемых по Дону Петром-просветителем, искоренившим все лучшее, что было на русской земле — казачье демократическое устройство жизни, мало-мальски терпимые формы общественного существования! Формы свободы железного порядка, когда воистину «один за всех, все за одного!».

Он перевел дух и договорил более спокойно:

— Бракосочетания царствующих особ! Во что это вылилось? И наших царевен брали в свои семьи французы, немцы, австрийцы, шведы, датчане, и наши белотелые красавицы хаживали в Луврах и прочих дворцах в роли королев и великих герцогинь, но ведь даже и в голову никому не могло прийти, чтобы там после бракосочетания заполнить двор «своими», а потом и прибрать к рукам целый народ! Именно — в голову не могло прийти — нам! А Зимний дворец, Царское Село, культура наша, законы, гнет на Руси — разве это все русское? Наше? Да боже сохрани, кругом одни Бенкендорфы, Клейнмихели, Фредериксы и Штюрмеры, не говоря уж о миллионерах Цейтлиных... и при каждом нашем Чайковском обязательно ихний Рубинштейн, как в наказание господне, — до каких же пор, поручик?

Он был не прост, этот свежий есаул, бездарный полковой поэт. Это еще и раньше, в Новороссийске, понял Щегловитов, но он не знал, что Жиров «не глуп» до такой степени, да! Жиров просто не считал возможным, по-видимому, показывать себя в натуральную величину в светских кругах, каким-то манером уживался душой в лохани собственной пошлости и цинизма — это было просто невероятно! Да может ли так человек?

— Но была же и другая Россия?! — громко вскричал Щегловитов, мучась от искреннего непонимания. Рука до боли в косточках сжимала мельхиоровую вилку и вздрагивала от напряжения.

— Другая? Не знаю, не видал! — так же громко, в неправедном запале ответил Жиров, приподнимаясь и снова плюхаясь на место. — Есть, конечно, что-то такое... Неопределенное, нечто! — пощупал воздух пальцами, проваливаясь в пустоту. — Нечто. Но прости, поручик, именно так... Хочется рыдать, или пулю в лоб, может быть...

Ярость улеглась, пыл проходил, хмель рассеивался.

— Сколько помню себя, сколько знаю нашу русскую историю, — побледнев, заговорил снова Жиров, — бьются люди над одной нелепой загадкой: что такое есть она, Россия? С выбитыми зубами, с пустыми глазницами, ослепленными шилом, плюясь кровью, во-про-шают: что сей грозный призрак означает? Почему такая сила притяжения ко всему этому, откуда, боже мой, такая любовь, а? Не оттого ли, что все нутром чуют: она, мать-Россия, — в рабстве? Сама — сирота? Да вот стихи, послушай, — нет, нет, не мои, другие! Я их помню издавна, буду помнить даже на краю могилы, как вот и сейчас!

Жиров — бесталанный поэт, как ни странно, помнил чужие настоящие стихи и читал их:

За что любить тебя? Какая ты нам мать,
Когда и мачеха бесчеловечно злая
Не станет пасынка так беспощадно гнать,
Как ты людей своих казнишь не уставая?

Мечты великие без жалости губя,
Ты как преступников позором нас клеймила,
Ты злобой душу нам, как ядом, напоила,
Какая ж мать ты нам?
За что любить тебя?..

Хотелось крика, стенания, всхлипа, и оттого, видно, замолк полковой поэт Жиров, потеряв голос от волнения. И тогда не выдержал молодой сотник и закричал с пьяной истовостью:

— Но дальше! Есть же еще и другие слова! Дальше должны быть непременно: без веры нельзя!

Щегловитов молча смотрел на Жирова, ощупывая мертвыми пальцами мельхиоровую вилку, и чувствовалось, что скоро он отбросит ее и начнет расстегивать кобуру пистолета. Но Жиров бесстрашно усмехнулся, небрежно как-то махнул кистью короткопалой руки и сел.

— Есть, конечно, и другие слова, — едва ли не икнув, сказал он после длинной паузы. — Есть. Но не про нашу честь, откровенно говоря...

— Прочтите же стихи до конца, черт вас возьми! — закричал Щегловитов, и нервный тик вновь задергал правую сторону его лица.

Жиров послушно встал, и было видно, как он тихо покачивается. Нет, не от выпитого. От переполненности души.

Сказал-прочел как бы даже не первую строчку четверостишия, а просто обращаясь к соседу или вопрошая сердечного друга:

— За что любить тебя?

Разрывая крючки и петли, оттягивал ворот тужурки с грязным от пота подворотничком, высвобождая налившийся кровью кадык. И читал погруженно в тишину и самого себя:

За что — не знаю я, но каждое дыханье,
Мой каждый помысел, все силы бытия —
Тебе посвящены, тебе до издыханья!
Любовь моя и жизнь — твои,
о родина моя!
За то, чтоб день один мог снова подышать я
Свободою полей и воздухом лесов, —
Я крест поднять бы рад без стона и проклятья,
Тягчайший из твоих
Бес-чис-ленных
Крестов!..

— Господа... Но это... — продолжал Жиров, красный от духоты, водки и волнения, в распахнутой на все крючки куртке. — Это, господа, не про нас!.. Это скорее про Миронова, господа! Только про одного Миронова, которого мы все прокляли, как блудного пса, и предали анафеме не единожды, а он один... смог предугадать Рок, нависший над всеми нами и над его народом! Да, он смог — именно это сказал в свой смертный час Федор Дмитриевич, светлый ум, простивший всех нас, грешных... А я, к сожалению, понял все это слишком поздно, господа! — Жиров вдруг содрогнулся всей мощью своего тела и закрыл лицо руками.

Сотник Пухляков с недоумением оглядел присутствующих и стремительно вышел за дверь, оставив ее открытой.

Никто не хотел смотреть на свежего есаула, так некстати опьяневшего не столько от выпитого, сколько от всей бессмысленной тирады о продавшемся большевикам войсковом старшине.

Беседа оказалась слишком долгой и тягостной.

— Как-кая чушь! — выговорил наконец Щегловитов и брезгливо отшвырнул на середину стола вилку, звякнувшую посреди стеклянной посуды. — Какая интеллигентская слюнявость, есаул!

— Вы это поймете позже, — трезво сказал Жиров и мокро хлюпнул носом.

— Я этого никогда не пойму, ибо я, слава богу, не донской казак! — весь напрягаясь, сказал Щегловитов. — Я не казак, я еще не раскис от этой социальной антимонии и сантиментов, я еще намерен бороться! Теперь уже, правда, без поручений свыше, единственно — на свой страх и риск! И не иначе. Только так и возможно оправдать эпикурейски-бессмысленное прозябание на этой грешной земле, в этом лучшем из миров!

Да, Щегловитов мог бы теперь объяснить, зачем он появился в Керчи, а не в Севастополе, куда сбежалась вся полудохлая, пахнущая нафталином и псиной аристократия Крыма! (О, как он их всех ненавидел, этих сановных бездельников и обирал!) Нет, здесь он мог еще затеряться в толпах завтрашнего дня, снова надеть кожаную куртку и фуражку со звездой и появиться, как несгорающий из пепла, в неразберихе и кутерьме красного праздника, в штабе дивизии или корпуса, у самого товарища Каширина. И продолжать свое дело дальше, дальше, до полной победы над врагами его белой России, либо до собственной смерти, как уж повезет!

Но Щегловитов не успел ничего сказать даже приблизительно (личных секретов в пьяной компании выдавать он и не собирался), потому что на третьем этаже прогремел сухой выстрел, и все бросились в коридор и на лестницу. Знали, по-видимому, кто и где выстрелил.

— Сотник, господа! — тонко закричали наверху. — Готов!

Щегловитов немо смотрел на Жирова, вопрошая и укоряя в чем-то. Тот невозмутимо закурил свежую папироску и сказал, помахивая обгорелой спичкой:

— Сейчас... там! — поднял глаза к потолку, на третий этаж. — Там торжественный момент встречи усопших не по своей воле... душ! Негодяя Голубова и молодого искателя истины и чести Пухлякова. А вы... Впрочем, что ж! Как вам пьеска?

— Допьем? — примиряясь, спросил Щегловитов.

— Не хочу. Колыхает уже... — покривился Жиров.

— Мне надо, есаул. На посошок, или, как у вас на Дону гутарят, стременную! Завтра у меня новый ход... конем, есаул.

— За это — пожалуйста.

И Жиров выцедил последнее из бутылки, точно разделив содержимое над двумя плебейскими рюмками толстого стекла. И почему-то долго еще держал опрокинутую бутыль в руках, не ощущая ее пустоты.

Щегловитов же был совершенно трезв. И вокруг него продолжалась вполне трезвая жизнь, ценная каждой своей подробностью и каждым своим неповторимым мгновением.

Миронов...

Много всего было за плечами, а все-таки осень эта, третья осень Советов, с самых первых дней сентября и до настоящей минуты была безраздельно его, цвела кровью и красными флагами его непрерывных, блистательных побед! Пусть еще жила тревога в душе от неверной возни неких близких сотрудников, провокаций чужой контрразведки, настораживал приезд Смилги, но правда-то была пока с ним, та правда подвига, какую не затушуешь никаким наветом... Ратный успех переполнял душу и окрылял к жизни и новым свершениям. Как бы то ни было, но все знали: последний залп в гражданской войне дали пушки 2-й Конной армии, подавив

последний очаг сопротивления белых. За четверо суток — с 11 по 14 ноября — армия Миронова захватила в плен 25 тысяч солдат Врангеля, более 60 орудий, до 100 пулеметов, тысячи снарядов, 4 миллиона патронов, 32 аэроплана, миллионы пудов продовольствия и разной другой военной добычи. В штабе Фрунзе хорошо знали также, что, начав операции 8 октября с огнеприпасами своих складов, армия Миронова продолжила военные действия вплоть до окончательного разгрома противника исключительно на трофейном боезапасе. Она буквально жила за счет белых, захватывая их обозы и отбивая артиллерию и транспорт. Потому-то нынешний парад на симферопольской площади с десятками кумачовых знамен и флагов, с шеренгами конных и пехотных дивизий, где Республика чествовала героев, был и в его честь.

С трибуны, увитой по краю гирляндами южной хвои и лавровишни, говорил член Реввоенсовета фронта Гусев-Драбкин:

— ...Перед нами стояла армия Врангеля, лучшая белогвардейская армия за все время гражданской войны, в которую стекались все те элементы, которые сражались на Восточном фронте, в рядах Юденича и в Польше. Это отборный цвет белогвардейцев, махровый цветок, который ни в коем случае не пошел бы на мир с Советской Россией! Врангель создал сильные укрепления на Перекопе, в районе Сальковского перешейка и Чонгарского полуострова... У них были прекрасные танки, много аэропланов. Мы по сравнению с ними были нищие. Геройский подвиг Красной Армии совершенно не поддается описанию. Ничего подобного в течение всей гражданской войны мы не видели! В две недели крымские белогвардейцы были уничтожены, и самая большая заслуга в этом как группы товарища Блюхера, сдержавшей первый натиск врага под Каховкой, а затем взявшей Перекоп, так и, без сомнения, 2-й Конной армии, которая в относительно короткий срок трижды увенчала себя славой непобедимой конницы революции!

Стояли позади выступавшего оратора сам Фрунзе, командармы Авксентьевский, Буденный, Уборевич, член РВС 1-й Конной Ворошилов, начдив-51 Блюхер, Миронов. Слушали Гусева.

— Напоминаю, товарищи, что 2-я Конная армия в начале октября представляла из себя остатки прежней 2-й Конной, ослабленной, растрепанной предыдущими боями. В течение двух недель благодаря энергии работавших там товарищей слабо подготовленную армию удалось пересоздать! 2-я Конная проявила в бою такую силу, что Врангель был введен в заблуждение и принял ее за армию Буденного... — при этих словах Ворошилов, стоявший рядом, легонько тронул Миронова за руку и усмехнулся: дескать, знай наших! Миронов ответно кивнул: стараемся, мол... — ...Врангель выставил против предполагаемой 1-й Конной свои лучшие дивизии марковцев, корниловцев и дроздовцев и часть донской кавалерии... Но перед ним стояла грозная стена! Он этого в первый момент не понял, не угадал. Он счел возможным давать приказы, чтобы разбить 2-ю Конную армию, но мы смеялись над этим приказом!

После доклада Гусева на высокой трибуне награждали прославленных командармов и начальников дивизий, отличившихся в самой жаркой схватке на последнем рубеже гражданской войны. Миронов стоял и аплодировал каждому, потому что знал: ни одна награда здесь не давалась даром, все было оплачено подвигом и кровью. И вышел к самому барьеру трибуны Михаил Фрунзе, держа в обеих руках перед собою кавалерийскую шашку с золотым эфесом, в богатом литом окладе с тяжелой, золотой кистью темляка. Сказал громко, подняв черную, густую свою бородку:

— Товарищи! Если говорить коротко, то, по-моему, командовать конницей надо всем нам учиться у товарища Миронова!

Заревела площадь слитными, восторженными голосами — это бригады 2-й Конной приветствовали командующего фронтом Фрунзе, а с ним и своего командарма. Лошади фыркали и прядали ушами от оглушительного рева красноармейских глоток, прокуренных и простуженных в недавних боях. Кое-кто по старинной партизанской практике еще кидал вверх шапки, папахи и остроконечные, ушастые богатырки, и эскадронные строго косили глазами, приглашая к более организованному выражению чувств в парадном строю. Кричали заодно и первоконники, отличившиеся на Чонгаре (их командарм уже имел Золотое оружие с прошлого года), и уральцы Каширина, и пехота, выделенная для парада из 4-й, 6-й и 13-й армий.

Фрунзе стоял, выпрямившись и даже несколько откинувшись плечами, пережидал, пока отшумят страсти, пока уляжется шум от сознания общей великой радости — окончания войны. Выбрал время и, все так же держа тяжелую шашку на вытянутых руках (золотой темляк медленно покачивался ниже его правой руки), громким голосом прочитал на память строгие и торжественные слова наградного постановления:

— В ознаменование исполнения гражданином Филиппом Кузьмичом Мироновым, командующим 2-й Конной армией, своего долга перед социалистическим Отечеством в бою против его врагов во время войны с белыми армиями Врангеля, за выдающуюся храбрость и талантливое командование Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Советов вручает ему высшую воинскую награду — Золотое Почетное оружие Республики, боевую шашку в золотом окладе!

И, переведя дыхание, сказал тише:

— Товарищ Миронов, подойдите для получения награды!

Миронов принял шашку по старозаветному обычаю, преклонив колено, поцеловал орден Красного Знамени, наложенный на позолоченную обоймицу ножен. Встал.

— Помните, товарищ Миронов, какую шашку вы получаете, — сказал Фрунзе. — Республика рабочих и крестьян выражает вам величайшее доверие как

своему лучшему коннику и стратегу. Берегите это доверие!

Миронов взял «на караул» и сказал побледневшими губами:

— Я слуга советского народа до последнего моего вздоха. Клинок этой шашки не посрамлю в грядущих боях за дело трудящихся!

Ножны со сверкающим эфесом казались непривычно тяжелыми. Ветер был холодный, перепархивали снежинки, и леденящее золото жгло жаром ладони. Оркестр играл туш так же, как после предыдущих награждений.

Выходили к награде Ворошилов, Каширин, Авксентьевский...

К Миронову подошел Блюхер и помог пристегнуть к портупее новую шашку, ободряюще встряхнул за локоть.

Начинался парад. Шли повзводно пехотные части, на дальнем краю площади разворачивались к маршу кавалеристы. Миронов вздохнул с великой радостью, всей душой ощутив вдруг главный смысл митинга: ведь гражданская война, в самом деле, кончилась, завершилась нынешним днем! Свершилось главное, ради чего он отдал столько сил и крови.

Усмехнувшись тому, что Золотое оружие приличествует больше мирному времени, чем военному, примерил руку к тяжелому эфесу. Было непривычно, и он медленно, с потягом, обнажил до половины голубоватую, полированную и украшенную чернью полосу клинка, сделанного в Златоусте. И вдруг обожгло глаза и душу глубокое тиснение по булату, исполненная навечно каллиграфическая вязь:

«Народному герою — от ВЦИК».

ДОКУМЕНТЫ

Из Москвы, по телеграфу Командъюж
4 декабря 1920 г.

2-я Конная армия, руководимая своим доблестным командармом т. Мироновым, в боях 13—16 октября западнее Никополя разбила лучшие конные части Врангеля — конкорпус Барбовича и этим ударом создала перелом в врангелевском наступлении на правом берегу Днепра. Преследуя по пятам разбитого противника, вынужденного поспешно отойти за Днепр, армия захватила большие трофеи. В операции окончательной ликвидации Врангеля т. Миронов начал переправу 26 октября за два дня до общего наступления, трехдневными смелыми боями привлек на себя все внимание Врангеля, который принужден был бросить на него лучшие свои части. Этими искусными действиями 2-й Конармии т. Миронов облегчил нашим главным ударным частям выдвижение на Перекоп и овладение им. После нашего проникновения в Крым 2-я Конармия, руководимая т. Мироновым, приняла участие в преследовании отходящего противника, не дав ему возможности задержаться на промежуточных рубежах.

Находя необходимым в настоящее время отозвать т. Миронова согласно выраженному им желанию в распоряжение Главнокомандующего РВС Республики, объявляет т. Миронову благодарность за умелое руководство 2-й Конной армией (ныне 2-го конкорпуса), оказавшей важное содействие в полной ликвидации Врангеля.

Вр. командующим 2-м конкорпусом назначается т. Василенко, до прибытия которого в командование корпусом вступить одному из начдивов по Вашему выбору.

№ 7078/оп

Зампредреввоенсовета *Склянский*.

Главком *Каменев* [1].

16

«...И вечный бой, покой нам только снится!..» Какой поэт именно написал эти беспокойные строки, Миронов не помнил, а слова эти повторял в последние дни с особым пристрастием. Выезд его в Москву задерживался, оказалась бессильной подпись Склянского: сам нарком Троцкий приказал силами корпусов 2-го и 3-го подавить на Южной Украине вновь забродившую махновщину, это разбросанное по степям «гуляй-поле». Миронов еще по привычке назывался командармом, а конница его уже входила в рамки мирного времени в ранге корпуса. Дивизии таяли, красноармейцы старших возрастов уезжали по домам, некоторых забирали в Трудовую армию.

В первых числах декабря уехал в Москву Дмитрий Полуян, чтобы приступить к обязанностям председателя казачьего отдела ВЦИК. Вслед за ним отозвали комиссара штаба Михаила Карпова, и через несколько дней на его место прибыл бравый, подтянутый, хорошей офицерской выправки комиссар — Сергей Никонович Щетинин, кажется, из резерва кавкорпуса Каширина.

Миронову было не до того: махновские отряды возникали то тут, то там, метались по завьюженной приморской полосе бывших запорожских степей, умело уклоняясь от красных дивизий. Пришлось брать под свой контроль большую округу восточнее Мелитополя. От реки Молочной, где дозор несли старые блиновцы, до Большого Токмака, занятого дивизией Лысенко, — больше двухсот верст. И все это степное пространство по ночам простреливалось большими и малыми бандами, они терроризировали милицию, налетали на штабы. Со стороны железной дороги Пологи — Бердянск Миронов рассредоточил 16-ю дивизию Медведева и медленно стягивал кольцо окружения. Но батько Махно, находчивый и жестокий партизан (с ликвидацией Врангеля вновь вышедший из подчинения у красных), сумел выскользнуть все же с главными силами из кольца и неожиданно устремился в Донбасс, на границы Донской области. Миронов не особенно огорчился этим, стараясь избегать крупных кровопролитий. Судьбу Махно решало само время, важно было лишить его пространства, маневра и питательной связи с родными селами.

Салон-вагон командарма-2 со штабными теплушками и охраной медленно кочевал на восток, минуя Молочанск, Большой Токмак, Розовку, и далее по

---

[1] Душенькин В. Вторая конная, с. 208. С фотокопии.

шахтерским закопченным, вымирающим от голода и стужи полустанкам без числа и названия до родимой донской границы — станции Гуково и зовущей к себе Лихой...

На станции Камыш-Заря поджидала его Надя, ехавшая от родителей из городка Марганца. Вбежала в вагон, как только притормозил состав, молодая, свежая с холода и желанная, в распахнутом дубленом полушубке с белой опушкой — у Миронова в эти минуты перестала болеть плохо заживавшая рана, забыл про боль, про усталость, треволнения последних недель и даже про Махно. Чувствовал одно — не молодая жена его повисала на шее, целовала в жмуристые глаза и привядшие, сухие скулы, а просто сама молодость вновь возвращалась к нему, щадила жизнь, приуставшую и уже заметно запаленную в невиданном жизненном аллюре...

— Ну, ну, люблю, люблю, Надюша, милая, что ж еще сказать, — соскучился и заждался, как служивый первого призыва, ей-богу! Какая ты вся упругая, сильная у меня!..

Надя тоже чувствовала, какие сильные руки у него, самого лучшего на свете человека, мужа ее, самого прославленного теперь и знаменитого командарма! Боже мой, а сколько за плечами всего, чуть вспомнишь — и слезы из глаз!

Военные дела временно поручил начальнику штаба, испросил у доктора краткосрочный отдых на ранение и усталость. В тайне же со дня на день ждал нового вызова из Москвы, но вестей все не было...

На Новый год к ним в вагон пришла Таисия Ивановна Старикова, старший инструктор политотдела, временно заменявшая отбывшего в командировку Якова Попка. Коротко стриженная тридцатилетняя женщина с лихим, почти мужским чубом и бесоватинкой во взгляде, которую Миронов тут же отрекомендовал Наде «бой-бабой» и «чертом в юбке». Подружились. Старикова была из тех женщин, о которых бывалые вояки после вспоминают с восторгом и удивлением, а в жизни сторонятся, чтобы не попасть в «коготки» и на острые зубы... Впрочем, у них с Надеждой много было общего в характере и способах самоутверждения в жизни, только Надя около мужа отчасти угомонилась, «обабилась», отвыкла от кавалерийского седла, а для Стариковой — увы! — еще не предвиделось ни привала, ни дневки.

За горячим самоваром рассказывала о себе и там, где надо бы всплакнуть, начинала острить, грубить и бешено сверкать черными, озорными глазами. Где-то у чужих людей, в рабочей слободке при фабрике «Сиу» в Москве, росла у нее маленькая дочка, да были за плечами два тюремных срока, да партийный стаж чуть ли не с девятьсот пятого — вот и вся ее жизнь. О гражданской войне уж нечего и говорить: была сначала на петлюровском фронте, потом в Царицыне, а теперь вот — Врангеля доломали, домой хочется, а нельзя...

— Тоже не пускают домой? — усмехнулся Миронов, тайно сочувствуя и чужому ожиданию вызова в Москву.

— Другие вон едут, когда хотят! — скрипнула зубами Тая и наскоро поведала Мироновым историю Аврама-инструктора, сбежавшего от ее расспросов прямо к товарищу Троцкому, в Реввоенсовет... — А тут вот — не получается, куда ни крути, кругом — Золушка!

Тая шутила с глубоко запрятанным ожесточением, хлопала себя по бедрам с неподдельной безнадежностью... Уходило ее время, ведь уже за тридцать побежали годы-годики — иной раз, мол, и задумаешься...

Облокотилась на стол, долго и пронзительно смотрела на Миронова и его молодую жену и сказала с вызовом, игриво скрипнув зубами:

— Ох, Надька! Не была б ты, товарка, такая молодая, годная, отбила бы я у тебя Филиппа Кузьмича, ей-богу! Ну, а что? Почему эт тебе одной? Какая тут справедливость? Эх, судьба моя, политика гольная!..

Надежда и такие шутки умела принять, но общественное равенство насчет мужчин отрицала категорически:

— Надо бы, Тая, хватать его раньше, под Царицыном, когда он без орденов и золотой сабли в атаки ходил, когда по нем стреляли в каждой атаке, вот когда!.. А теперь-то что, теперь и всякая не отказалась бы! Теперь, после Балашова, слез моих и бед горьких — не отдам!

Прикладывала голову к плечу мужа, а Миронов, гладя ее волосы, не прочь был поддержать этот шутливый разговор.

— Не говори, Таисья Ивановна, — где только мои двадцать лет! Не говори, дорогая моя комиссарша! Не было бы Надюшки, так я бы особенно-то и не артачился, ей-богу... Наше дело такое: не зевать! А кто в этом свете праведник, тот пускай бросит в нас камень!.. А? Только вот нога сильно побаливает, ходу не дает, и шашку эту, золотую, я скоро вроде посоха либо инвалидного костыля буду носить. Бывают, говорят, и незаживающие раны от осколков и разрывных пуль, вот беда! Вникни, Тая, что при этом у меня еще и жена молодая!

— Ничего, в Москве еще увидимся, товарищ командарм! — обещала Старикова. — Это хорошо, что вас в Москву зовут, значит, будут и у меня свои люди там, хорошие знакомцы. А то ведь сразу-то не найдешь, много всякого люда кружится, а путных — мало... Вот тут еще комиссар новый приехал, тоже не поймешь, что за таинственный френч... Вроде я его где-то видала, а где — не вспомню!

Смеялись, балагурили, распивали чаи целую ночь, и в том было доброе предзнаменование на весь новый год. Уже и приморились все, за вагонным окном порядочно рассвело. Поезд и тот укачался, тихо тормозил на какой-то небольшой станции. Миронов отодвинул серенькую шторку, прочел вслух вокзальную вывеску: «Щётово...» и опустил ткань.

— Какая... станция? — вдруг, очнувшись, громко спросила Старикова и поднялась со стула.

— Щётово, — повторил Миронов.

— Вот, вот, вот!.. Эта самая фамилия и была! — вдруг, как ненормальная, спохватилась Таисия Ива-

новна, быстро надевая на голову свою новую суконную богатырку со звездой. — Ах ты, гад ползучий, а я его никак раскусить не могла! А теперь — пожалуйста, мы — в дамках! Извиняйте меня, товарищи дорогие, но мне в Особый отдел опять надо! Бегом!

Тут Старикова заскрипела зубами от истинного негодования и, накинув полушубок, кинулась из салон-вагона. Мироновы с недоумением посмотрели вслед ей и переглянулись.

— Я же говорил: черт в юбке, — махнул рукой Филипп Кузьмич.

Вновь пришла Старикова только на второй день и рассказала совершенно дикую историю.

На последнем совещании в политотделе (Миронова туда не приглашали из-за болезни ноги и «медового месяца» после разлуки с женой...), так вот, на этом совещании выступил неожиданно штабной комиссар Щетинин и завел речь о повышении политической бдительности, о недоверии некоторым военным спецам из числа бывших офицеров... В частности, отметил в резкой форме, что надо особо выяснить связи Миронова с Махно, о чем его предупредили, мол, в Реввоенсовете фронта. Заявил так: Миронова неоднократно уличали в тайных связях с генералом Красновым, с ним пытался наладить недвусмысленные отношения и Врангель. Что касается его, Щетинина, выступления, то оно вызвано двусмысленной игрой Миронова с бандами Махно, которого почему-то не смогли уничтожить в Гуляй-Поле, а лишь оттеснили в пределы бывшей Донской области, чтобы, возможно, использовать для затравки среди бывших белоказаков, которые готовы всякую минуту поднять восстание...

В этом месте ее рассказа Миронов, конечно, взорвался, закричал и забегал по всему салон-вагону, невзирая на больную ногу и прихрамывание. Судя по глазам, он вовсе потерял самообладание.

— О, дураки и сволочи, богом проклятые! Не напились они еще этой кровушки, какая называется гражданской войной! Ну что ж это получается, скажите на милость!.. Ведь умирает уже махновщина-то, умирает естественной смертью! Стоило только загнать их в чужие места, оторвать от Гуляй-Поля, и дохнут, как бродячие собаки, без очков видно! И кому же это все не ясно? Тому, кто про казаков любит всякие небылицы складывать? Так ведь и это хорошо известно, что казаки нынче против Советской власти восставать не будут! Не однажды и горько учены, да и нету уж среди них таких, чтобы ярились!

Старикова слушала, покусывая губы: он не давал ей довести рассказ до конца, свое доказывал. Вот, мол, совсем на днях в оперативных сводках сообщалось, что в слободе Михайловке, центре Усть-Медведицкого округа, действительно взбунтовалась и подняла мятеж караульная команда исполкома, командир — бывший штабс-капитан Вакулин. Точно, было волнение! А то, что казаки из местных не поддержали бунт, — несмотря на ужасающий голод и смертность в округе, жестокое проведение продразверстки! — и не могли поддержать, об этом почему умалчивают? Миронов еще на митингах девятнадцатого года не раз кричал своим казакам, что тяготы нынешней жизни, временные во всех смыслах, нельзя полностью относить на счет новой жизни и новой власти, во многом повинна и старая жизнь! Да и война трехлетняя — кому ж это не ясно? Вот и получилось, что Вакулин этот, подняв бунт в донской стороне, вынужден был уйти сначала в саратовские края, а потом пытался даже пробиться в тамбовские, к Антонову. Но ничего у него не вышло, настигли карательные части из Царицына!

— Да вы мне-то спасибо скажите, весь этот оговор уже ликвидирован! — закричала в тон Миронову Таисья Ивановна. — Мне-то горше всего было слушать это, потому что я в Конной с прошлой осени, а этот Щетинин только заявился! Вроде мы тут все близорукие, а он, видите, бдит! Ну, верно сказать, не одной мне такое выступление его показалось удивительным и странным, прямо ногами по потолку заходил этот свежий комиссар! И тут мне как в голову ударило: а ведь чем-то знакомый человек, где-то я его уже видела, а где — не пойму!

Миронов ходил, прихрамывая, слушал. Таисия Ивановна даже раскраснелась от возбуждения, и стал особенно заметен нездоровый оттенок ее румянца, — чахотка медленно и неотступно сжигала ее горячую душу. «Точно как мой бывший Ковалев! — вздохнул Филипп Кузьмич. — Отчего это все честные люди так рано сгорают в жизни? Ведь это беда, имто и надо бы железную крепость влить в жилы, гляди, и другим полегче было!..»

— Ну, не тяни за душу-то, Таисья Ивановна, а то совсем разобижусь на твои новости! — закричала Надя.

— Точно! — убежденно кивнула Тая. — Видела, только был он тогда без бороды и с другой фамилией! На коммунистическом субботнике речь держал, в Царицыне, еще на провеснях, как только наши отбили у Деникина город! Не могу ошибиться, но какая-то другая у него фамилия была, и хоть режь, не могу вспомнить... Ну, побежала в Особый отдел. Так и так, прошу как следует проверить, что за нового человека к нам прислали, темнит что-то такое, путает, тень на плетень в ясный день наводит!.. А начальник Особого отдела, сами знаете, строгий. «Как же вы, Таисья Ивановна, такое важное дело возбуждаете, а прошлой фамилии у этого Щетинина не помните?» — говорит. И все в окно посматривает... А вот и не могу вспомнить, говорю, ровно как затмение в голове!

— Ну, окаянная артистка, — сказал Миронов и, стоя в отдалении, закурил с досады. — Поменьше чувств и — покороче, сможешь?

— В том и дело! — засмеялась Тая. — Поезд как раз проходил на медленной скорости станцию, ну, утром! А вы и говорите: станция, мол, Щётово! Ну, вы подумайте, вроде как наколдовал кто! Вот я и кинулась опять в Особый отдел! Кричу ему, нашему чекисту: Щеткин! Товарищ Щеткин он был в Царицыне! Вспомнила! Повезло, говорю. И что бы вы думали? Достал он какую-то тетрадочку из стола, сверился и внимательно смотрит на меня. «Не оши-

баешься, товарищ Старикова?» — «Нет, говорю, теперь-то уж могу и перед судом свидетельствовать». А он опять засмеялся и говорит: «Тогда вот прочитай, оперативная сводка трехмесячной давности: разыскивается по показаниям деникинского шпиона и бывшего жандарма Мусиенко, расстрелянного в Воронеже, агент белой контрразведки Щегловитов. Последняя его фамилия-псевдоним в красных частях — Щеткин...»

— Вот какие люди бывают! — вспыхнула Надя сгоряча и как бы натолкнулась на острие последней фамилии. — Щегловитов? Я одного поручика тоже встречала... Он еще с Татьяной тогда что-то замышлял, ну, которая потом... Сдобнова!.. — расширенными от гнева глазами глянула Надя на мужа.

Миронов ее в этот момент не слышал, занятый странным созвучием этих шпионских фамилий и кличек.

— Щеткин, Щетинин, Щегловитов... Кругом — Щ! Волк в овечьей шкуре, — с сердцем выдохнул Филипп Кузьмич и недокуренную папироску швырнул к порогу, через весь вагон. — Так вот откуда этот молодец! Всю жизнь, оказывается, за мной охотится! Пишет всякую гнусь, а печатают — наши газетки, бывает! И ведь с какой наглостью, прямо — в комиссары штаба, и там, в штабе, — навет на командующего! С одной стороны — непостижимо, а с другой, когда раздумаешься, то и ничего, ведь игру-то ведут люди ва-банк! Ну, так где же он сейчас-то, этот Ще, волк в овечьей шкуре?

— Взяли ночью, без шума, — сказала Таисия. — Сегодня. Он даже и за кобуру не схватился, когда вошли.

— Слава богу, — сказал Миронов. И, хромая, ушел на диван.

— Надо таких расстреливать, — сказала Надя.

— Вешать надо. Гирляндами! — в ярости добавил Филипп Кузьмич.

На душе было нехорошо, смутно...

Нехватка продовольствия в стране определила новые отношения с деревней до наступления сева. Январский пленум ЦК партии постановил принять «возможные меры быстрого облегчения положения крестьян», образована комиссия под председательством самого Всероссийского старосты, Калинина. Но мнения по этому вопросу сразу же разделились, возникли на удивление острые споры. Особенно активно вели себя бывшие «левые», сторонники «завинчивания гаек» в деревне. Как и в пору Брестского мира, запахло дискуссией в партии.

— Одна война закончилась, вторую надо начинать, — хмуро говорил Миронов, негодуя на «твердолобых», всякий раз отвергающих единственно спасительные меры по борьбе с голодом и разрухой. Но на этой фразе: «Одна война кончилась, вторую надо начинать...» Миронова сразу «поймал» Яков Александрович Попок и попросил, а скорее — предупредил, что на посту командарма следует выражаться осторожнее, точнее формулировать мысль... Они ехали верхами в Горскую бригаду 21-й дивизии проводить митинг в связи с отправкой части отслуживших бойцов в Трудармию, и тут, наедине, Попок и высказал эти мысли.

Филипп Кузьмич понимал, что, по сути, его начальник политотдела прав. Командарму слова на ветер бросать нельзя, да и балашовский процесс еще не источился в памяти, и следовало бы принять замечание без всякого спора. Но, как всегда, его з а б р а л о лишь содержание спора, суть разногласий. Форма общения как бы ничего не значила для Миронова, когда возникала речь о судьбе людей, целого народа.

— Я понимаю вас, — стараясь держаться мирного тона, сказал он, и при этом даже потрепал коня по холке, чтобы унять внутренний огонь. — Понимаю, что момент горячий и не следует его разжигать необдуманными словами... Беру эту фразу обратно, ее могут истолковать расширительно. Но, по-моему, дело все-таки не в словах, а в делах, в практической политике. Разве можно тянуть дальше с отменой продразверстки? Что вообще мы будем есть на будущую осень?

— А что бы вы предложили? — холодно и отчужденно спросил Попок.

— Я бы предложил — не душить крестьянина, а дать ему возможность свободно трудиться на земле, — сказал Миронов. — Дать ему советский пай земли, помочь семенами, кое-где и тяглом для запашки и объявить твердый, не чрезвычайный, а вполне мирный налог. И мужик за один год «восстанет из пепла» и накормит Республику. Больше выхода нет. Об этом и на партийных верхах поговаривают, насколько я знаю.

— Поговаривают, знаете ли, не все... — усмехнулся Попок, плохо сидя в седле, поерзывая. — Не все так думают, товарищ Миронов. Другие спрашивают: а за что же боролись и когда обещанная коммуна будет? Зачем опять кулаку простор давать?

— Это... какому же к у л а к у? — с нажимом на слово спросил Миронов.

— Деревенскому, — столь же прямо ответил Попок.

— Так ведь в деревне п о р о в н у переделили землю! О каком кулаке речь? Под ним же хозяйственной, имущественной базы нет!

— Ну знаете, кулак всегда свою щель найдет. За кулака, пожалуйста, не ручайтесь! И вообще — власть пролетариат брал не за тем, чтобы отступать!

— Это все — политическая риторика, Яков Александрович, для ликбеза, — из последних сил сдерживаясь, со спазмой в горле сказал Миронов. — Вы лучше ответьте: кто будет пахать и сеять, если политика в деревне останется прежняя?

— Мы затем и организуем Трудовую армию, чтобы выйти из положения и не менять политики. Трудармия, и только она выручит нас. И сегодня, и завтра.

— Такую армию содержать постоянно невозможно, люди домой запросятся... Здесь у вас что-то не продумано. Урожаи от этого не прибавятся, верьте

слову! Я ведь совсем недавно заведовал земельным отделом в Ростове, говорю не понаслышке! И вообще... когда же будет пересмотрена вся политика военного коммунизма? Ведь война-то кончена — в основном?

— Этот вопрос пока не стоит... — холодновато, с сознанием собственной правоты протянул Попок, так же, как и Миронов, стараясь не горячиться, не высказываться до дна. — Военный или не военный коммунизм, но он будет в России, иначе незачем было заваривать социальный переворот. Надо это понять. Сознательно идти на жертвы во имя мировой революции.

— Гм... А Ленин, между прочим, неоднократно и настойчиво утверждает, что политика военного коммунизма — вынужденная и временная мера, — не в силах противостоять политической демагогии, — ухватился Миронов за непререкаемый для себя авторитет. — И с этим наконец должен быть согласен всякий здравомыслящий человек! Вы разве не бывали в деревне, не слышали, о чем там говорят и думают?

Попок несколько минут ехал молча, меняя позу на седле, чтобы избежать разбитости, и по его виду можно было понять, что он не склонен к продолжению разговора. Однако, подумав, ответил:

— Точка зрения товарища Троцкого, насколько известно, совсем другая. Давайте дождемся съезда, он будет через два-три месяца. И тогда доспорим до конца...

Миронова этот разговор никак не удовлетворил. Он даже его насторожил, как огромная, ни с чем не сравнимая опасность, таящаяся внутри общества, в основном — городского, берущегося решать сугубо сельские дела.

После митинга они с начальником политотдела зашли в бригадный лазарет, поговорили с выздоравливающими бойцами, пообещали улучшить харчи, а при выходе наткнулись на санитарные носилки с мертвым — его выносили из изолятора бойцы похоронной команды. Красноармеец умер вчера от огнестрельной раны в спину. Седоватый ежик волос, крупный лоб и серые, поношенные усы крутым навесом над подбородком привлекли внимание командарма. Он вгляделся в морщинистый профиль и спросил, как фамилия убитого.

— Осетров Григорий Тимофеич... — доложил отделенный, стоя навытяжку. — Домой уж засобирался, перестарок был...

Миронов как бы очнулся, припомнив, кто такой был Осетров. Это ж вахмистр усть-хоперский, перебежавший осенью восемнадцатого в его дивизию от Краснова... Самый трудный час был, и Миронов тогда очень надеялся, что мобилизованные Красновым казаки начнут переходить к Советам. И едва ли не первым пожаловал Григорий Осетров... Как это он докладывал тогда? «Говорили, что в три месяца разобьем красных, а немцы, понимаешь, наложили на Дон контрибуцию: сто миллионов пудов да миллион голов бычков... А на хрена, скажи ты, нам это спонадобилось?..» И еще — «многие казаки желают к Миронову ныне переходить, токо побаиваются, как их примут...»

Долго воевал казак Осетров, с первого дня германской, считай — седьмой год разменял... А вот не дошел до дома...

— Где его? — спросил Миронов глухим голосом.

— На посту, в охранений. В спину! — сказал тот же отделенный.

— В спину?!

— Одно слово, махновцы... Выше лопатки, пуля из-под ключицы вышла, товарищ командующий...

Миронов постоял над убитым, сняв папаху. Начальник политотдела тоже постоял рядом, сочувственно вздохнул.

— Знакомый ваш? — спросил после.

— Да. Красный партизан с восемнадцатого, земляк.

— Жалко, конечно, — кивнул Попок.

После ехали молча и разошлись холодно, почти не попрощавшись. У Нади был готов самовар, и сама она казалась очень свежей, праздничной, но Филипп Кузьмич был неразговорчив и хмур, его давил прожитый день, и вновь приходили на ум оспариваемые кем-то слова: «Одна война кончилась, вторую придется вести... Не миновать новой схватки!..»

Поздно вечером пришел адъютант Соколов в сопровождении старшего шифровальщика Боярчикова из штаба. Улыбался и цвел ликом, будто привалило всем и лично ему большое счастье. В руках — бумага.

— Филипп Кузьмич! — вольно, не по уставу обратился Соколов. — Поздравляем вас! Правительственная телеграмма — только что. Срочная, лично вам, в руки командарму товарищу Миронову...

Шифровальщик Боярчиков протянул Миронову только что полученную телеграмму и, отступив, вытянул руки по швам.

Миронов прочел, несколько отнеся руку от глаз:

...Постановлением ВЦИК, Совета Труда и Обороны Вы назначаетесь инспектором кавалерии РСФСР. Имеете отпуск устройства личных дел до двух недель. Прибыть Москву исполнения обязанностей главном штабе Красной Армии не позже 15 февраля 1921 года.

Каменев, Горбунов.

На станции Лихая зашел в вагон — повидаться и поздравить с высоким назначением — старый знакомец Ипполит Дорошев. Он теперь, оказывается, работал в Донисполкоме заместителем председателя, больше все занимаясь земельными делами. Посидели короткое время, обменялись новостями и мнениями в связи с начавшейся дискуссией по продразверстке, поговорили о предстоящем партийном съезде.

Дорошев плохо выглядел — исхудал, изнервничался, как видно. А возможно, даже какая-то болезнь съедала его изнутри. Полные и когда-то витые в благодушной улыбке губы его теперь не хотели без причины улыбаться, их подрубили по углам рта свежие морщины. Миронов не хотел спрашивать о причи-

нах, но Ипполит сам рассказал о своих глубоких тревогах в последнее время.

— Понимаешь, Филипп Кузьмич... Особо смущает то, что не дают дышать разного рода фракции и оппозиции! Возьми ты хотя бы и нынешний вопрос. О продналоге. Ведь назрел, назрел до боли и крови этот вопрос об отмене продразверстки, и каждому ясно, что надо успеть его решить до начала полевых работ! До начала весны, если не хотим полностью оголодить страну и народ к осени, так нет! В одну дудку со всех сторон дудят эти — Блохин, Френкель, другие их люди — не давать потачки мужику! Углублять военный коммунизм и никаких, мол, новых политик по этому вопросу! Боюсь, что будет раскол, как было в свое время по Брестскому миру! Ну, тогда-то сами события и немцы научили уму-разуму, а теперь? Только разве голод научит?

Миронов понимал все не хуже политработника Дорошева.

— Ясное дело, — хмуро сказал он. — Им коммуну подавай — немедленно и чуть ли не по «щучьему велению»! Видел я таких мечтателей с холстинной сумой через плечо. Скрытые враги, как правило.

— Кстати, насчет коммун...

Дорошев отстегнул клапан верхнего кармана своей полувоенной тужурки и достал пачку бумаг. Выбрал один листок и подал Миронову.

— Вот, отпечатки копии. Возьми, Филипп Кузьмич, на всякий случай. Письмо Владимира Ильича нашим железнодорожникам, на станцию Пролетарская. Ну, бывшая Великокняжеская... Я знаю, что тебя однажды обвиняли в непонимании этого вопроса, так можешь держать в кармане эту бумагу в качестве... как бы сказать, высшей охранной грамоты! — Толстые и какие-то невеселые губы Дорошева слабо улыбнулись. — У нас в исполкоме такие копии розданы всем работникам... Там ясные и верные слова по этому вопросу — в самом конце...

Миронов взглянул только на подпись и, не читая, положил свернутый вчетверо листок во внутренний карман вместе с партбилетом. Времени до отхода поезда оставалось в обрез.

— Как-нибудь на досуге почитаю, — сказал Миронов, когда Дорошев протянул на прощание руку. — И вот что... Передавай, Ипполит Антонович, мой самый нижайший поклон Андрею Александровичу Знаменскому. Мы с ним когда-то дружно работали...

— Знаменского уже нет на Дону, — сказал Дорошев. — Уехал вслед за Блюхером в Хабаровск, назначен наркомом внутренних дел Дальневосточной республики... Сейчас и председателя-то у нас нет, всеми делами вершит временно председатель губкома товарищ Лукашин. Ну, Срабионян, если помнишь! Да и тот собирается ехать в Эривань, надоели и ему эти леваки, донские!.. Еще и Землячка наезжает иной раз, для контроля. В общем, работы хватает по горло, партийных кадров маловато, как всегда. Жаль, что вас, Филипп Кузьмич, забирают в Москву!

— Мне это лучше, — тихо заметил Миронов. — Подальше от политических споров с местными вождями. К чертям! Мое дело: конь, всадник, овес, снаряжение и, когда надо, — атака. А вы уж думайте, в свою очередь, как страну и армию накормить, вооружить! Вам и карты в руки, — и засмеялся невесело, сознавая в словах некую уступку свою, неискренность. Больше, конечно, от усталости... И добавил: — Скоро здесь, у Донца, прощальный смотр проводить буду. Жаль, что не сможете принять участие, Ипполит Антонович...

— Да. Жаль. Но не могу: командировка срочная в Каменскую... Всего хорошего, — Дорошев подал руку, встряхнул ладонь Миронова и быстро вышел из вагона. Дежурный дал отправление.

Когда под вагонным полом мерно заговорили стыки, Миронов достал из кармана листок, полученный от Дорошева, и внимательно прочитал дважды и трижды:

Рабочим, мастеровым, служащим
и комячейке станции Пролетарская
20.1 1921 г.

Дорогие товарищи!

Через посланных вами товарищей Лаврика, Маликова и Быкова я с большим удовольствием узнал о том, как вы организовали посылку подарка трудящимся города Москвы. <...>

Особенно меня заинтересовало открытое вами коммунистическое сельское хозяйство. Сейчас одной из главных задач, стоящих перед Республикой, является развитие и подъем сельского хозяйства. <...>

Вы должны позаботиться о том, чтобы сельское хозяйство ваше было правильно организовано, как учит агрономическая наука, для чего советую вам привлечь к вашему делу знающего агронома.

В особенности прошу ставить работу в коммуне так, чтобы п о м о г а т ь окрестным крестьянам и иметь с ними наилучшие отношения. Без этого и без делового, практического, хозяйственного успеха я коммунам верю плохо и немного даже коммун боюсь.

Посылаю вам всем свой товарищеский привет.

В. Ульянов (Ленин)[1].

Миронов бережно сложил лист, водворил на место, к партийному билету, и мысленно поблагодарил Дорошева за большую поддержку.

Поезд остановился на каком-то полустанке, пришел вестовой Соколов и откозырял:

— Товарищ инспектор кавалерии, Филипп Кузьмич! Тут Блиновская дивизия почти в полном составе... Ждут вас, хотят видеть и проводить, как говорится... По уставу.

Миронов как бы очнулся, оправил волосы, усы, надел шинель и шашку.

В белой, полынно-снежной степи, на самой границе родной Донщины, еще раз промчались парадно,

---

[1] Л е н и н В. И. Полн. собр. соч., т. 52, с. 50—51.

при развернутых знаменах красные казачьи полки Блиновской, отсалютовали блеском клинков, взволновали кровь раскатистым «ура» и себе, и отъезжавшему из армии старому своему командиру. Конские копыта взбивали неглубокий, колючий снег, и сквозящая поземка тут же завивала снежную пыль, сдувала на обочины, в заиндевелые кусты и полосы старых бурьянов.

Было тут и свое торжество, праздник. Но грустно было на сердце Миронова, режущий февральский ветер с далеких отсюда усть-медведицких бугров выжимал слезу. Мало примечал он знакомых лиц в эскадронах, припоминался явственно недавно убитый станичник Осетров. Почти все те, что сошлись когда-то на его призыв в Арчединской и Михайловке, под Секачами и Филоново, почти все они полегли в нескончаемых схватках лихого и непоправимого уже трехлетия, когда один порядок жизни схватился в рукопашной с другим, неведомым. Пришла победа, но не все дожили до этого дня, и слишком много лютого, неизбывного горя скопилось в сердце, чтобы теперь безоглядно и просто радоваться нынешнему дню. Мешало рыдание, схватившее спазмой за горло, выжимавшее влагу из глаз.

Шепотом, едва шевеля обветренными, сухими губами, повторял славные имена полков, как на всяком торжественном смотре:

Славные блиновцы-хоперцы!

Доблестные заамурцы и белозерцы!

Герои-быкадоровцы, сыны мои любимые!

Бесстрашные лабинцы и герои-таманцы! Слава вам!..

Возглашал Миронов славу героям, благодарил красное казачество за лихую работу в боях с Врангелем и Махно, салютовал именной золотой шашкой и на прощание обнялся с начдивом Качаловым — всё! До свидания, мои боевые орлы!

Тут же присутствовал и новый комкор-2, принявший дела, Николай Томин, бывалый кавалерист с Урал-реки, друг Николая Каширина. Он и проводил Миронова на станции, когда салон-вагон прицепили к очередному маршруту. Уезжал в Москву и Тарасов-Родионов, бывший штабист и политработник, а теперь журналист и писатель.

Особой охраны с Мироновым не было, только два ординарца при салон-вагоне. Впрочем, до Царицына тем же эшелоном следовала Особая бригада краснознаменца Акинфия Харютина, направляемая для подавления мятежей на Волге и Тамбовщине. Таисия Ивановна Старикова, незаменимый инструктор политотдела, всплакнула, обнимая Надю, сказала что-то горько-смешное, бабье, и подняла руку с красной косынкой... Поезд дернулся, начал отплывать маленький станционный поселок, остались на платформе провожающие, оторвалось еще раз что-то дорогое от сердца — прожитые и пережитые дни вместе, понятое за это время умом и сердцем.

Взмахнула напоследок косынка Таи Стариковой, и ветер отнес и развеял над белыми снегами и скачущей гривой примороженного бурьяна ее голос:

— Прощайте, дорогие мои! До встречи! В Москве увидимся!..

А вагонные колеса уже набирали скорость, и перестук их отдавался в душе, как предостережение, знак неизбывной военной тревоги.

17

С отъездом Сырцова на работу в Одессу жизнь и положение Евгения Ефремова, способного пропагандиста и деятельного человека, заметно изменилась в лучшую сторону: его перестали шельмовать и третировать. Сказывались, по-видимому, и успехи красной конницы Миронова на фронтах, и то, что во главе губернской партийной организации стал умный и принципиальный человек Лукашин. Уже в конце прошлого года Донком решил укрепить окружные и районные Советы местными, проверенными людьми. Ефремова, в его 26 лет, избрали председателем Усть-Медведицкого окрисполкома в слободе Михайловке.

Неимоверные испытания переносила молодая жизнь, и еще горшие тяготы обещала будущая голодная весна. Михайловские партийцы и члены исполкома жили зимой в состоянии постоянной мобилизованности, без всякой личной жизни и свободных минут, глодали ржаные сухари и пайковую воблу при пустом чае, спали в охраняемых служебных кабинетах по столам и диванам с продавленными пружинами, положив под голову две-три пухлых папки с циркулярами и наган. Казарменная жизнь изматывала, каждый ходил с ввалившимися скулами и горячечными глазами, но иного выхода не было, шла война. Между тем в станицах уже начали пухнуть от голода дети и старики и, хотя население откровенно не поддержало бунт местной караульной команды с ее командиром Вакулиным, по ночам нет-нет, а все же гремели кое-где одиночные выстрелы обрезов, сводились давние и новые счеты... Пропагандисты выезжали в хутора без большой охоты, население требовало уже не пустых слов, а керосина, гвоздей, соли, мыла в обмен на изымаемый хлеб и картошку, но ничего этого у новой власти пока что не было...

В начале января на Дону вновь замаячил Ивар Смилга — его назначили в РВС Кавказского фронта — Ефремов это заметил. А чуть позже неожиданно отозвали в Ростов председателя окружкома партии, бывшего питерского партийца Раевского, а взамен его на неопределенное время приехал член «тройки» по борьбе с бандитизмом в Донской области Кржевицкий с помощником и адъютантом Барышниковым. Ефремову стало труднее: Кржевицкий, еще даже не кооптированный в окружком, стал очень размашисто вмешиваться в работу, гонял продагентов как в самые горячие дни ссыпки хлеба, закручивал все гайки, какие только возможно. В ближнюю станицу Арчединскую выезжал сам для показательного суда над злостными должниками по хлебной и денежной контрибуции, и в конце концов арестовал там председателя совета «за потачку населению, саботирующему разверстку...». Временно же поставил самоуправно на

место председателя верного своего человека Барышникова.

Именно в этот момент и взбунтовался Вакулин.

Ефремов по молодости кипел и возмущался, пробовал, конечно, выяснить отношения с Кржевицким, но успеха, понятно, не имел. Да и правду сказать, этот старший товарищ, Кржевицкий, мало-помалу прибирал к рукам и самого председателя исполкома Ефремова, то прижимая своими очевидными полномочиями «из центра», то поддерживая в иных, трудных положениях, а то и прямо захваливая в докладах. Наконец, на днях произошел и такой случай, что Евгений просто симпатией проникся к приезжему товарищу.

Сразу после Нового года, скромно отмеченного всей ячейкой, Кржевицкий вдруг созвал экстренное совещание исполкома с довольно странной повесткой дня: «О политической бдительности, борьбе с провокациями и укреплении дисциплины» и туда же вызвал одного из охранников продкома, бывшего красного партизана Скобиненко.

Никто не мог бы, даже с течением времени, понять и оценить этот спектакль, не говоря уж о молодом Ефремове или даже его заме Лавлинском.

Кржевицкий сделал необходимую паузу и после объяснил конкретно:

— Каждую неделю, товарищи, от него, так сказать, верноподданический донос: «Я заметил, я видел, я предполагаю...» Я, я, я! И все — на своих же товарищей по ячейке! Вот, Скобиненко, как хочешь, но я буду здесь читать твои... произведения!

Скобиненко стоял, вытянув руки, то прижимая, то оттопыривая большой палец правой руки, будто взводя курок тяжелого пистолета...

— Вот, скажем... письмо на продкомиссара Абрамчика... Читать? Абрамчика теперь нету, отложим. А вот — на бывшего председателя исполкома Еровченко, который теперь в наркомземе, в Москве, — тоже отложим. А вот и на товарища Ефремова — читать?

Все, конечно, пожелали ознакомиться с содержанием. Письмо было дико несуразное, клеветническое. Всем стало стыдно и противно, не по себе...

С видом победителя, а скорее — жреца, приносящего богоугодную жертву, Кржевицкий взял из грязноватой бумажной пачки неряшливо оборванный листок из ученической тетрадки в косую линию и снова вперил глаза в несчастного осведомителя:

— А вот письмо и на представителя Донческа, старого большевика Прохватилова... Этот Скобиненко, товарищи, ничем не брезгует! Любого коммунара затопчет в навозе, на посмешище, за чечевичную похлебку! Неужели и это будем читать? Лучше не стоит, товарищи. Этот гражданин, с позволения сказать, — Кржевицкий небрежно и досадливо отмахнулся от Скобиненко, — ставит нас прямо в затруднительное положение, мы не поспеваем расследовать эти донесения-наветы! Думаю, что Скобиненко, как личность — просто психически неустойчивый субъект, и нет нужды привлекать его к судебной ответственности за эти преступления. Но, товарищи, он без-ус-лов-но! понесет! наше! возмездие! — продекламировал едва ли не по слогам Кржевицкий. — Да! Возмездие, справедливое в своей сущности, и не-от-вратимое! Возмездие коллектива, чистого и политически зрелого, не желающего далее терпеть Скобиненко в своих рядах! Правильно, товарищи?..

Сам Кржевицкий сидел в середине, развалясь за столом в роли судьи, а длинный Скобиненко, в грязной, потрепанной шинели, стоял перед ним с вытянутыми вдоль шинели руками и дрожал. Кржевицкий говорил меж тем, обращаясь к сидевшим вокруг работникам исполкома:

— Товарищи, политическая работа требует исключительной четкости и честности от ее исполнителей... Зло состоит в том, что мы то и дело впадаем в крайности, либо пропуская искусно замаскированного врага в самое средоточие нашей работы, к жизненным нервам нашей Республики, либо, наоборот, подозревая и подвергая напраслине честных людей! Мы в этом случае отсекаем от себя аб-со-лютно здоровые члены рабоче-крестьянского ор-га-низма и тем также вредим делу! Особо следует обратить внимание на клевету и ложные доносы, товарищи. Это — особо опасные деяния в наш напряженный век, на переломе жизни... Вот перед вами стоит наш член ячейки, бывший красногвардеец, имеющий ранения... Но, к сожалению, я должен сказать: за последнее время этот бывший боец, как увидим далее, совершенно выродился в своего антипода и скрытого врага советского строя!

При этих словах исхудавшее лицо Скобиненко с острыми мослаками ниже глаз и тонкой, голодной кожей на скулах взялось мучной, крупитчатой бледностью. Дело попахивало если и не расстрелом, то многолетней тюгулевкой и всеобщим отчуждением, чего Скобиненко боялся больше смерти. Он неуверенно и сопротивляясь внутренне тому, что говорилось о нем, переступил с ноги на ногу. Башмаки его «просили каши», одна подметка прикручена телефонными проводами — он был попросту жалок.

— Ты бы, Скобиненко, хоть подметку прибил! — насмешливо сказал Кржевицкий, играя черными, нахальными глазами. — Ишь, моду взял — под убогого да хромого инвалида рядиться! С семнадцатого года никак подметку он не мог приладить, горемычный... Смотрите на него: по виду — мухи не обидит, а между тем, товарищи, этот деклассированный элемент завалил наш отдел в Ростове ложными письмами-доносами! Клеветник!

(После, через неделю, месяц, соотнося все это с последующими событиями, Ефремов должен был согласиться, что весь этот спектакль Кржевицкий провел на таком высочайшем уровне фантазии, что не позволил никому из присутствующих хотя бы отчасти усомниться, заподозрить какую-либо подстроенность в происходящем...)

Скобиненко вдруг заплакал.

Искренне, без утайки — задергался, захныкал, из самого нутра у него прорвалось жалкое, глухое урча-

ние, он икнул, как малое дитя, у которого отняли любимую игрушку. И хотя слез никто не увидел, и сухо просверкивали прячущиеся его глаза, все же страх и обида сжали его детски-жестокую душу — видел каждый. В довершение Скобиненко раскрылил зачем-то локти и уронил из-под мышки свою изношенную окопную папаху «здравствуй-прощай». Склонился и, словно слепой, ощупью нашарил на полу вытертый от давности хлопчатный каракуль.

— Что скажешь, Скобиненко, в свое оправдание? Как дошел до жизни столь подлой? — смотрел с издевкой Кржевицкий.

— М-меня... товарищи Севастьянов и тезка мой Федорцов на это наставляли, чтоб глядеть, не прощать гадам кровь нашу пить! — внятно сказал Скобиненко, проглотив последнюю спазму страха. — Офицерье которое и всяких благородных, змей подколодных, какие за пазуху нам, рабочему люду... влезли!

Опять проглотил он сухое рыдание и замолк, голодно и ждуще, как-то по-собачьи глядя в глаза Кржевицкого. Кржевицкий засмеялся от удовольствия.

— Ну, а на товарища Стукачова, председателя «тройки» по восстановлению совласти в нашем округе, кто писал? Он-то, Стукачов, — плоть от плоти, как и ты, Скобиненко... А? Или тот же товарищ Прохватилов, он разве из офицеров?

— Все одно... И Прохватилов — из казачья он! — Скобиненко вновь заработал большим пальцем правой руки, взводя невидимый курок. — Товарищи Севастьянов и Федорцов обратно ж требовали... Ходил в Усть-Медведицкую тожа... всяких казачьих охвицерьев тады брали на мушку...

Начал Скобиненко уже и болтать лишнее. Кржевицкий сразу прервал:

— Севастьянова, как нам известно, царицынская Чека разоблачила, как скрытого левоэсера, Скобиненко. Знай и не забывай! А Федорцов с тяжелым порицанием ис-клю-чен из актива! Не знаешь? Так знай: за провокацию скандала с командирами и политкомами Красной Армии изгнан из рядов еще в восемнадцатом году, запомни! И чтобы в будущем никаких ссылок на скрытых врагов и дураков от политики с твоей стороны не повторялось! Мы исключаем тебя из своих монолитных рядов. Все. Ты свободен. И к складам продкома мы теперь тебя не пустим, будешь... конюхом в похоронной команде!

Скобиненко постоял недвижимо посреди комнаты, похрюкал, словно соображая непонятную для себя задачу, и вышел тихо, неслышно наступая на подметки. Он сразу успокоился, как только решилась его судьба. «Ах, вы так? Ну и я знаю тоже, как мне дальше служить! Могу, при случае, и к Вакулину податься, после с вами, дружками, сведу счеты!..»

Так, во всяком случае, читалось со стороны его молчаливое, сосредоточенное удаление.

Когда за ним закрылась двухпольная дверь, Кржевицкий оглядел всех членов исполкома и повинился, нагнетая в голосе бархатные нотки:

— Я, товарищи, немного поторопился, предрешая общее решение, но... как видите, иного решения ведь и быть не могло? Как вы считаете?

Члены исполкома промолчали. Что тут скажешь? Несмотря на явную преступность действий Скобиненки, все же что-то сегодня и удивляло их. Мало ли шло в секретные и особые органы ложных доносов, наветов и попросту глупых, невежественных кляуз, так на то и сидели там доверенные люди, чтобы отсевать эти плевелы от зерна истины, изымать нужное, а иное выбрасывать в мусорную корзину. К чему весь исполком нервировать в такое напряженное время?

Сам Ефремов отчасти раздвоился душой. С одной стороны, он молча благодарил Кржевицкого, отводившего пустые наветы как от самого Ефремова, так и от других, безусловно порядочных работников УМО, с другой же — он не понимал, не постигал сути «спектакля» и оттого мучился душевно и даже предчувствовал недоброе.

На другой день оказалось, что и окружного военкома Николая Степанятова, бывшего красного командира из 23-й стрелковой дивизии, отзывали в Ростов, на учебу, а взамен ему прибыл прямо из Москвы новый человек. Степанятов сам и привел своего преемника в исполком, чтобы представить местной власти. Небольшой, костлявый, носатый человек в огромной буденовке и кожаном пальто уверенно и четко прошагал от порога и протянул Ефремову короткую, мускулистую руку с захватистыми пальцами.

— Имею честь... Военный комиссар Пауков... С сего числа приступил.

Держался он, как и Кржевицкий, хозяином. Ефремов не подал вида, коротко побеседовал с ним, проверил письмо, в котором Степанятов отзывался на учебу, и приказ Реввоенсовета Кавказского фронта о командировании товарища Паукова в распоряжение Ростовского губернского военкомата с дополняющим его областным приказом о назначении в Усть-Медведицкий округ. Пожалел в душе, что приходится расставаться со Степанятовым, но вслух, конечно, ничего не сказал. Тем более что сам Степанятов был искренне доволен этим отъездом на учебу...

Сначала Ефремов задумывался, по какой надобности в округе вершились все эти перемены, потом стал о них забывать. Закрутились большие и малые дела, январь прошел, а на сретенье — по местным обычаям оттепельный день — закрутила и помела по овражным степям морозная поземка. Хлестало ветром и колючим снегом по облупленным стенам, ржавым кровлям, закрытым ставням голодной и холодной слободы. Скрюченные, молчаливые прохожие на улицах пробегали мимо, не останавливаясь, не узнавая друг друга. Боялись растерять последнее тепло, кутались в воротники от жестокого насилия последних морозов. Совсем мало осталось во дворах скота, коз, не слышно стало и собачьего лая. Ранними утрами, при лимонно-студеной зорьке, с придонских, скудных, вылизанных ветром бугров спускались к окраинным дво-

рам волчьи стаи; выли простудно и тоскливо, не находя привычного, пахнущего коровьим стойлом и овечьим закутком тепла.

Ефремов с товарищами теперь заботился единственно об одном: запасти семена и любыми путями обязать, уговорить, заставить казаков и крестьян засеять свои земельные наделы, ту самую землю, от которой под бременем продразверстки отказывались теперь многие. Москва на середину марта созывала очередной партийный съезд, работы в исполкоме стало еще больше.

Восьмого февраля, в первой половине дня, позвонил знакомый телеграфист со станции, сказал, что прибыл (будто бы по пути в Москву) командарм Миронов, знакомец не только Ефремову, но и всей слободе; персональный вагон его уже отвели на запасный путь; сказал, что поедет в Усть-Медведицкую дня на три, повидать семью, детей... И уже совершенно точно известно (телеграфистам всегда все известно!), что назначен наш Миронов главным инспектором кавалерии и вызывает его в Москву сам Ленин.

Ефремов со Степанятовым, сдавшим дела и собиравшимся в отъезд, зашли к уполномоченному Кржевицкому, чтобы вместе подъехать к вокзалу, поприветствовать знаменитого земляка и крымского героя. Но Кржевицкий отказался, сказал, что перегружен делами, а Миронов, мол, здесь остановился по личным делам и сугубо временно, так что лишнюю шумиху устраивать незачем. Другое дело, что по возвращении из станицы надо бы усадить его в президиум партийной конференции как почетного гостя и героя, это другой вопрос. Конференция открывалась на днях.

Отправились на вокзал вдвоем, но по пути к ним присоединился еще председатель «тройки» Стукачов.

У вокзала кучилась толпа, по улицам, обгоняя Ефремова и его друзей, спешили к площади многие жители. Перекликались, чаще всего раздавалась фамилия Миронова. Зябкий ветер с песком, шлаковой пылью и снегом заставлял каждого прикрывать лицо, прятать голову в воротник, а то перебегать боком, спиной на ветер, и все же люди переговаривались, из дворов выскакивали новые и новые любопытные.

— Слыхали, говорят, Миронов приехал!

— Да ну?! Откуда?

— На станции, проездом! К семье, сколько не видался, поди!..

— Миронов?

— Сам, у него цельный вагон! Командирский!

— Бежим!

На бетонном крыльце грязно-белого, закопченного и обшарпанного вокзала со стрельчатыми окнами стоял Миронов в шинели посреди кричащей и размахивающей руками толпы, и Ефремову еще издали стало слышно, что был совсем невеселым тот крик, многие обидные слова и даже плач примешивался к восторженным восклицаниям, нашлось уже немало и жалобщиков. Сновали оборванные дети в толпе, то ли вокзальная беспризорщина, то ли свои...

Когда подошли вплотную, Ефремов весело кивнул Наде, закутанной близ Филиппа Кузьмича в дубленую боярку с белой опушкой по холодной погоде, и встретил немного растерянный взгляд больших серых глаз. «Неужели это никогда не кончится, Евгений, ну хоть ты вырви его из этой мала кучи!» — как бы вопрошали ее обиженные глаза. Но тут какой-то хромающий детина в грязной шинели, с перекинутой через плечо замызганной торбой и с надорванным по строчке наушником выношенной буденовки заслонил Надю, заорал что есть мочи:

— Ну и завоевали мир, правильна! Завоевали, токо нас тут обратно голодом морют! Всякие разные!.. Управы нетути!.. Куда теперя деваться-то, а?..

Многие оборачивались к Ефремову. Какая-то женщина с закутанной в попону головой, с черными провалами глаз на иссохшем лице вдруг со жгучей ненавистью приступила вплотную, сунув пискнувший сверток прямо в лицо. Небрежно развернула рваное одеялишко, и там, в рванье, закопошилось и захныкало бледненькое существо с бескровным личиком. Женщина заголосила:

— Вот он — третий! Двух с осени схоронила, а этот — последний уж с голоду гибнет, а отца ихнего кадеты здесь у Таврын сгубили, а мы туто погибаемо! А вы у кожу позализлы, тай бай дюжа вам, нехристи проклятущи! Хлиба нэмае, картохи нэмае, а где ж ваша слобода?!

— Тише, баба! — остановил ее тощий старик на деревянке. — Не ругайсь.

— Да будьте вы прокляты, нехристи, шоб вам подавыться!..

Попонка развернулась, женщина одной рукой медленно распатлывала, растягивала волосы с головы. Губы чернели и дергались.

«Встретили земляка... — поежился Ефремов душой. — Что же с ними делать, с жалобщиками? Самое безвременье, февраль, до первой зелени еще далеко...»

— Гражданочка, гражданочка, успокойтесь! У всех теперь... — отталкивая ее, тесня своим ростом и мощью, говорил председатель «тройки», мрачноватый и рассудительный Стукачов. — У всех ныне животы подвело, и в тужурках тоже прохватывает до костей. Зря вы это, гражданка!

Баба распатлалась вовсе. Кричала, кидая попискивающий сверток с руки на руку. Толпа, только что мирно окружавшая Миронова, готовая приветствовать и радоваться приезду гостя, махнув рукой на голод и всю свою пропащую жизнь, вдруг нехорошо замерла, ощетинилась внутренне. Ее тоже нервировал, кромсал душу этот бабий крик по умершему.

Миронов шагнул к ней, склонился и приоткрыл угол рваного одеяльца, желая как-то успокоить крик. Под сопревшим еще год назад одеяльцем он увидел восковую бледность лица ребенка — словно весенний картофельный росток из подвала... — и почувствовал

сильнее холод окружающего мира и сквозящий озноб внутри, под сердцем. Обнял женщину за плечо и сказал в самое ухо:

— Неси, неси ты его скорее на печь, соседка! Ведь простудила ты его, малого, ветер-то! Не дури, слышишь? — он вытолкнул ее из круга силой и, не дав опомниться, сорвал с головы белую папаху, даже как-то размахнулся ею на высоком крыльце:

— Граждане!

Граждане начали, как всегда, умолкать, подшибленные властью знакомого и верного для них голоса, а отчасти и собственным любопытством. Пропал с глаз хромой солдат с надорванным наушником старой буденовки...

— Граждане! Мы с вами... всех кровавых врагов, все четырнадцать держав осатанелой Антанты разбили, душу из них вытряхнули, показали им кузькину мать! Ну, теперь-то самое малое терпение надо иметь, до первой зелени, до щавеля и крапивы, первой картошки! Мильоны красноармейцев уже вертаются по домам, берутся за плуг и наковальню, товарищ Ленин для поправки дел приказал даже временно учредить Трудовую армию — для подъема порушенного хозяйства и транспорта! Заверяю: теперь жизнь наша начинается настоящая, за какую бились и помирали! Никому ни помереть, ни сгибнуть Советская власть не позволит, нельзя в такой момент падать духом! Ты, соседка! — он снова оборотился к женщине, топтавшейся в сторонке, не имевшей сил вырваться из толпы. — Иди, соседка, сначала домой, отогрей дитя, а после — в исполком, в собес, проси помощи, хлеба, для дитя погибшего красного воина — дадут! По всей России такая помощь выделяется, дадут и тебе, у нас за столом теперь обделенных не будет!

И слова-то были самые расхожие, те, которыми говорили примерно все агитаторы с начала революции, те слова, которыми нельзя накормить и согреть в один момент целую толпу, даже одну эту женщину с умирающим младенцем. Но Миронову — верили. По старой доброй памяти, возможно. Или оттого, что Миронов всегда отвечал за свои слова.

Он еще говорил о скорой весне, о том, чтобы посеять вовремя на свободной земле, собрать все силы и все средства на этот посев, потому что в нем — жизнь на долгие годы вперед. А семена сортовые Советская власть уже припасает, будет помогать через кооперацию, и ссудой, и всяк, чтобы сообща выходить из проклятой разрухи и всенародной беды!

Выступил Ефремов, пообещал скорую поправку дел, кое-как свернули этот неожиданный, стихийно возникший митинг, народ начал расходиться. Миронов все стоял на вокзальном крыльце, вытирал папахой вспотевший лоб с высокими залысинами, поругивал Ефремова и Стукачова («Ну и встречу вы мне приготовили! Что ж это у вас никакой заботы в слободе о красноармейках?..»), и видно было, что спешит с отъездом. Тут подогнали санки-обшивни с серой, толстой полостью, в парной упряжке. Завезли Надю и кое-какие вещи в дом Голиковых (самого Александра семья еще не дождалась со службы), тут же у калитки распрощался с местным начальством. Стукачов попросил было провести митинги в Усть-Медведице и соседних хуторах, Миронов сказал резко:

— Дайте туда предписание телеграммой, тогда выступлю. Сам собирать народ не буду, — и попросил заодно позвонить по телефону в Арчединскую и Зимники, попутные селения, чтобы там подготовили для него сменных лошадей...

Надя, уже без полушубка, в теплой кофте и пуховом платке, выбежала из дома, бросила в сани большой овчинный тулуп, обняла мужа. И скрылась.

— Любит она вас... — простодушно сказал Соколов, державший вожжи.

— Чего ж не любить, — столь же простодушно усмехнулся Миронов, глядя прищуренными глазами на Ефремова и Стукачова. — Вот лет через десяток скажется разница в возрасте, тогда, конечно, уж не вынесет тулуп...

— И тогда вынесет, Филипп Кузьмич! — несогласно крутнул головой Соколов.

— Может, и вынесет... Как знать! — еще раз кивнул провожавшим Миронов и сел в задок обшивней. Соколов тронул лошадей, и сани покатились к выезду из слободы, на знакомый шлях.

Почти тридцать верст степного, обдутого ветрами, полынного гребня — и ни души вокруг! Непонятно даже, есть ли жизнь в этой степи, кто этот зимник торил, разве что почтовые сани да конные уполномоченные продкома?..

— Чудно! — сказал Соколов, сидевший на облучке. — Ведь без всякой охраны едем, Филипп Кузьмич! А? Вот те и Донщина!..

— Сказал бы это кому другому, скажем, в Донбюро, а не мне... — хмуро усмехнулся Филипп Кузьмич. — Это им под каждым кустом бандиты мерещатся!..

К полудню, когда знобящий ветер пронизал, кажется, до самых костей, и надоело греться короткими пробежками за санной грядушкой, расписанной красными и синими жар-птицами и невиданными цветами, когда от лошадей повалил парок и начали они спотыкаться на ровной, прикатанной дороге, показались сады и снежные крыши Арчединской.

На спуске железные подреза легких обшивней запели веселее, Миронов отнял вожжи из окоченевших рук ординарца Соколова, велел пробежаться для согрева, и Соколов то бежал сзади, держась за грядушку, то становился на концы полозьев и, смеясь, ехал на запятках.

Станица показалась брошенной или, может быть, даже вымершей. Только ветер сдувал тонкую метелицу над сугробами, взлаивали за сиротливо нахохленными садами одинокие собаки и чуть-чуть припахивало на морозе бурьянным дымком, теплилась где-то жизнь. Но ни людей, ни подвод, ни ребятишек с клюшками не встретилось им до самого сельсовета. Снова заскребло душу Миронова, как и утром у вокзала, когда увидел он толпу и эту обезумевшую от

горя женщину с младенцем. «До чего мы довоевались, народ-то у нас едва живой... А ведь надо еще весной и землю вспахать, и зерно посеять, и огороды вскопать! Кто же все это пособит нам поднять, на кого опереться? Конечно, много красноармейцев домой вернется, верно, да сколько среди них горьких калек, да раненых, да ослабленных после возвратного тифа?..»

Соколов начал распрягать запаренных лошадей, а Миронов, держа под локтем брезентовый портфель с бумагами, своими записными книжками и документами, придерживая одновременно эфес тяжелой, золотой шашки, взбежал на две-три ступеньки бывшего станичного правления, теперь — сельского Совета. Быстро пройдя через пустую, холодную прихожую, распахнул двери с бумажной табличкой «Председатель».

Распахнул и остановился тотчас у порога.

Из-за стола, привычного, конторского, залитого посредине чернилами и усиженного мухами, навстречу ему поднялся... старый знакомец по офицерскому собранию, трижды попадавший к нему в плен, Барышников.

18

Если бы впоследствии Миронову показали со стороны все то, что происходило с ним в течение этих трех, коротких, перенасыщенных делами, встречами и разговорами, митингами и спорами, дней, то он без особого труда, при своей природной сообразительности, смог бы, конечно же, выделить, «вылущить» некую главную интригу, плосковатый и низкий сюжет, словно в провинциальном домашнем спектакле» или дурном, дергающемся синематографе.

Со стороны все было куда яснее и понятнее, но поскольку весь дьявольский сюжет, замысленный в тайне, до мельчайших подробностей и даже отдельных «реплик», избрал центром и средоточием именно его, Миронова, то он, до поры до времени, и не мог ощутить поблизости некой посторонней воли или же роковой связи между отдельными репликами и «явлениями» спектакля. Все, происходящее с нами, представляется «изнутри» нашего сознания, безусловно, истинным, случайным, непреднамеренным и естественным, как сама жизнь. В особенности, если мы лишены от природы низкого расчета и коварства...

Он увидел Барышникова за столом председателя Арчединского сельсовета и, разумеется, несколько удивился. Но уже через мгновение допустил в мысли естественность такого положения, что Барышников стал председателем сельсовета. Хотя бы потому, что за время гражданской войны многие офицеры, первое время активно воевавшие у Краснова и Деникина, попадая в плен или переходя сознательно в красные, стали верными попутчиками и даже работниками новой власти. В этом, собственно, и была сила и праведность новой власти; что она перетягивала «середняков» и колеблющихся на свою сторону! Отчего же не допустить, что Барышников именно из таких людей?

Но было и сомнение...

Миронов сдержанно кивнул Барышникову, оправил заиндевелые усы в теплой комнате и спросил, был ли телефонный звонок из округа насчет лошадей. Поскольку он должен в короткое время побывать в родной станице и вернуться на станцию...

И тут началось то, что неминуемо сбивает с толку всякого, даже уравновешенного и непылкого человека — начался спектакль. Барышников сделал удивленную мину, напыжившись, выпятив губу и пожав плечами... — он, надо сказать, был упитан и гладок, не в пример Миронову, и хорошо выбрит, — и развел чистыми, белыми ладонями;

— Звонок-то был, но о каких лошадях речь?

— О сменных лошадях. В Усть-Медведицкую или до Зимняцкого, — сухо повторил Миронов. Нераспорядительность всякая легко выводила его из себя...

— Вам? По личному делу-с?.. — ехидно усмехнулся Барышников. — Никаких лошадей свободных у нас нет. Да и откуда? За чей счет?

— То есть... как? — Миронов, естественно, выражал непонимание, хотя обязан был сразу все понять. — Разве у вас нет служебных лошадей?

— Служебные-то есть... Но вы хотите их иметь лично, как некий генерал, «ваше превосходительство»? Тогда законно спросить, как некие середнячки спрашивают нынче: за что боролись? До революции были генералы, и теперь — генералы, и прогонные им подавай!

Барышников вел разговор, словно пьяный, ищущий скандала. А Миронов испытывал душевное смятение, потому что выходка бывшего сослуживца была слишком внезапной, неожиданной. Перспектива скандала сбивала его с толку еще и потому, что ни зрителей, ни ценителей этого спектакля вокруг не было, а потому эта провокация казалась совершенно бесцельной...

— Н-ну, лошадей может и не быть под руками... — помертвев, судорожно сжав губы, выдавил Миронов, — но оскорблять...

Шагнул ближе к столу и с силой ударил Барышникова в лицо. С нешироким размахом, тычком, как в ребячестве, под левую скулу.

Барышников оступился и сел на свое председательское место.

Это был срыв «задуманного» и новая непредвиденность — теперь уже для Барышникова, — но он все же нашелся, спокойно вытер под усами тылом руки и сплюнул под стол розовую слюну.

— Был бы у меня сейчас наган, Миронов, я бы, не моргнув глазом...

— Молчать! — коротко бросил Миронов, расстегивая крючки шинели и лапая новую, желтую кобуру справа... Барышников сразу побледнел, как покойник, а Миронов все же унял желание, отвел кобуру в сторону, чтобы не мешала присесть к столу, и сел. — Бе-

лая шкура, ты у меня сейчас найдешь и лошадей, и сам поедешь за кучера. Ну?..

Пришла откуда-то изнутри желанная свобода — он, видимо, все понял или почти все... Не боялся, что войдет ординарец Соколов и увидит всю эту неподходящую сцену, хотя, разумеется, Соколову этого не следовало видеть.

— Ж-живо! — повторил он.

Барышников поднялся, чтобы выполнить приказ, но именно в этот момент в прихожей, пустой половине, раздалось покашливание, шарканье ног, и в раскрытых дверях выросла длинная, нескладная фигура в замызганной, наперекосяк застегнутой шинели и окопной старой папахе «здравствуй-прощай». Чем-то знакомый солдат закричал радостно, с зубастой ухмылкой:

— Ага! Так их, товарищ Миронов! По сусалам, по барским мордам, поганым офицерским шкурам! Пробрались, гады, куда их вовсе и не просили, в окружкоме то же самое, разная жидовня и офицерство теперя хозяйнують! Дулом их тама не провернешь!..

Да. Что-то знакомое было в этом солдате, но Миронов сбился с памяти, почему-то ища сходство в этой папахе и шинели с тем красноармейцем, что утром вопил на вокзальном митинге в Себряково, размахивал руками. Но сходства не было, и это озадачивало его.

— Дак вы меня не узнали, что ль? — радостно ощериваясь прокуренными зубами, кричал этот, станичный солдат. — Я же — с первого отряда у вас, товарищ Миронов! Еще на Секачи отступали вместях!.. Ну, Скобиненка моя фамиль, еще насчет Себровской камуны разговор был, а? Товарищ Миронов, мы за вас завсегда эту офицерскую контру на мушку возьмем, верьте старому красногвардейцу! Токо прикажите! А то они нас, первых бойцов и револьцинеров, не очень-то стали чтить! Меня вон дак из коллектива выгнали, мать-ть их... Приехал один Мосей из Ростова, сказать мелкий жидок, грит: Скобиненке нельзя доверять, товарищи! А ему, значит, можно! Ну, мы ишо поглядим, кому можно, а кому нет!.. Списали Скобиненку в ездовые, грит: хошь в Сергиевскую, хошь в Усть-Медведицу отваливай, возчиком, по причине малограмотности... Я их маму мотал, товарищ Миронов, я в Усть-Медведицу подался, и вы вот тожа...

Был Скобиненко вроде под хмельком, и это сразу кинулось в глаза. Было в нем что-то липко-неприятное... Но у Скобиненко имелись, как оказалось, свежие лошади, а Миронову хотелось как можно скорее ехать отсюда, потому что более гадостного и отвратного, чем эта встреча с Барышниковым, и представить нельзя... Этот Барышников с появлением Скобиненки как-то стушевался, вышел из события в сторону. Только порозовевшую скулу потирал белой ладошкой, вздыхал и кисло усмехался. Вас, дескать, тут много, спорить с вами, фронтовиками, опасно, я — умываю руки.

— Когда прибыл сюда? — строго спросил Миронов у Скобиненко.

— Дак вечером ишо, вчера, к родне тут забегал. Звините, конешно, товарищ Миронов, ежели что не так...

— Лошади — в порядке?

— Кони перестояли с попонами и у овса, товарищ Миронов, — сробел и тут же нашелся Скобиненко. — Лошади добрые! Мы — завсегда, для товарища Миронова, счас... перепрягем! Я тут с товарищем Соколовым уже перекинулся словом, знаю! Разрешите перепречь?

...Ах, Миронов, Миронов, святая твоя душа! Ну, хоть ворохнулся бы душой, засомневался, откуда взялись эти подкормленные овсом кони! Нет, нет, тысячу раз — нет! Не может до поры до времени усомниться в человеке, забыл даже и Саранск, выкрики этого Скобиненко на митинге против Ларина и других политотдельцев, — а ведь стоило бы вспомнить! Стоило бы...

В соседней хате попили свежего молока, утрешника, и вот уже Миронов ехал дальше, кутаясь в припасенный Надей тулуп, теснясь в задке обшивней с ординарцем Соколовым, а на облучке теперь орудовал верный солдат Скобиненко и задавал коням кнута. Потом перепрягли лошадей еще и в хуторе Зимняцком и под утро были уже под станицей, переезжали Дон по горбатой, унавоженной дороге. Ветер на русле реки был режущий, он сбривал намерзающий на бровях и усах иней, леденил щеки. Зима была тут суровая, даже старую полынью под крутояром затянуло коркой льда и забило снегом. Огней в станице еще не было — самая безлунная, темная пора перед рассветом...

Была встреча с семьей, натянутая и холодная со Стефанидой и душевная, слезная с детьми, внуком, но лишь накоротке. Поступила телеграмма от товарищей Ефремова и Стукачова с просьбой провести митинги с контрпропагандой в связи с воззваниями бунтаря Вакулина. Этот Вакулин, добитый уже под Саратовом красной бригадой второконников Акинфия Харютина, будто бы ссылался в момент восстания на возможную поддержку ему, Вакулину, со стороны конных армий Буденного и Миронова. Эту-то опасную версию и следовало опровергнуть лично, Миронов не мог отказаться. По хуторам его сопровождали старые ревкомовцы Кочуков, Голенев и Степан Воропаев, бывший связист-мироновец, который после ранения оставался при здешнем Совете.

К вечеру свалили все экстренные дела с плеч, и Филипп Кузьмич пригласил всех домой на вечерний чай, кстати и для того, чтобы не оставаться на целый вечер с глазу на глаз со Стефанидой...

Держал на коленях тринадцатилетнего, взрослеющего своего сына Артамона, вручил ему на память серебряную шашку, полученную в конце восемнадцатого от Реввоенсовета 9-й Армии. Артамон был крепенький, вихрастый, сильно похожий на отца, он таил в глазах угрюмую подозрительность. Уже понимал, видно, нешутейную размолвку отца и матери и держал, понятно, домашнюю сторону. Да что поделаешь, жизнь и война продиктовали такой вот оборот событиям... Стефанида держалась обособленно,

холодновато, но все же сознавала, что надо дать ему такую возможность: повидать и приласкать детей... Что ж, он оказался прав, сгинула напрочь старая жизнь, пропали без следа окружные атаманы и предводители дворянства, старые офицерские льготы и привилегии, надежды на благополучие. А он выдержал испытание, понял жизнь, и семья его в станице теперь не простая — семья красного командарма.

Впрочем, в этот вечер не было ему покоя и от станичников. Только сели к самовару, заявилась депутация местной караульной команды, из красноармейцев свежего призыва. Жаловались на скудный харч, плохое обмундирование, запустение в каптерке, опасность новой вспышки тифа от вшивости, баня не топилась, не было дров... Миронов принял письменное заявление, а самих жалобщиков выпроводил с обещанием побывать в казарме утром. А вообще посоветовал утрясать такие дела с местной властью... Наговорил строгостей и гостям: Кочукову, Голеневу, Воропаеву, и тут Стефанида Петровна поставила на стол сахарницу с колотым сахаром и блюдо с домашним печеньем, примирила на время. Зашел еще и зять (муж Марии) Вадим Чернушкин, которого Филипп Кузьмич, как бывшего юнкера, собирался взять с собой в Москву, в военное училище, и за ним явился еще гость незваный — солдат Скобиненко. Застенчиво стянул с головы ветхую папаху, приветствовал хозяина и гостей:

— Дозвольте и мне посидеть, один я тут, в станице, никого знакомых, товарищ Миронов...

Как было отказать? Миронов тут же встал и лично принес из горницы венский стул для бывшего своего бойца, выручившего с лошадьми в Арчединской.

— Садись, садись, солдат! Стакан чая и для тебя найдется, с морозцу — надо!

Пили чай, переговаривались. Избегали семейных дел, чтобы не трогать сидевшую за столом Стефаниду Петровну. Скобиненко, напившись чая, начал задавать вопросы по текущему моменту, от имени «трудящих крестьян и казаков», как он сказал, которых волнует в особенности назревающий голод... Миронов тут же включился в беседу, обещал, что скоро состоится партийный съезд, который должен отменить старый порядок продразверстки, и тогда деревня вздохнет свободнее. Что же касается обычных для Дона «перегибов», то надо об этом своевременно сообщать в Москву, хотя бы и ему, поскольку он рассчитывает по этим делам докладывать лично Всероссийскому старосте Калинину, а если будет возможность, то и самому Ленину.

Накурили — хоть топор вешай, но Стефанида Петровна и это стерпела, потому что лишь в этой нынешней беседе вдруг выяснила, какой у нее муж еще молодой, горячий да честный перед людьми и жизнью, как отзывчив душой до всякой человеческой и всенародной боли! Как он действительно сгорал от заботы о судьбе окружающих, самых простых людей, даже таких н е м ы т ы х, как этот прохожий солдатконюх... Беседа была у самовара задушевная, каждый в ней открывал душу, и Филипп Кузьмич, невзирая на года и чин, горячился, спорил, накидывался на Кочукова и Голенева за непорядки в станице.

Да, хороший муж был у нее когда-то, любимый и редкий человек, да вот упустила она его как-то незаметно, из упрямства и твердого своего нрава, и упустила навсегда. Вот нынче — последняя их встреча и последняя холодная разлука, как с чужим, заезжим казаком. Не постелит она ему мягкую постель, не приляжет головой на сухую, мускулистую Филиппушкину руку, постелит отдельно: в детской, чтобы простился с семьей, послушал сонное дыхание Артамошки, торопливый шепоток за стеной Клавы и пришедшей на ночь в отцовско-материнский дом Марии... Пусть послушает, поболеет душой, как она переболела... Ах, проклятая жизнь, проклятая война, разорвали вы все же такую единую, такую крепкую семью, старую любовь! Теперь-то уж ничего не вернешь и не поделаешь, если в Михайловке, в доме Александра Григорьевича Голикова, — она знала — мерзла и скучала его молодая любовница-жена, змея подколодная, а на запасных путях уже стоял, их поджидаючи, особый командирский вагон-салон, до самой Москвы! Чего уж... Не вернешь, душа горькая моя, Стеша...

Допоздна говорили и спорили за столом, горел огонь в доме. И не гасли окна едва ли не по всей станице, в ближних улицах: вся Усть-Медведицкая знала, что Миронов приехал, командарм и первый помощник Ленина по красной коннице, скоро белополяков и всю Антанту изрубит в мелкое крошево! Он никогда, ни в одном бою поражений не знал, спросите хоть кого на Дону, всякий скажет!..

Утром Миронов сходил, как и обещал, в казарму караульного батальона, вернулся хмурый и озабоченный. Все жалобы подтвердились, творилось в станице нечто неладное, людей просто вынуждали к какому-то возмущению. Собирался побывать еще и в Совете, но принесли новую, срочную телеграмму: окружком вызывал его в качестве почетного гостя на 14-ю окружную партийную конференцию, на 12 февраля, снова надо было собираться в дорогу.

Младший из детей, Артамон, заплакал первым, узнав о срочном отъезде отца...

Сидел Миронов в президиуме партийной конференции как почетный ее председатель, гость, сидел облокотясь на красную скатерть, поставив между колен почетную золотую шашку, вникал в разговоры, реплики, доклады с мест и удивлялся: ни одного слова о новой партийной дискуссии по вопросу о крестьянах, о положении с севом, по этим, самым жгучим вопросам нынешней политики! И это — перед самым съездом, до которого остается уже не больше месяца... А тогда зачем же и конференцию созывать, если главный вопрос, поставленный временем и всем ходом жизни, замалчивать? Разве для трепотни об успехах в оргработе, сборе взносов и пожертвований в пользу МОПРа?

После третьего или четвертого выступления деле-

гатов Миронов попросил слова и вышел к трибуне, повитой пышным кумачом. Откашлялся...

Он заговорил о главном, потому что не мыслил иначе: надо жить для жизни, для людей, для дела, для всенародной нужды наконец! А все, что змеилось и путалось до времени под ногами, за пределами этой основной жизни, почти не занимало его. Да, надо сказать, ничего особо обидного для присутствующих он и не сказал, утверждая, что даже самую правильную, или самую неизбежную, нужную политику нельзя доводить до абсурда нашей прямолинейностью! Но сразу же в президиуме возникло какое-то движение, в зале заворошился шумок, кто-то многозначительно кашлянул... Миронов не обратил на это внимания, показал на Ефремова:

— Если бы я не знал товарища Ефремова по прежней его принципиальности и честности, когда он был комиссаром в корпусе, если бы я не знал, что исполком у нас в округе новый, только принявший дела, то за старое я бы здесь, пожалуй, спросил строго и внес единственно уместное предложение: полностью сменить состав исполкома, как не отвечающий делу и нуждам населения! Конечно, мы — партийцы — обязаны бороться с мешочничеством и пресекать спекуляцию. Но ведь речь идет о спекуляции как роде занятий, практике поведения, не так ли? Но когда черный и пухлый от голода казак или крестьянин — в большинстве бывший красный партизан или конармеец... у которого смерть в доме, пухнут дети... понес последний лахун, пиджачишко, потрепанные сапожонки в Воронежские слободы, в Криушу, где можно еще выменять на это барахло фунт отрубей или два фунта пшена, озадок пополам с куриным и мышиным пометом... Это — спекуляция? Это — спасение от смерти! И вы, товарищи, не мудрствуя лукаво, ловите такого голодного человека, как спекулянта и мешочника! Неужели так трудно разобраться: где мешочник и мироед, а где умирающий от голода труженик, хлебороб? А до чего вы довели караульный батальон в Усть-Медведице, был ли там кто из вас в последние дни? Я уж не говорю о приварке и хлебе, но почему-то не выделяется и хворост на порубку, в казарме собачий холод!..

Тут поднял руку председательствовавший Кржевицкий:

— Я вынужден прервать выступление товарища Миронова! — сказал он строго. — Действительно, его же словами говоря: если бы мы не знали товарища Миронова, как героя и революционера, то могли подумать, что с этой трибуны говорит классовый враг или просто незрелый человек...

Миронов обернулся и с удивленной усмешкой посмотрел на говорящего. И руку поднял на уровень глаз, как бы защищаясь от удара:

— Товарищ... не знаю, как ваша фамилия. Вы бы меньше думали о моей персоне, больше о нуждах края, о своих обязанностях, раз вы сидите за этим высоким государственным столом. О величайшем бедствии, нависающем над народом, таком, как голод в преддверии сева! Странно и то, что в докладе товарища Ефремова, как временного председателя окружкома, и прозвучавших выступлениях ни слова не сказано о решении январского пленума ЦК партии. В девятнадцатом году мы сталкивались с прямой провокацией народного недовольства, были такие люди, часть из которых расстреляна по справедливости... И вот я думаю, нет ли еще среди нас таких, что все еще собираются греть руки на народной беде?..

Кржевицкий стоял за столом, опираясь на пачку бумаг и красную скатерть. Не уступал в споре:

— Теперь нам понятны становятся и прежние ваши отклонения от линии, товарищ Миронов, например, в части коммун! Вас все не устривает: продразверстка, политика в отношении мешочника, даже коммуны!

— Неслыханно! — воскликнул женский голос. Это поднялась за столом молодая делегатка Сцепинская, приехавшая из Ростова вместе с новым военкомом Пауковым.

— Относительно коммун могу внести ясность, — сказал Миронов. — Коммуну, как нашу цель и социальный идеал, я всегда поддерживал и поддерживаю. Но считаю ее именно ц е л ь ю, к которой надо стремиться, медленно строя и совершенствуя промежуточные формы, в том числе и наше сознание! Это не «отклонение от линии», как вы утверждаете, товарищ, а именно — линия! Да хотя что же нам спорить, когда есть совсем свежие на этот счет материалы... — тут Миронов весьма ко времени вспомнил о письме Ленина рабочим станции Пролетарская, достал из кармана и разгладил на покатой кафедре порядочно затертый на сгибе листок с густой лиловой печатью машинки. — Вот! Товарищ Ленин придерживается тоже известной осторожности от скоропалительности и перегибов...

— Вам лично, что ли, Ленин-то прислал? — грубо спросил сидевший в конце стола военком с коротко стриженной рыжей головой.

— Неслыханно! — легонько всплеснула руками Сцепинская.

— Не мне, скорее, а в а м именно пишет вот товарищ Ленин, — сказал Миронов, собираясь читать письмо. Но ему не давали читать.

— Мы такого не получали! Может, письмо-то фиктивное? — крикнул Пауков.

Миронов стал в тупик, вдруг судорожно свернул письмо и сунул в карман. Припомнилось вдруг партийное собрание в Саранске, где разбиралось его первое заявление в партию. Там над ним открыто глумились Ларин и Рогачев. Неужели и здесь — то же?

— Товарищи, я могу оставить трибуну, — сказал он даже неожиданно для себя, сорвавшись. — Если многим неудобно слушать эти слова...

— Почему?! Просим! Про-о-о-сим! — вдруг громко заявили о себе из зала фроловские делегаты-деповцы и машинисты с бывшей веберовской мельницы, кто-то из старых конников слободы Даниловки. В переднем ряду поднялся широкоплечий и сильный Степа-

нятов, еще не уехавший на курсы, имевший делегатский мандат.

— Товарищи! — жестко сказал Степанятов, глядя снизу вверх на сцену, но от этого не теряя голоса. — Многим тут, в зале, непонятно, почему позволяется такой тон в разговоре с Мироновым, нашим гостем и героем гражданской войны? Мы его знаем, он не ошибается, когда говорит... И не только критикует, но и предлагает свои решения... по-партийному! Так же нельзя, товарищи! Шельмовать своих же героев, орденоносцев... никто нам не позволит! Стыдно!

Тут встал посредине красного стола Ефремов, чувствуя, что вина за «уклон» Миронова, как и в Саранске, может снова упасть на его молодую голову. Заговорил мирным тоном, стараясь сблизить точки разногласий:

— Товарищи, материал январского пленума ЦК у нас идет согласно повестке вторым вопросом... Это — для сведения. Но я хочу заметить товарищу Миронову, безусловно, уважаемому нами герою и члену партии, что до тех пор, пока центр не отменял постановления о разверстке и своих директив о ее проведении на местах, критиковать эти директивы или ослаблять их проведение нам, как бы сказать, не с руки. Мы, конечно, знаем, что предстоят реформы, и мы их ждем сознательно, так же как и вы, Филипп Кузьмич. Но витать в облаках добрых пожеланий до времени... ни нам, ни кому другому не позволительно.

Миронов удивленно взглянул на него и, с досадой махнув рукой, пошел от трибуны. Пошел уже не за стол призидума, а в зал, в массу.

— Мальчишка! — уничтожающе пробурчал он.

— Так же нельзя! Не дали говорить! — прогремел из зала Степанятов.

— Пускай Миронов читает письмо Ленина! — предложили из самой глубины зала.

В президиуме несокрушимо стоял Кржевицкий.

— Думаю, надо объявить перерыв, товарищи, — сказал Кржевицкий усталым голосом. — Длительный перерыв, для уточнения некоторых спорных моментов и выработки общих точек зрения... Объявляется перерыв до завтрашнего утра, девяти часов.

...Кржевицкий закрыл заседание и через сцену вышел из помещения. Быстро пошел к зданию окрвоенкомата. В коридоре, у приемной Паукова, сидел, как ни в чем не бывало, солдат Скобиненко. Он знал, что Пауков еще не пришел с конференции и поэтому не торопясь мял на коленях свою видавшую виды папаху под искусственного барашка.

Увидя Кржевицкого, поднялся с готовностью.

— Все написал? — быстро и сухо спросил Кржевицкий.

— Все, как сказано, — сопнул Скобиненко.

— Давай.

Мельком глянув в первую бумажку, вторую сунул в карман не глядя.

— Все, Скобиненко. Ты свободен. К начальнику заходить не надо.

— А как же насчет меня?

— Завтра позвоню в продком. Можешь вернуться на прежнюю работу. Все. Ты понял?

— Угу.

— Вот и хорошо!

Кржевицкий коротко глянул на него и толкнул двери в кабинет Паукова. В это время распахнулись крайние двери, показался и сам военком, пришедший с заседания чуть позже...

Миронов вернулся в дом Голикова осунувшийся и озабоченный. Разговаривать ни о чем не стал, только велел Наде собирать вещи в дорогу и чуть позже, уже в сумерках, услал своих ординарцев на станцию, чтобы вывели вагон с запасных путей, поставили в рейсовый поезд на Москву.

Надя чувствовала его настроение, пыталась разговорить, но он не отвечал ей, скрывая молчаливую, глухую тоску, и только покусывал и пощипывал, как обыкновенно, сникший ус. Один раз глянул как-то мстительно мимо нее, в неизвестную точку, в зашторенное окно, и пробурчал что-то неразборчивое, злое, а потом — вслух: «Ничего, ничего, завтра, с рассветом, — в Москву! Там разберемся!»

Было уже часов десять вечера, время гасить лампу, но вестовых со станции все не было. Филипп Кузьмич встревожился, накинул полушубок, вышел на крыльцо. Постоял во тьме и мертвом молчании слободы Михайловки...

«Боже мой, откуда же столько зла? Кривды, напраслины? И кто все это заваривает?.. — сердце непрестанно болело от предчувствия большой беды, общей, для всех. — Кто они, где, в какой щели сидят, что замыслили смерть тебе и народу твоему? Да, может, и большинству из тех, кто сидит ныне на конференции, в клубе?.. Как шпионы — в щелях, но жалят насмерть!.. Злобная предвзятость Кржевицкого на конференции как-то непроизвольно соединилась и связалась с тактичными возражениями Попка в споре недельной давности. Выяснялась исподволь некая единая линия загибщиков и врагов...

Холод и поземка со степи пронизывали до самого сердца. Тонкий месяц едва протаивал в льдистых застругах и снежно-сугробистых завалах неба, тьма обнимала со всех сторон. Только над станцией железной дороги небо чуть-чуть подсвечивалось желтизной фонарей, и казалось, что там вставал над землей багрово-непроницаемый, лютый зимний рассвет. Миронов запахнул плотнее полушубок, собираясь уходить в дом, и тут увидел вдруг, что дом окружают вооруженные, темные фигуры в островерхих буденовках...

Ефремова подняли с дивана в его исполкомовском кабинете перед рассветом. Не дали выспаться. Дежурный красноармеец трогал за плечо, поднимал, а в дверях стоял Кржевицкий и приглашал в свой кабинет.

Когда Ефремов проморгался и всухую протер полотенцем вялое, сонное лицо, у Кржевицкого уже собрался весь актив. Сам он сидел, насупясь, за столом и поигрывал пальцами обеих рук, словно играл на

невидимых клавишах. Поднял глаза к Ефремову, председателю исполкома:

— Товарищ Ефремов, как бы вы поступили, если... стало известно, что Миронов приехал в округ только затем, чтобы организовать и поднять здесь новое восстание против Советской власти? Если у него все готово к выступлению?

Все недоуменно переглянулись, слишком уж неожиданным был вопрос. Вчера многие настроились против Миронова, думали его «проработать» за резкость, но о каком-то «восстании» и думать никто не мог...

— Что за странное предположение? — спросил Ефремов.

— К сожалению... уже не предположение, — усмехнулся Кржевицкий. — К сожалению, факт. Но... все-таки, ответьте на вопрос. Это очень важно, для вас — особенно.

Он припугивал, да и разговор до поры был пустой. Ефремов сказал:

— Конечно, в этом случае арестовал бы Миронова. Но... все это не укладывается в понятие. Объясните, по крайней мере, в чем дело?

— В том дело, товарищи... — сказал Кржевицкий и положил перед собой два листа мятой бумаги с какими-то линиями и записями. — Вот протокол секретного совещания, проведенного им в Усть-Медведице по приезде, причем втянутыми в заговор оказались и советские работники! Речь шла о немедленном восстании всего Верхнего Дона... И вот, еще, — схема низовых ячеек... «Ячеек авантюристов», как он их сам назвал...

— Позвольте! — сказал Ефремов, захватывая «схему» и поворачивая так, чтобы можно было читать. На схеме небрежно и кое-как было вычерчено подобие дерева с кружками на окончаниях веток, некие ягодки и цветочки одновременно... — Позвольте! Миронов не только грамотный, но и образованный офицер и красный командир, он **не мог** давать заведомо глупого, компрометирующего названия этим ячейкам... если они вообще им организовывались! Что за вздор?

— Но ведь налицо документы? — сказал Сцепинская, сжав губы.

— Так вот, я вас информирую, товарищи... — строго сказал Кржевицкий, не обращая внимания на возникший спор. — Это не вздор, а факты. К сожалению, все это прошло мимо органов Чрезвычайной комиссии, узнали об этом люди товарища Паукова, военная контрразведка. Миронов ночью арестован и отправлен с обвинительным актом в Москву. Там разберутся. Я же вас созвал лишь затем, чтобы вы были в курсе. Могут быть нежелательные разговоры и даже выступления на конференции, по станицам...

— Все это сильно попахивает провокацией! — резко сказал Ефремов, не боясь ростовских представителей. Инцидент произошел в **его** округе, ему и отвечать за все. — Одно дело — спорить по тактическим вопросам на конференции, а другое — арестовывать командарма, едущего по правительственному вызову! И такие вот, с позволения сказать, обвинительные документы! «Ячейки авантюристов...» Кто, кстати, подписал протокол такой ячейки?

Кржевицкий был готов и к этому вопросу:

— Подписи Миронова нет, все у них на скорую руку... Но за секретаря подписался Скобиненко, который, оказывается, и ждал Миронова на пути, даже лошадей... сменных приготовил!

— Вот. Еще и Скобиненко опять замаячил... — вздохнул Ефремов. — Но он же заведомый провокатор! Вы же сами на днях его...

— Он мог именно поэтому и быть провокатором, что выполнял враждебную работу здесь...

— Он что — арестован?

— Зачем же? Он сам и принес эти бумаги, раскаялся, — солидно сказал Кржевицкий. — Вы, Ефремов, не горячитесь по молодости-то, не горячитесь! Я, возможно, на днях уеду в Ростов, поэтому вам, товарищ Ефремов, придется здесь возглавлять всю работу. Не надо себя по пустякам расплескивать!..

Целый день Ефремова душили злость и бессилие перед цепью этих немыслимых, дьявольских фактов, он мучительно и безрезультатно искал способа както вмешаться в дело с арестом Миронова. Но как? Чего ради и по какому праву вмешиваться, когда все делалось на уровне губернии и Ростова? Дело это, с «ячейками авантюристов», было, определенно, нечистым, даже провокационным, но люди, совершившие его, были не то что не подконтрольны ему, Ефремову, но даже, как говорится «совсем наоборот»...

Выход нашел — но весьма относительный, только для очистки собственной совести.

Поздно вечером, закрывшись на ключ в кабинете, он вызвал по служебному каналу Ростов. Ему нужен был областной военкомат, но военкома не нашли, и тогда он дозвонился до штаба округа. Сухим, деревянным голосом, без всякого выражения и сочувствия, известил:

— У нас, в Михайловке, военкомом Пауковым арестован командарм Миронов, следующий по правительственному вызову в Москву. Органы ЧК от этого устранились... Прошу поставить в известность главный штаб и лично Ленина, ибо, в случае какойлибо ошибки, отвечать будет военкомат и штаб военного округа... Кто говорит? Говорит член окружкома партии Ефремов...

ДОКУМЕНТЫ

Справка

За исключительную энергию и выдающуюся храбрость, проявленные в последних боях против Врангеля, награждены орденом Красного Знамени командарм 2-й Конной армии Ф. К. Миронов (вторым), члены РВС армии К. А. Макошин и Д. В. Полуян, а также 200 других бойцов и командиров.

Приказ РВС Республики № 41 от 5 февраля 1921 г.
По телеграфу. Москва,
Совет Народных Комиссаров, Ленину
Секретно
17 февраля 1921 г.

По донесению окрвоенкома Усть-Медведицкого т. Паукова, по имеющимся у него сведениям, за правильность которых он ручается, прибывший в отпуск в Усть-Медведицкий округ бывший командарм 2-й Конной Миронов подготовлял в округе широко организованное восстание, против Советской власти. В восстании должны были принять участие местное население, местные войсковые части, якобы части 21-й Кавказской дивизии, прибывшие в это время через станцию Арчеда в Камышин, части 15-й Кавказской дивизии.

13 февраля окрвоенкомом Миронов был тайно от населения и войсковых частей арестован и отправлен в отдельном вагоне с обвинительным актом в Москву.

В заговоре участвовали якобы отдельные представители исполкома. В настоящее время Дончека производятся аресты участников заговора, все арестованные не позже 18 февраля должны быть уже доставлены в Михайловку (станция Себряково).

Начштакавказ *Пугачев.*
Военком *Печерский*[1].

Заместителю пред. Реввоенсовета Республики
Секретно
5 марта 1921 г.

Т. Склянский!
Где Миронов теперь?
Как дело стоит теперь?

Ленин[2].

19

Казалось, Миронов исчез бесследно.

Управделами Совнаркома Николай Горбунов, которому с получением секретного донесения из Ростова Ленин поручил немедля навести необходимые справки, бился в течение десяти дней, искал концы о Миронове, но безуспешно. Роковым образом на ход расследования повлияли грозные события в Кронштадте, в связи с которыми никто в Совнаркоме не мог заниматься иными делами до 5 марта. А на 8 марта назначалось открытие очередного X партсъезда с очень важными и неотложными вопросами. Ленин был загружен выше всякой меры и все же нашел минуту, чтобы справиться у своего управделами о Миронове.

Николай Петрович Горбунов доложил, что:

Миронов сдал корпус преемнику 30 января и выехал к семье, в станицу Усть-Медведицкую, через Зверево — Царицын;

5 и 6 февраля находился в Царицыне, в наробразе, вел переговоры об устройстве дочери Клавдии на рабфак и педагогическое училище...

8 февраля салон-вагон командарма Миронова прибыл на станцию Себряково, оттуда сам Миронов с одним адъютантом отправился лошадьми в родную станицу, где гостил два дня... Провел митинги в окрестных селениях против мятежника Вакулина и вообще повстанческих настроений;

12 февраля присутствовал на 14-й окружной партийной конференции в слободе Михайловке, где выступал с критикой местных руководителей, возбудил горячие споры и разногласия...

13 февраля арестован окружным военкомом Пауковым и отправлен спецвагоном в Москву. Органы ЧК к этому аресту отношения не имели, Дзержинский в настоящее время, как председатель правительственной комиссии по улучшению быта рабочих, находится в Донбассе. Секретарь ЧК Герсон ничего положительно сказать не может...

— Со стороны наркомвоена Троцкого и его зама Склянского тоже ничего определенного установить не удалось, — закончил Горбунов свой неутешительный доклад.

Именно в этот момент, 5 марта, Ленин и написал короткую записку-запрос Эфроиму Склянскому: г д е М и р о н о в?

Три дня не было никакого ответа, затем начался партийный съезд.

...В последних числах марта Склянский докладывал Председателю СТО свои дела по военному ведомству. Когда вопросы были исчерпаны и Склянский уже собирался выходить, Ленин напомнил о своей записке и выразился в том смысле, что на его запросы и записки вообще-то принято отвечать, иногда — немедленно... Склянский повинился с расстроенным лицом:

— Товарищ Ленин, поверьте... только из-за партийного съезда я нарушил служебный порядок в отношении вашего запроса! Больше этого не повторится. Что касается Миронова, то... он, по-видимому, был серьезно виноват и восстание казаков все-таки готовил. Дело в том, что еще там, на станции, он пытался бежать и убит при попытке к бегству. Такие у нас сведения.

Ленин встал, опираясь кулаками на край стола... Только что состоялся разговор с главкомом Каменевым, и Сергей Сергеич, возмущаясь, сказал, что Миронов был бы просто необходим в данный момент для подавления бунта в Кронштадте, он бы сделал это скорее других и малой кровью. Но Миронов «пропал среди бела дня посреди Республики, это неслыханно»! Лицо Ленина теперь выразило крайнюю досаду и на мгновение даже растерянность:

— То есть как?.. У б и л и, короче говоря? Без суда и дознания?

— При попытке к бегству, с поезда... Не было, по-видимому, другого выхода.

— Куда же он... бежал? — едко спросил Ленин. — В Москву, где все его ждали?

Склянский покорно склонил голову с чистым пробором и замолчал. Никакими другими сведениями он, к сожалению, порадовать не мог. Почему так все слу-

---

[1] Ленинский сборник № 20. М., Политиздат, с. 17 (с примеч.).
[2] Т а м ж е.

чилось, он, конечно, сказать не может... Почему об этом не знают в Чрезвычайной комиссии? Это неясно и ему, Склянскому...

Ленин машинально протянул руку к внутреннему телефону, котел вызвать Дзержинского, но тут же вспомнил, что он в отъезде.

— Хорошо, — сказал Ленин. — Я не держу вас больше.

Склянский вышел, еще раз выразив сожаление о задержке с ответом.

Была минута возмущения, за которой по всем законам психологии должен последовать взрыв, какое-то сильное действие, удар по нерадивости или преступлению внутри аппарата... Но обстоятельства нынешние были таковы, что Ленин принужден был не торопиться, а глубоко задуматься над целой цепью таких фактов, суть которых окончательно прояснилась только теперь, на съезде, и отчасти вот в этой немыслимой новости о каком-то «побеге» и смерти одного из известнейших командармов гражданской войны...

Троцкий. Вот кто прояснился до конца и стал гол, как тот самый король, который до времени гулял в новом платье большевика, благо что его многочисленная фракция и весь сонм приспешников из аппарата услужливо славословили его несуществующее облачение!

Ленин, как мыслитель и практик, глубочайше поверивший во всеобщую силу и необратимую значимость идей революции, в том числе и в идею беззаветной преданности ее идеалам, просто не допускал мысли, что в ряду вождей могли ныне находиться двурушники, живущие по иным понятиям, преследующие корыстные цели. Он не мог этого допустить, но факты — уже в который раз! — говорили ему обратное: великая и справедливая идея не избавляла, к сожалению, от ошибок, перегибов и сознательного ее извращения с корыстной целью!

Вместо служения истине и народу — служение мелким, эгоистическим целям группы близких почему-либо людей, политиканов... Вместо интернационалистской дружбы в едином, партийном коллективе — насаждение тайной спайки и сговора по земляческому, местечковому, семейному и прочим мещанским признакам, не имеющим ровно никакого отношения к революции и ее идеям... Наконец, устранение н е у г о д н ы х — систематическое и неуклонное, с вытаптыванием их окружения, при непомерной жестокости, в назидание возможным противникам и несогласным... Эти мысли и вытекавшие из них выводы были в высшей степени серьезны.

С этой точки зрения прояснялась, например, суть разногласий с «левыми» и причины так называемых «перегибов».

Скажем, в России, сплошь крестьянской стране, выдвигается «сугубо революционная», а на самом деле провокационно-злобная догма о каком-то «всеобщем мужике» и его враждебности революции вообще, без различия классов, состояний и социальных интересов! С задачей — немедленной экспроприации крестьянина наравне с помещиком и откупщиком. Слово к р е с т ь я н и н в обиходе заменяется понятием к у л а к... Как это выглядит на практике? Беда-то в том, что у этой догмы оказалось не так уж мало рьяных последователей-исполнителей в губернских и уездных ревкомах; они — как государство в государстве. И тогда станет ясным, почему все эти годы в Смольном, в Кремле и Доме Советов не было прохода от ходоков из деревни, ищущих правду народную и партийную. Что, в самом деле, творилось сплошь и рядом на селе? Там люди, которые называли себя партийными, нередко оказывались проходимцами, насильничали самым безобразным образом, смешивали середняка с кулаком...

Главное же — Троцкий с присными желают вообще прибрать всю власть к рукам — никакой демократии, никакой гласности; только один бесконечный «военный коммунизм»! И диктатура пролетариата уже не средство, а самоцель всей нашей бывшей, настоящей и будущей работы! Какое глумление над идеей, какое вероломство!

Ленин ходил вдоль своего кабинета и с некоторым изумлением припоминал старые, полузабытые уже факты партийных разногласий, получавшие в новом свете совершенно новое, неожиданное, может быть, но, безусловно, правильное объяснение. Их много.

Например, факт предательства со стороны тайных приверженцев Льва Троцкого, Каменева и Зиновьева, перед самым Октябрьским переворотом.

Или споры по Бресту. Практика саботажа и срыва с целью ослабления большевистских позиций — теперь это уже ясно. А тогда были «левые» одежды, очень трудно было и разобраться, естественно... Отсюда — рукой подать — до предательства на фронтах, провокации мужицких бунтов, подобных Верхнедонскому или Антоновскому восстанию на Тамбовщине.

Бой на съезде, попытки «испугать» нэпманами в городе, полное непонимание того, что новая экономическая политика выдвинута всем ходом работы не столько для города, сколько для деревни, восстановления земледельческого хозяйства... Вот стоило принять постановление о продналоге, и все мужицкие бунты либо улеглись, либо идут определенно на убыль!

Не забыть к этому же ряду: выстрелы Блюмкина в германском посольстве с провокацией войны и то, что Блюмкину удалось выкрутиться, Троцкий взял его личным телохранителем, держит в Реввоенсовете — на какой еще случай? Или отравленные пули пресловутой Фанни Каплан. Она расстреляна, а меж тем пущены слухи, что «сам Ленин ее уважает и не приказывал расстреливать»... Кем пущен слух? Для чего?

Иногда Троцкий бывает просто великолепен. Когда он, к примеру, устраивает обыск в салон-вагоне командующего Туркестанским фронтом Фрунзе, облеченного полным доверием ЦК партии и Совнаркома. Зачем? Может быть, чует возможного соперника в будущем? Или когда он печатает в своей газете совершенно дикую статью о невозможности победы над Врангелем в нынешнюю кампанию, предлагая более чем сомнительные планы передислокации частей. Если кто-то считает, что Троцкий просто иногда ошибается, что свойственно людям, то считать так уже не следует. Слишком обдуманные, «типовые» ошибки!

Или уважаемая Александра Михайловна Коллонтай! Блестящая представительница этой группы лиц... Перед самым съездом опубликовала свою брошюру «Что такое «рабочая оппозиция». Тогда Ленину пришлось прямо с трибуны обратиться к ней с вопросом: «Вы сдавали последнюю корректуру, когда знали о кронштадтских событиях и поднимавшейся мелкобуржуазной контрреволюции! Вы не понимаете, какую ответственность вы на себя берете и как нарушаете единство! Во имя чего?»

Как горох о стену. И не удивительно, именно она еще в апреле семнадцатого ставила вопрос об объединении с троцкистами!..

Да. В свое время вызванный в Москву командарм Кубанской Красной армии Автономов ходил по Совнаркому и высказывал совершенно немыслимую идею, что политическое руководство на Юге все сплошь ставленники Троцкого, который сознательно ведет дело к поражению в войне с белыми. Тогда это звучало попросту дико, никто слушать не хотел. 11-я армия погибла. Потом, летом девятнадцатого, то же самое высказал Миронов при личном свидании, и в этот раз мысль показалась уже не столь одиозной. На памяти еще были и Таганрогский десант, и Таманский поход обреченных на гибель армий Юга... Автономов был ошельмован, пропал ни за грош. Теперь вот еще Миронов... Погиб... при попытке бегства. Куда?

Ленин ходил по кабинету, вспоминал, анализировал, сопоставлял... Выявлялось полуподпольное, точнее, почти открытое, подлое и наглое явление — троцкизм. Не брезгующее оговором, клеветой, даже выстрелом при случае и, безусловно, аптекарским ядом... Которое все более развивается на почве кумовства и землячества, беспринципного политиканства... Вот та внутренняя опасность, с которой предстоит еще вести жесточайшую и непримиримую борьбу.

Ленин думал о близком будущем и о своем расшатанном здоровье, о тех людях, которые будут способны противостоять в партии натиску троцкистов. Во всяком случае, требовалось уже на очередном, XI партсъезде расширить значительно, в полтора-два раза, состав ЦК. Наконец, в ряду других мер обдумать кандидатуру генсека...

Здесь следовало особо и глубоко разобраться. Необходима была не только абсолютная преданность делу революции и народа, идеям партии большевиков, но и незаурядная воля. Характер. Железная настойчивость в преодолении всякого рода «подводных» порогов и ловушек, умение сломить и вероломство, и неразборчивость в средствах нынешних ультрареволюционеров, крикунов и анархо-коммунистов! На посту генсека должна быть личность совершенно особая, выдвигаемая чрезвычайным характером положения. Может быть, даже и на короткий срок...

Верные люди в партии и ЦК были, и Ленин знал их. И все же многих подавлял и морально подчинял себе Троцкий. Следовало подумать и об этой стороне. Некоторые заражены интеллигентским чистоплюйством и ради собственного либерализма, добрых отношений с оппозиционерами не раз уже поступались принципами...

Кто же?

Ленин вглядывался в каждого поочередно:

Дзержинский, Красин, Сергеев (Артем), Калинин, Рыков, Молотов, Сталин...

Сергеев — молод и очень на месте в Московской городской организации...[1] Больше практик, чем политик. Рыкову вести и дальше ВСНХ, для этого у него есть знания, авторитет...

Снова — Красин, Калинин, Молотов, Сталин, Рыков...

Да, совершенно исключительная и подходящая с точки зрения момента личность Красина Леонида Борисовича! Этот большевик мог бы поправить положение в самый короткий срок. Но он — в Англии и сильно болен.

Так кто же? Калинин? Молотов? Сталин? Рыков?..

Калинин — Всероссийский староста. Менять нельзя. Не только партийная фигура, но и — символ. Партийной работой к тому же не занимался, новый для нее человек! Молотов? Новый человек, молод...

Только так. Выдвинуть, кроме того, на пост наркомвоена и председателя Реввоенсовета — Фрунзе, забрать с Украины, вполне достоин. Дзержинский остается в ЧК, Рыков в ВСНХ, в ЦКК — РКИ — Куйбышев. И — генсек Сталин. При такой расстановке руководства Троцкий, как деятель, умрет от политического истощения, и, как сухие листья, опадут и его сторонники. Партия минует эту опасность внутреннего кризиса, безусловно. Решено.

Ленин придвинул к себе блокнот-памятку и сделал краткую запись, бегло, почти неразборчиво: «XI п/съезд. Расширен. состав ЦК... Генсек Сталин?» и подчеркнул дважды: СТАЛИН.

Роковые решения диктуются роковыми обстоятельствами.

Никто бы не мог сказать точно: сознательно или же невольно вводил в заблуждение Склянский, говоря о гибели Миронова; но точно известно, что в этот час Миронов был жив, томясь в неопределенном ожидании за стеной Бутырской пересыльной тюрьмы, в получасе езды от Кремля и главного штаба РККА, где его ждали...

Сначала привезли его вместе с женой в лубянскую внутреннюю тюрьму и начали следствие по всем правилам, в соответствии с обвинительным актом из Михайловки. Но обвинение сейчас же развалилось, иссякло, поскольку «шитость белыми нитками» никогда не воодушевляла здешних чекистов. Уже одно то, что Миронов якобы сам называл предполагаемых своих сподвижников авантюристами, вызывало горькую улыбку. Он был грамотный человек, хорошо писал приказы, воззвания и даже дневниковые записи, которые были здесь же, при деле, и работали полностью на его чистую репутацию.

Когда следователь (смуглый человек с кавказской фамилией) прочел агентурные данные некоего Игнатова — бойца железнодорожной охраны со станции Арче-

---

[1] Осенью текущего года Артем погибнет при испытании аэровагона... *(Примеч. автора.)*

да, — который будто бы слышал контрреволюционные, повстанческие разговоры в вагоне красного комбрига на перегоне Лог — Себряково, Миронов хотел по привычке вспылить, но как-то неожиданно, как в бою, сумел взять себя в руки и сказал, скрипнув зубами:

— Нельзя же так, товарищи-граждане! Все у вас во имя крошечного момента, нынешней секунды, а там-хоть трава не расти! Нельзя. Вот понадобилось оскандалить Миронова, и на сцену выводится мелкий и подлый провокатор с ложным доносом... Тыловая крыса пачкает грязью комбрига Акинфия Харютина! Кто такой Акинфий Харютин? Один из организаторов отряда красных казаков семнадцатого года, тех, что вместе с питерскими рабочими и матросами отбили под Гатчиной Краснова, разложили его «корпус» в 700 сабель. У Харютина на груди — два ордена Красного Знамени и шестнадцать ранений на поле боя за Советскую власть! О Миронове уж умолчим, а кто такой этот Игнатов?

Вспомнился маленький, суетливый солдатик с белесыми, изреженными волосами на клин-голове, с быстро бегающими глазками, любитель обысков и реквизиций, который все порывался угодить Паукову при аресте, — не тот ли?

Следователь попросил говорить спокойнее.

— Ну хорошо, — согласился Миронов. — Это все нервы. Но я прошу навести справки о «летучей» бригаде. Времени прошло порядочно, можно узнать, где сейчас бригада краснознаменца Харютина и чем занимается? Подняла ли она мятеж или, может быть, передумала?

Через три дня следователь доверительно сообщил, что бригада Харютина, скомплектованная полностью из коммунистов и членов РКСМ 21-й кавдивизии, принимала участие в ликвидации кулацких мятежей под Саратовом и в настоящее время расквартирована в районе восстания. Так что обвинения агентурного порядка полностью отпали. Миронов раздраженно кричал:

— Так! Ложь себя выдала в две недели! Но вы ведь ей поверили на какое-то время? Вы поверили ей, дабы оскандалить человека, неугодного вам или вашему начальнику? Значит, побоку правду и товарищеское доверие, да здравствует всеобщая «агентурность» и клевета? Я человек пожилой, мне эти пружины виднее, чем другим.

Следователь нехорошо усмехнулся.

— Товарищ Миронов, в этой части я установил вашу полную невиновность и считаю ваше дело прекращенным. Но... не кажется ли вам, что вы слишком много и неосторожно говорите? Вы критикуете порядки так, как будто не вы их устанавливали, а кто-то другой. Для человека свежего и неподготовленного ваши слова легко истолковать, как вражью пропаганду. Время-то какое! Вы бы поостереглись, товарищ Миронов. Нынче каждое слово — все равно что военный секрет, а военные секреты вы ведь не разбрасывали направо-налево!

— Виноват... — сказал Миронов. — Но я другие порядки устанавливал. И почему надо со всем этим смиряться?

— Смиряться не обязательно, — сказал следователь. — Но, безусловно, надо помнить, о чем говоришь и как... Так обстоят дела. Думаю, что днями все это кончится, товарищ Миронов.

Чекист называл его в этот раз «товарищем», видимо, верил полностью. Но Миронова не выпустили, перевели в пересыльную Бутырку. Он шел пешим этапом в толпе прочих, и рядом шла поникшая, заплаканная Надя. Он брал ее под локоть и говорил, что скоро их выпустят, клевета отпала...

Бутырка была переполнена разной сволочью, от карманников и бандитов до опытных расхитителей народных ценностей из банка и вновь созданного при наркомате финансов Гохрана. Сидели тут и старые офицеры с невыясненными биографиями, и фальшивомонетчики, и вшивые барыги с Сухаревки и Хитровки, бывшие красноармейцы, уличенные в мародерстве, и просто дезертиры.

...Общая камера — два десятка лиц, судеб и неописуемых трагедий, порожденных трагическим временем.

Солдат из кавбригады Ивана Кочубея, с Кубани, с дрожью в голосе рассказывал про своего геройского комбрига, о его страшном конце. Миронов никогда не слышал про Кочубея, теперь внимательно расплетал слезливую хохлацкую балачку, вылущивал главное:

— Ваня Кочубей! Его ж уся Кубань знала, та героем величала! Як рубанэ билого гада, так до пупа! Сам Покровский от його тикав, та ще как! И колы сгибла уся наша Красна Армия у тих астраханьских писках, заела ее вошь и гнида, то пробилась тильки одна-разъедина бригада наша у целости и по хворме до той клятой Астрахани, шоб вона сгорела! Комиссары ихни у город нас не пускалы, бо, мол, уся та бригада стала вроде уже не бригада, а якась анархия! О, чув? Анархия стала, колы у баню треба идти да вошь парить, а колысь Деникин у фост и грыву их шкварыв, то и Ваня Кочубей був крепко нужон!.. О то, он и скажи им: «Эх, добраться бы до товарища Ленина та рассказаты ему все, а потом бы возвернутися на Кубань та й порубаты усю этую сволочь!..»

Камера слушала кубанца с напряженным вниманием.

— Они його: вне закону! Ну шо поделаешь, браты, велел тоди наш Ваня Кочубей бригаде усей заради дорогой общей жизни и ради помывки у бани сложить оружию у ног тих гадов ползучих, шо носят кужурки, а сам же со штабом утик степями аж на Царицын, щоб тама правду якусь скаты! Да був вже в тифу, так попав у степу до билых кадюков у плен...

Боец заплакал, вытирая грязным кулаком слезы. Тут выскочил в лохмотьях некий вор-фармазон малых лет, но великой наглости, с голым пузом, украшенным синими наколками, и стал рассматривать вблизи кубанского конника. Сказал с насмешкой:

— «Федул, чево губы надул?» — «Ка-а-а-фтан прожег...» — «А велика ли дыра?» — «Да, бачка, один ворот остался!» Ну даете, падлы! — и, отмахнувшись, зачикилял на одной ноге в угол.

Кубанец не обращал на него внимания, у него было великое горе:

— Його вылечилы у билом лазарети та й сталы уговориваты до кадюков перейти... Сам генерал до його пришов, полковником обещал сделаты. А он шо ему казав? Он казав: я не собака бродяча, шоб свое мясо жраты! Та й плюнул тому генералу в очи... И повесили Ваню Кочубея кадюки-генералы, а посля нашли у газыре последне слово Вани у записци: «Як мы тут поляжемо уси, а сюды прыйде Красна Армия, то нас лыхом ни поминайте, а одэжу отправьте до дому...» О тож...

Люди спрашивали бойца, за что он попал в тюрьму. Он рассказывал:

— О тож! Разоружилы нас у клятой Астрахани, а опосля опять оборужилы, та й кажуть: 11-я армия! Та й пойшлы по берегу до Питровска, а там и дале до самых нефтяных земель под Бакы, начали и там Совецку власть гарбузоваты! Сгарбузовалы Совецку власть, йдемо по домам, ан ще рано, постоять у горах треба... Ну слухайте, яке дило! Був геройский комбриг у нас, товарищ Тодорский! Уж геройский, точно, хоть и не Ваня Кочубей, но ихнив кадюков дожинал добре, дали йому тут орден! Чуть время миновало, оженився наш товарищ Тодорский на якойсь черноокой видьмочке по имени Рузя. Ага. Рузя Чирняк! Шибко чирнява, жидовочка. Бачимо, наш товарищ Тодорский уже не комбриг, а доразу — комкор! Через два чина — у гору! Тут мы и стали думку соби думати: за шо ж мы боролыся, колы Рузя таку власть к рукам прибрала?

В камере продолжали посмеиваться, никто бойца не прерывал.

— О то! Сидим со взводным у костерка вечером, балачки разводимо... я и скажи: «А на якой бы мини Рузи ожениться, шоб доразу командиром эскадрону б мини сделалы, га?» А тут який малый у той кужурки биля нашей беседы остановивсь. «Какие такие речи ведете, товарищ Неподоба?» Неподоба — моя родительская хвамилия. «Так и шо? Не можу вже и о жинке слова казаты?» Не, говорит, я вас с усей строгостью допросить должен, чьи у вас речи? «Мои!» — говорю, а он — свое. И пошла карусель от тих гор до сей каменной тюрьмы. А сроду ту Рузю и не бачив... Таки, браты, дила на Руси и Вкраини, шо тильки руками развесты...

Кубанец был явно не в себе. К нему подходил старый еврей-растратчик из Гохрана, специалист по драгоценным камням и благородным металлам (его в камере звали Соломон Мудрый) и говорил бойцу с невеселой насмешливостью:

— Товагищ боец, совегшенно глупо в наших условиях делиться своими сомнительными воспоминаниями. — И пояснил свою мысль более пространно: — Яхве сказал Моисею, что удостоил Аагона званием пегвосвященника. Сам Яхве! Жаловаться в данном случае некуда и некому, товагищ боец.

— А это уж позвольте не поверить вам! — вступал в разговор поношенный субъект из бывших акцизных высокого ранга или юристов-пьяниц. — Позвольте уж не наводить тень на ясный день! Тем более — по библии! Каждое слово ваше — яд и подлость, потому что вы упорно хотите скрыть главное, именно то, что ваши-то миссионеры, от Иеговы, все и замыслили!

Беседа втягивала новых спорщиков. Из дальнего угла подходил детина саженного роста в накинутой матросской тужурке, по виду из землемеров или грабителей по несгораемым шкафам. Вмешивался, беря акцизного субъекта за лацкан поношенного сюртука:

— А вы, уважаемый, знаете ли, что такое мурундук?

— Нет. А что?

— Надо знать. Мурундук — это деревянный гвоздь, затычка, продеваемая сквозь ноздри верблюда для управления и крепления узды.

— Да — и что?

— Ничего! Поговоришь вот так, поговоришь, и вставят тебе, дражайший, мурундук в ноздрю да и поведут куда надо! Сократись!

Поношенный субъект смотрел несколько мгновений на детину в матросском бушлате и, усмехнувшись, отводил за локоть в сторонку:

— Позвольте, я и так в тюрьме, чем вы мне угрожаете? Я говорю: о н и не скроются от суда, хотя все рассчитали предельно точно! Они заварили кашу именно в России, потому что эта страна — лакомый кус! И к тому же трудно найти среду, более питательную, более удобную для экс-пе-римента! Нет, не подумайте лишнего, народ, сам по себе, ничем не хуже других европейцев, может быть, и лучше... Как сказано у Достоевского: «Зверь, конечно, но... зверь благород-ный!..» Слышите? А питательность среды для сволочи, видите ли, из-за чрезвычайной перенасыщенности, великого множества голов и глаз около всякого лотка, у любого злачного места! Всегда есть возможность, знаете ли, отсортировать нужный кон-тин-гент для палачей и мерзавцев!

— Брось, дядя! Брось нуду разводить! — закричал давешний фармазон в лохмотьях и, выскочив из угла, прошелся по свободному пространству камеры этаким кандибобером, вырубая носками и пятками разбитых штиблет цыганочку:

— Ах, какой же я дур-р-рак, надел ворованный пинжак! И — шкары, и — шкары! И — шкары! Зачем пропил последний грош... у шмары, у шмары, у шмары!..

Миронов отметил, что здесь едва ли не каждый старался потешать, развлекать и смешить другого от безнадежности положения. Сидевший на соседнем топчане толстый хохол (по виду —махновец) в домотканом зипуне-свитке хитро поглядывал на него выпуклыми, здоровыми буркалами и согнутым пальцем что-то перед носом водил, вроде подзывал к себе. Оказалось, хотел рассказать селянскую байку:

— О тож, у нас було... Йихав хохол наш с баштану! Виз до дому кавуны! Ну, еде все у гору та у гору, до самого вирху... Взъихав, а тут канава, ось поломалась, або чека выскочила та колесо слетело, ну воз и перевернувся! Шо ж воно робыться, кавуны уси в разны стороны покатилысь! Посыпалысь, як с печки, оглашенни... Ну, сив хохол на том бугорочки, пригорюнився, та й всэ. А писля и указуе сам соби пальцем: гля! А вон тот, рябый кавун, найбильш, так, мабуть, далее усих, аж до той балочки, покативсь!

Окружающие снова смеялись, рассказчик в домотканой свитке ржал, взявшись за бока. Миронов хмурился.

Дни тянулись необычайно длинные, какие-то бессмысленные. Не было ни допросов, ни перекличек, ни свиданий с лжесвидетелями... Впрочем, на общей прогулке дважды встретил Надю — она снова, как и раньше, сопутствовала ему в тюрьме. Плакала, шагая рядом, касаясь ладошкой его руки, и он пытался ее успокаивать...

Стали тревожить Миронова тяжелые сны.

Чаще других виделся мертвый комбриг Кочубей, в белогвардейской петле, под перекладиной, в открытой зимней степи. Этого Кочубея он никогда не видел, но рассказ конника с Кубани слишком глубоко запал в душу: «Эх, добраться бы до товарища Ленина, рассказать ему! А потом возвернуться и...»

Висел Кочубей промеж двух столбов в чистом поле, где-то между Ставрополем и Астраханью, покачивался на морозном ветру, и от этого ветра его разворачивало, крутило, как будто он оглядывал всю степь, от края до края, вопрошал о чем-то и мертвыми глазами искал ответ по окрестному горизонту.

Дальше невозможно стало терпеть. Миронов вызвал тюремное начальство, просил перевести его в одиночную камеру, дать бумаги и чернил.

Он понимал, что с ним творили неладное, держали в тюрьме беззаконно, чего-то откапывая в его жизни такое, чего сроду в ней не бывало. Поэтому решил он напомнить о себе Ленину, Калинину и Дзержинскому, чтобы они лично занялись его судьбой.

Ведь не прошло и трех месяцев с тех пор, как ему вручили золотую шашку Народного героя Республики. Всего два месяца назад его вызвали в Москву с высокими назначениями, наконец, он еще не получил награды, заслуженной в боях за Советскую власть.

Ему дали бумаги и чернил, перевели в одиночку. Он просил газеты «Правду», «Известия» — и внимательно следил за ходом партсъезда, поражаясь тому, как верно и подробно освещали делегаты положение дел на местах, кляли все то, что проклинал он, предрекали голод в России, если не будет принято срочных мер... И ему казалось, что ничего иного в заявлении писать не следует, а просто взять выдержки из стенограмм съезда и подписаться: я, Миронов, уже целый год утверждал то же самое и за это меня арестовали. Я жив, я надеюсь на правду и справедливость и прошу скорее меня освободить, потому что нет больше сил страдать в тюрьме понапрасну...

Вспомнилось ему начало своей речи, «последнего слова» на Балашовском суде: «Всю жизнь я бился за свободу и вот оказался в тюрьме...» И он стал писать большое письмо вождям.

ДОКУМЕНТЫ

В порядке партийного письма
Председателю ВЦИК гражданину Михаилу Ивановичу Калинину
Копия: *Председателю Совнаркома В. И. Ульянову*
Председателю РВС Республики Л. Д. Троцкому
Председателю ЦК РКП Л. Каменеву
и Центрально-контрольной комиссии РКП

Уважаемый гражданин и товарищ Михаил Иванович!

В письме Центрально-Контрольной Комиссии (№ 61, Правда) говорится: «...партия сознает себя единой сплоченной армией, передовым отрядом трудящихся, направляющим борьбу и руководящим ею. Так, чтобы отстающие умели подойти, а забежавшие вперед не оторвались от тех широких масс, которые должны претворять в жизнь задачи нашего строительства»...

В другом письме ЦК РКП ко всем членам (№ 64, Правда), между прочим, читаем: «...события показали, что все мы слишком поторопились, когда говорили о наступлении мирного периода в жизни Советской Республики, и что задача всех партийных организаций заключается в том, чтобы проникнуть поглубже в деревню, усилить работу среди крестьянства и т. д. Партия решила во что бы то ни стало уничтожить бюрократизм и оторванность от масс...» Письмо это заканчивается восклицанием: «К массам... вот главный лозунг X съезда».

За 4 года революционной борьбы я от широких масс не оторвался, но отстал или забежал вперед и сам не знаю, а сидя в Бутырской тюрьме, больным сердцем и разбитой душою чувствую, что сижу и страдаю за этот лозунг.

Из доклада тов. Ленина на X съезде о натуральном налоге (№ 57, Правда) я приведу пока одно место: «Но в то же время факт несомненный и его не нужно скрывать в агитации и пропаганде, что мы зашли дальше, чем это теоретически и политически было необходимо». Эти выдержки я взял, чтобы спросить с себя и других: кто же в конце концов оказался оторвавшимся от широких масс и кто оказался забежавшим?

Но как бы я за себя ни решал этого вопроса, я не могу ни догнать, ни подождать коммунистической партии, чтобы быть в ее рядах на новом фронте (объявленном партийным съездом) в борьбе за лучшее будущее человечества, ибо лишен свободы.

Вы, Михаил Иванович, в приветствии к съезду работников железнодорожного и водного транспорта 23.III (№ 63, Правда), между прочим, заявили: «Советская власть говорит, что мы должны помогать везде и всюду усталым и истерзанным людям...»

Вот за этой-то помощью из Бутырской тюрьмы к Вам обращается один из самых уставших и истерзанных, что Вы увидите из такого медицинского свидетельства, выданного мне 29 сего марта за № 912:

«Дано сие заключенному Бутырской тюрьмы Миронову Филиппу Кузьмичу в том, что он страдает хроническим перерождением сердечной мышцы (расширение сердца), акцент. II тон. аорты, тяжелой формой неврастении».

К Вам обращается тот, кто ценою жизни и остатком нервов вырывал 13—14.X 1920 г. у села Шолохово победу из рук барона Врангеля, но кого «долющ-

ка» сохранила, чтобы дотерзать в Бутырской тюрьме; тот, кто в смертельной схватке свалил опору Врангеля — генерала Бабиева; от искусных действий которого 27.X застрелился начдив Марковской генерал, граф Третьяков.

К Вам обращается тот, кто в Вашем присутствии 25.X. 20 г. на правом берегу Днепра у с. В.-Тарновское звал красных бойцов 16-й кавдивизии взять в ту же ночь белевшийся за широкою рекой монастырь, а к рождеству водрузить красное знамя труда над Севастополем.

Вы пережили эти минуты высокого подъема со 2-й Конной армией, а как она исполнила и ее командарм Миронов свой революционный долг, красноречиво свидетельствует Приказ по РВС Республики от 4.XII.20 г. № 7078.

К Вам обращается тот, кто вырвал инициативу победы из рук Врангеля в дни 13—14.X, кто вырвал в эти дни черное знамя генерала Шкуро с изображением головы волка и надписью: «За единую неделимую Россию», и передал в руки Вам, как залог верности социальной революции между политическими вождями и Красной Армией... К Вам обращается за социальной справедливостью именно усталый и истерзанный...

И если Вы, Михаил Иванович, останетесь глухи до 15.IV.21 г., я покончу жизнь в тюрьме голодною смертью.

Если бы я хоть немного чувствовал себя виноватым — я позором счел бы жить и обращаться с этим письмом. Я слишком горд, чтобы входить в сделку с моею совестью.

Вся моя многострадальная жизнь и 18-летняя революционная борьба говорят за неутомимую жажду справедливости, глубокую любовь к трудящимся, за мое бескорыстие и честность тех средств борьбы, к которым я прибегал, чтобы увидеть равенство и братство между людьми.

Мне предъявили чудовищное обвинение — «в организации восстания на Дону против Советской власти». Основанием к такой нелепости послужило то, что поднявший восстание в Усть-Медведицком округе бандит Вакулин в своих воззваниях сослался на меня, как на пользующегося популярностью на Дону, что я поддержу его со 2-й Конной армией.

Он одинаково сослался и на поддержку т. Буденного.

...Я не стану касаться здесь, как я прожил дарованный мне год жизни и как этот год научил и убедил меня не только чураться восстаний, но даже подумать о них. Я прежде всего не кровожаден и не мстителен, да и 4 года непосредственной упорной борьбы чему-нибудь да научили.

Успех социальной революции я всегда видел в лозунге «К массам», о чем имел честь писать 30.VII 1919 г. нашему уважаемому вождю т. В. И. Ленину в письме, цитированном во время моего процесса 7.X.19 г. Я также тогда писал и о том, о чем с громадным запозданием. (№ 65, Правда) в статье «Наш курс» говорит т. Кураев: «Нужно соответствующим образом изменить приемы и методы работы среди средн. крестьянства и подхода к нему... Старые приемы и методы работы могут быть вреднее агитации врагов...»

Жизнь это нам жестоко доказала. Этот лозунг «к массам» я не выронил из рук в интересах социальной революции за все время борьбы, что подтверждается тем широким доверием, с каким шли ко мне массы до последней минуты перед моим арестом. И если теперь пишут (№ 65, Правда): «Лучшим организатором в наших рядах должен считаться тот, кто завоюет наибольшее доверие и пробудит максимум самодеятельности крест. масс и с помощью убеждения сделает излишним принуждение...», то я смею заявить, что сила моего авторитета в широких трудящихся массах казачества и крестьянства на Дону покоится именно на убеждении, но не на насилии, открытым противником которого я был.

Отсюда — я не способен ввергать народные массы на новые жертвы и цену восстаниям знаю по Украине.

Это моя предсмертная исповедь.

Люди вообще, а я тем паче, перед смертью не лгут, ибо я еще не утратил веры в моего «бога», олицетворяемого совестью; по указке которой я поступал одинаково всю жизнь и с врагами, и с друзьями.

Правда. Нелицеприятная правда, почасти — тяжелая, неприятная, ибо правда вообще неприятна злу, но — правда...

За нею, как за надежным щитом, я вынес удары царских генералов, на нее и теперь моя надежда.

...Я не хочу утверждать, что грандиозный митинг проведенный мною 6 июня 1920 г. в слоб. Михайловке (пункт Вакулинского восстания) перед более чем двухтысячною массою пленных белых казаков, собранных со всех станиц, когда я исключительно звал их бояться всяческих восстаний как огня (ибо за это по приказу фронта должны были уничтожаться станицы хутора), — не был причиною, что казачество Усть-Медведицкого округа восстание Вакулина не поддержало, а наоборот, выбросило его за пределы Донской области, — повторяю: не хочу этого утверждать, но смею сказать, что сила этого призыва была огромна и чувствовалась всеми присутствующими.

Еще тогда, в июне 1920 г., был горючий материал в этом округе, материал, натасканный злою деятельностью б. председателя окрисполкома Еровченко (белогвардейца, выгнанного мною из ст. Усть-Медведицкой в начале февраля 19 г. на х. Большой), б. начальника окружной милиции Полежаева (белогвардейца), которого Еровченко и др. взяли на поруки из-под стражи и этим дали ему возможность скрыться от революционного суда, — это для честных коммунистов и граждан было ясно.

О сгущенной атмосфере народного гнева и недовольства можно судить по такой сценке.

4 июня 1920 г. я ехал из станицы в слоб. Михайловку с инспектором пехоты Донармии (при необходимости можно установить). На полях работает крестьянство...

— Товарищ Миронов, это вы? — раздался громкий голос рослой крестьянки, едва экипаж оказался на высоте с нею.

— Я. Я, гражданка.

Крестьянка повалилась на колени и, подняв руки к небу, отчаянным голосом закричала:

— Товарищ Миронов, спаси народ!..

Сцена эта произвела тогда на всех нас тяжелое впечатление. Так жилось в вотчине Еровченко.

Я не думаю, что будет удивительным, если на последующих митингах (6 июня и др.) я, в связи с деятельностью местных представителей Соввласти, иллюстрированной приведенной выше сценкой, звал массы перенести и это зло, может быть, провокационное (имею основание так думать), и верить, что центральная Советская власть чужда мысли быть врагом трудящихся — как не будет удивительным и то, что я привел этот случай.

...Я остановлюсь теперь на том, что привело меня в Бутырскую тюрьму. Я кратко изложу то, что было 8.II в станице Усть-Медв., где я пробыл всего 2 дня, и за это «удовольствие» попал в тюрьму.

Председателем «тройки» по восстановлению Соввласти в округе тов. Стукачовым мне было предложено по телефону (разговор при деле) провести в станицах округа ряд митингов, на которых опровергнуть провокационную ссылку на меня Вакулина. Вечером 8.II, после митинга, ко мне пришли 5 человек, из коих я знал хорошо 3, одного кое-как и одного видел впервые.

Находясь под впечатлением арчединского случая, под впечатлением провокационных воззваний Вакулина, начавшихся голодных смертей в станицах и селах, под впечатлением сотен словесных жалоб и письменных заявлений (какие я хотел представить Вам по прибытии в Москву), сопровождавшихся слезами и тяжелыми сценами, и особенно заявления делегатов местной караульной команды (докладная отобрана при аресте), жаловавшихся на голод и холод (одеты нищенски), и видя во всем этом горячий материал для восстания, я решил, что не только население, но и красноармейцы утратили веру в местные органы власти и свое красное начальство, если эти люди, не зная меня, пришли искать помощи. Эту помощь я им обещал от имени предреввоенсовета Республики, лишь только доберусь до Москвы.

Но поездка моя затянулась...

Считаясь с 4-кратными вспышками восстания на Дону, с Антоновским восстанием, сильно будировавшим массы, и повсеместным глухим ропотом широких земледельческих масс вообще, гул которого доходил до меня очень легко, ибо эти массы и их представители всегда шли ко мне с доверием, хотя бы только во имя моральной поддержки, какую и получали в здоровых советах, я, не имея ничего преступного в виду и даже не допуская мысли, что можно создать из этого преступление, откровенно высказал затаенную и мучившую меня мысль о грядущей контрреволюции изнутри, гораздо более опасной, чем Деникин, Врангель и вся буржуазия мира. Лучшего экзамена моей политической благонадежности, моей верности пролетарской революции (задачи ее я великолепно понимаю) — едва ли можно придумать.

С того, что мучило и томило меня, я и начал, закончив заявлением, что если политика правящей партии не пойдет навстречу требованиям жизни, каких без уступок преодолеть невозможно, то на весну возможны восстания, какие приведут страну к анархии.

...Повторяю, что делал я это с целью оттенить серьезность переживаемого момента, и что нужно предпринять, чтобы предотвратить всякую попытку восстания.

После обмена мнений, подчеркнувших опасность, я предложил, как уезжавший в распоряжение главкома, такой план. Они, пятеро, представляют основную ячейку, а по усвоении некоторых требований (из брошюры «Республика Советов») — организуют впоследствии побочные ячейки, чтобы:

1. Бороться организованным путем через комячейки, партийные и беспартийные собрания и конференции с примазавшимися к компартии и Соввласти белогвардейцами и другими вредными элементами.

2. В случае восстания, наступления анархии, порыва связи с руководящими органами — ячейки явились бы оплотом и защитою Соввласти на местах...

3. Если бы иностранные штыки поляков и румын, недобитый Врангель, подталкиваемый Антантой, стали угрожать Москве, то все ячейки со своими добровольцами по моему зову должны идти на спасение центральной Соввласти, причем я подчеркнул, что последняя задача отдаленная...

И этого не отверг и доносчик при очной ставке.

Для полного и правильного понимания ячейками своей работы я передал им брошюру «Республика Советов», обещав выслать ее в достаточном количестве.

Так как борьба с местным злом в лице некоего продагента и др. к цели не ведет, то было решено, что ячейка будет мне иногда секретно сообщать о злоупотреблениях, дабы я мог действовать через видных членов ВЦИК.

...Я находился весь во власти исполненного мною долга пред рабоче-крестьянской революцией в борьбе с Врангелем. Я отдыхал, смыв позор за мое вынужденное выступление в 1919 г., и вдруг — снова тюрьма.

Если белым не удалось меня поймать и повесить «на сухой ветке», как они писали в своих газетах, несмотря на состоявшееся премирование моей головы генералом Красновым (22 июня 1918 г. — 200 000 руб., а в августе — 400 000), то сомнительным работником-шкурником я предан для этого родной мне власти.

Михаил Иванович. Ознакомьтесь с литературой белых, что отобрана у меня при аресте и что имеется в архивах революции, и Вы увидите цель предателей. Им жалко барона Врангеля, жалко европейской буржуазии...

Не хочу допускать мысли, чтобы Советская власть по подлому, необоснованному доносу гильотинировала одного из лучших своих борцов — «доблестного командарма 2-й Конной армии» (приказ РВС Республики № 7078).

Не хочу верить, чтобы подлая клевета была сильнее очевидности моих политических и боевых заслуг перед революцией, моей честности и искренности перед ней.

Я хочу верить, что поведу красные полки к победе

к Бухаресту, Будапешту и т. д., как я говорил в злополучное 8.II злополучной для меня «пятерке», в коей нашлись провокаторы.

Откуда же я черпаю такую надежду?

Прежде всего в своей невиновности пред Советской властью. Затем то, что заставляло страдать и неотвязчиво стучало в голову, признано и X партийным съездом, признано и Вами.

Все вышеизложенное в связи «с новым поворотом в хозяйственной политике Соввласти» (№ 62, Правда), в связи «со взятым курсом на решительное сближение с массами» (№ 58, Правда) дает мне веру, что ВЦИК по Вашему докладу ускорит мое освобождение, ибо я не признаю за собой никакой вины.

Режим тюрьмы пагубно действует на мое слабое, расшатанное тяжелой многолетней борьбой здоровье. Я медленно чахну.

Что помогло мне сделать на протяжении месяца (5.IX—5.X) 2-ю Конную армию не только боеспособною, но и непобедимою, несмотря на двукратный перед этим ее разгром, несмотря на пестрое пополнение, бросаемое со всех концов Республики наспех? Только искренний голос души, которым я звал разбить Врангеля. Только таким голосом можно увлечь массу. Эхо его Вы найдете в моих мемуарах «Как начался разгром Врангеля», отобранных у меня при аресте...

«К массам... главный лозунг X съезда».

И если этот возглас иллюстрировать декретом (№ 67, Известий) о разрешении свободного обмена, продажи и покупки хлебных и зернофуражных продуктов, то, казалось бы, что для Соввласти как раз настало время через меня, как партийного и для партии, претворить в жизнь во всей силе брошенный лозунг и решительно сблизиться с массами — а меня вместо этого бросили в тюрьму.

Этот новый декрет переносит мои воспоминания назад и заставляет поделиться с Вами весьма характерным явлением нашего бурного времени.

В числе отобранных бумаг и документов имеется ряд заявлений на то, что население У.-М. округа, гонимое голодом, вынуждалось ехать в соседний Верхне-Донской округ, где еще в отдаленных станицах и степных хуторах имелись запасы хлеба, с тем, чтобы на последнюю рубашку выменять кусок хлеба для пухнущих детей, и как оно там безбожно обиралось. Приемы агентов власти на местах были просты. Если им нужны были вещи, то, не допуская до обмена, они отбирали вещи: если же нужен был хлеб, они, дав возможность совершиться обмену, выпускали намеченную жертву в путь, а потом, нагнав, отбирали хлеб.

Страдания и слезы голодных, обираемых людей заставили меня поднять этот вопрос на окружной партконференции 12.II. 1921 г. и всесторонне его осветить, дабы принять какие-нибудь меры и против надвигающегося голода, и против чинимого над голодными людьми произвола, а также и в целях приобретения на весну посевного материала, дабы не повторить осеннего опыта, когда поля остались не обсемененными за отсутствием семян.

Предложение мое вызвало горячие споры близоруких политиканов, не замедливших бросить мне обвинение в тенденции к свободной торговле, т. е. чуть ли не в контрреволюции, что заставило меня сделать протест против пристрастного освещения моей мысли. Я думаю, что это зафиксировано протоколом заседания для очередного доноса на крамольные мысли мои.

Отстал ли я тут или забежал, но жизнь показала нам, что и центральная власть 23.III.21 г. своим декретом о свободном обмене, продаже и покупке стала на ту же точку зрения. И вот за эту прозорливость меня собираются судить. Соввласть фронт принуждения заменила фронтом убеждения, на каком я был так силен (разгром Каледина, Краснова, Врангеля), но стоять в рядах бойцов этого жизненного фронта мне пока не суждено.

Если протестующий гнев тов. Стеклова (№ 62, Правда) против французской буржуазии, томившей 4 коммунистов в тюрьме 10 месяцев до туберкулеза и потом их оправдавшей, помещен не для числа строк в его статье «Обреченный режим», а как глубокий протест возмущенной души, то Вам, Михаил Иванович, будет понятна моя уверенность, моя глубокая надежда, что Советская власть не последует французской буржуазии, не будет томить меня не только 10—12 месяцев (есть в Бутырке примеры), но даже и лишнего дня, и не доведет до медленной голодной смерти — ведь я тоже коммунист...

Еще раз хочу верить, что, освободив меня от клеветы и тяжкого незаслуженного подозрения, вернув мне доверие как перед разгромом Врангеля, ВЦИК найдет во мне по-прежнему одного из стойких борцов за Соввласть.

Неужели клевета восторжествует над тем, кто искренне и честно, может быть спотыкаясь и ошибаясь, отставая и забегая, но шел все к той же одной для коммуниста цели — для укрепления социальной революции?

Неужели светлая страница крымской борьбы, какую вписала 2-я Конная армия в историю революции, должна омрачиться несколькими словами: «Командарм 2-й Конной Миронов погиб голодной смертью в Бутырской тюрьме, оклеветанный провокацией...»

Да не будет сей позорной страницы на радость битым мной генералам Краснову и Врангелю и председателю Войскового круга Харламову.

Остаюсь с глубокой верой в правду — бывший командарм 2-й Конной Красной, коммунист
Ф. К. Миронов.
1921 г. 30.III. *Бутырская тюрьма*[1].

ДОКУМЕНТЫ

Из Харькова, по телеграфу
В Центральный Комитет РКП(б)

Ввиду исключительных заслуг Миронова, проявленных в борьбе с Врангелем, прошу ЦК РКП(б) о проявлении внимания к нему.

Командующий войсками Украины и Крыма, член РКП(б) *М. Фрунзе*[2]

---

[1] ЦГАСА, ф. 246, д. 1, л. 229—246.
[2] Там же, ф. 25899, оп. 1, д. 10, л. 181.

Второго апреля, в этот сорок шестой день пребывания под арестом, может быть, впервые за все время у Миронова улучшилось самочувствие. Возможно, повлияла встреча с Надей во время вчерашней дневной прогулки, когда она успела шепнуть ему, прижавшись, что беременна, а он передал ей пачку бумаги, копию своего письма Калинину и сказал, что письмо отослано, что вскорости муки их кончатся и обязательно все будет хорошо... А возможно, человек просто не мог беспрерывно бунтовать душою и возмущаться, сгорать от недоумения и ярости второй месяц изо дня в день. Нужна была душевная перемена, и она пришла. Чувствовал Миронов, что главное дело в его нынешнем положении исполнено, не сегодня так завтра т а м получат заявления, какой-то один экземпляр должен же пробиться к адресату? Радовало и то, что он не замкнулся в своей беде, сумел внятно и доказательно высветить всю тяжесть положения пахаря нынешней весной, все огрехи прошлой политики — это главное.

Камера, в которой он писал свое заявление, была в нижнем этаже и крайней по коридору, у самого выхода на тесный прогулочный дворик. Утром в маленькое, высокое окошко с железным прутом заглянуло солнце, настоящее, вешнее, и если отойти в угол камеры, то можно было видеть клочок ярко-синего, какого-то березового, талого неба с летучими облачками. Во всем этом было предзнаменование, добрый знак: в отосланном письме, во встрече с Надей, в том, что камера крайняя, от нее уже некуда больше идти, кроме как на волю, во двор...

Часа за полтора до прогулок (в это время за дверью начинался бесконечный топот туда и обратно), когда еще было тихо, в наружном замке с характерным металлическим щебетанием провернулся ключ, сняли железную накладку с петли, и в камеру вошел дежурный с одним из тюремных рабочих, как видно, маляром. Тот держал старое малярное ведро с разведенной известкой и сработанную, вытертую кисть на длинной палке. Они осмотрели камеру так, будто в ней никого нет, оценили трещины и грязные разводы на потолке, и после этого дежурный вроде заметил Миронова, сказал ему:

— Надо, знаете, уборочку сделать, камера-то все равно освобождается, говорят... Как бы вас не затруднить? Может быть, выйдете пока во двор, погуляете эти минуты? Там — хорошо, и двор еще пустой...

— С удовольствием, — сказал Миронов. — Его тронули и подкупили вежливость дежурного и в особенности нечаянные слова о том, что камера скоро освобождается.

— Хорошо. Двери пусть будут открыты, чтобы скорее просохло...

Маляр тут же занялся делом, размешал известку и начал пробеливать дальний угол потолка, а Миронов, даже не надевая шинели, не раздумывая, миновал коридор и вышел без всякого присмотра на мощенный каменными плитами дворик.

Свежий воздух весны и радость близкой свободы опьянили его. Вокруг, правда, были высоченные стены и будка часового на дальнем углу, но все равно — воля была рядом, и в небе пылало яростное, теплое солнце, просушившее каменные плиты двора с выбивающейся по щелям рыжей, прошлогодней травкой...

Как было не радоваться, когда за стеной постукивали трамваи, на карнизе неистово орали воробьи и кругом была весна — первая весна без войны, без продразверстки, без всесветного террора, весна свободного крестьянского поля...

Как там, на Дону?

Скоро все кончится, скоро все станет на подобающее место...

Он ходил по двору, по овальному кругу, вытоптанному на плитах другими подошвами за сотни лет, пока стоит тюрьма, и радостно отдыхал душой, открывался солнцу слева и справа, полуприкрыв глаза, вслушиваясь в звонки трамваев за кирпичной высотой стены, смотрел под ноги, где топорщилась рыжая, прошлогодняя травка в щелях...

Рыжая, блекло-серая травка, которая скоро зазеленеет! Душа разрывается! А помнишь, Миронов, как ты улыбался в Петрограде, пятнадцать лет назад, когда твой земляк Крюков чуть не разрыдался над пучком серенькой степной травки с мятно-цветочным, тонким ароматом — чебором с родных бугров? Дело-то было не в запахе чебора, а в том, что он напоминал человеку, что пробуждал в душе.

Свяжи в пучок емшан седой
И дай ему —
и он вернется!

Емшан-трава, одолень-трава, от века зовущая путника к возвращению в отчий край, к порогу и очагу матери и отца...

Миронов поднял голову и увидел край кирпичной стены, синюю безбрежность неба и легкое, юное, бесцельно летящее в просторе, розоватое от солнца облачко. И вновь закружили душу воспоминания, вспомнилось давнее облачко в грозовом небе над Доном, шаткий паром, хриплый, предостерегающий шепоток перевозчика деда Евлампия: «Остерегайся Идолища Погана, Филя!.. Идолища — о трех головах!..» Наверное, и прав был бедный старичок, зла в жизни хватает с преизбытком, даже и многовато на одну-то душу живую, но ведь на то и живем, на то и топчем землю, чтобы сопротивляться, доказывать свое... Ну, а волков бояться — так в лес не ходить!

Перевел взгляд в конец стены и улыбнулся грустноватой своей усмешкой часовому на низкой, угловой голубятне...

Часовой был совсем молодой деревенский парень в зимней папахе, той самой, окопной, по имени «здравствуй-прощай», в шинели, с белесыми, расплывчатыми бровями на скуластом, простоватом, отчего-то вроде испуганном и напряженном лице. Из тех, что вечно отстают на марше с распустившейся обмоткой. Винящихся и все же ненавидящих младшего командира...

Солдат положил ствол винтовки на деревянный барьер вышки, неумело возился с затвором. Забыл, наверное, красноармейское наставление, девятый параграф: никогда не целить в товарища из баловства или шутки, не поворачивать без причины ствол в сторону людей, — говорят: на грех и палка стреляет! Точно такой красноармеец однажды спросил его под Перекопом, зачем, мол, так много красных флажков и флагов приказано раздать при атаке, и понятливо кивнул на быстрый ответ комиссара полка Белякова: атака, мол, будет на прорыв, а в тылу противника тоже наши части, может выйти смешение всадников. Флажки эти для того, чтобы своих не порубить...

Часовой на вышке все возился с винтовкой, а Филипп Кузьмич уже обошел очередной круг и снова обернулся к нему, вспоминая что-то такое, что обязательно хотелось вспомнить из той атаки. Красные флажки, словно сорванные осенние листья клена, мельтешили перед взором, кони резервного полка нетерпеливо сучили ногами, цокали копытами, звякали удилами, всадники напряглись перед смертельным броском. Рядом были адъютанты и командир резерва. Все изготовились к атаке... И тут Миронов почему-то вспомнил Михаила Блинова, летучую и славную смерть его под Бутурлиновкой и вдруг непроизвольно, заиграв скулами, как будто сопротивляясь року, безвременной гибели побратима своего, тихо произнес его, Блинова, последние слова:

— Знамя — ко мне!

Красное знамя развернулось вокруг него языком пламени, ослепило на мгновение и подняло в стремемах... Он лапнул слева, ища ножны и эфес именной, золотой шашки, но руки провалились почему-то в пустоту. А красный свет знамени вдруг налился иным, непроглядно-бурым и вовсе черным светом, запеленал глаза и память последней полуночной тьмой беспамятства.

Выстрела он не слышал. Был только дружный топот копыт и визг последней победной атаки его конницы. Но выстрел был прицельный, с вышки-голубятни, почти в упор.

Пуля точно нашла то незащищенное место на френче, где еще не выгорел и не обмялся след орденской алой розетки, и пронзила сердце Миронова.

Этот странный, одинокий выстрел посреди Москвы, за кирпичной стеной, слышали в позванивающем трамвае, который ходко катил по Бутырской улице к центру. Но людей в старом, дребезжащем трамвае было порядочно, гомонили, переспрашивали остановки, делились текущими заботами, так что винтовочный выстрел за стеной не произвел особого волнения. Только сухонький старичок со столярным ящиком в руке, из которого торчало небольшое топорище и рукоятка пилы-ножовки, задел скрюченными пальцами рукав стоявшего рядом служащего в новеньком военном френче, буденовке с поднятыми наушниками и больших роговых очках. Волосы у военного были распущенные, как у попа:

— Кажись, стреляли там... товарищ командир?

Стоявший рядом военный Аврам Гуманист, сотрудник Реввоенсовета Республики, был занят совсем другим, в трамвае этого маршрута оказался почти случайно, но близкий выстрел все-таки слышал и отрицать не мог.

— Возможно, — сказал он, не глядя на старика-столяра. — Возможно. Идет ведь очистка города от карманников и грабителей, ловят какого-нибудь скокаря...

— Палиха! — объявила горластая кондукторша в матросском бушлате, и стоявшие в проходе начали привычное движение, постепенно продвигаясь к выходу. Старичок в этот момент нашел свободное место, сгорбился на скамеечке и оставил военного. Гуманист между тем посмотрел в проем окна — стекол в трамвае не было — и весь как-то подобрался внутренне, насторожился. В толпе садящихся, штурмующих заднюю площадку, он вдруг заметил знакомое лицо, характерный разлет коротко стриженных темных волос и направленные мимо него, к двери, жгучие, палящие жестокостью глаза Таисии Стариковой. Это она в красной косынке, повязанной на бочок, с кавалерийским форсом, в легкой комиссарской кожанке пробивалась в трамвай.

«Неужели — она? Но лучше бы, черт возьми, миновать это удовольствие! — подумал Аврам и непроизвольно сделал еще шаг к выходу, хотя сходить было еще рано, он ехал до Страстной площади. — Лучше всего с нею, гадюкой, не встречаться!..»

Встреча была бы, конечно, совершенно лишней, и хорошо, что этот трамвайный маршрут для него был случайным. Больше он тут не поедет.

Аврам жил теперь на Тверской, у самого памятника Пушкину, в доме купца Елисеева, бывшего, конечно, а ездил в данном случае далеко, за Савеловский вокзал, выбирать для сестры Софы дачу из реквизированного фонда в Останкине. Сестра приехала в начале года из Орши и уже вышла замуж за одного видного дипкурьера, ей надо было устраиваться. Но она не знала, какую дачу лучше выбрать, и Авраму пришлось съездить. Но в следующий раз он никогда не сядет в этот маршрут: во-первых, поблизости стреляли и, во-вторых, ни к чему эти нечаянные встречи с этой невозможной Таисой...

Странное дело, в нынешнем их положении она бы ничего не смогла сделать для него худого из своего какого-нибудь районного женсовета на Палихе или Новой Слободе, но все же испуг душевный возник, скрывать этого он не мог, тем более перед самим собой. И поэтому не хотел никакой встречи с нею, никаких воспоминаний. «Опять затеет свои нелепые дознания о Махно и Мишке Левчике! — подумал Аврам в смятении. — Либо вспомнит про какого-нибудь Мозолькова, карательный эскадрон под Монастырщиной!»

Аврам боялся обернуться, боялся встретиться с нею глазами. Только искоса, через оконный проем он следил за посадкой и знал, что она уже проникла в трамвай, теснится в толпе и, возможно уже смотрит на его буденовку, прямо в затылок.

«А если она работает не в женотделе? И вообще — откуда такая мысль, про женотдел? Такая баба может работать теперь и в Чека, у Дзержинского... А? Вот так возьмет да и окликнет ласково: товарищ Гуманист, мы ведь, кажется, с вами знакомы еще по фронтам гражданской войны, и один разговорец у нас с вами еще остался неоконченным... Не правда ли?..»

Черные, исстрадавшиеся, ничего не прощающие глаза, зоркие, как сама судьба, с задней площадки вагона могли узнать его даже в спину. Аврам начал потихоньку пробираться к выходу. И тут же внезапно пришло успокоение.

Стоп. Он сильно перетрухнул и, вероятней всего, без большой на то причины! Времени-то немало прошло, и притом — она ведь чахоточная! Почему она до сих пор жива? Почему бы ей не умереть, этой досужей свидетельнице, как умирали сотни и тысячи других после войны?

Да. Ей теперь не до него, ей надо лечиться и думать исключительно о себе, о своей жизни! У нее забот полон рот: всякие жилплощади, пайки, служба, тяжба с соседями — да мало ли! Одних анкет за день не перепишешь! Это хорошо придумано: озаботить их, очевидцев и свидетелей, великой нуждой и заботой на каждый день, каждый час, черт возьми, и тогда им будет уже не до выяснения полузабытых обстоятельств из прошлого! Как это в гимназии называли: плюсквамперфект. Вот именно! Да и стоит ли? Задним числом ничего уж не поправить...

Он думал о тяжком своем времени, неурожае, скученности людской по общежитиям и, вздохнув, плотнее натянул за козырек буденовку. Что ж тут говорить, война-то лишь вчера кончилась, кругом голод, холод, коллективные бараки и самогонка! Да еще чахотка — тут и про саму себя забудешь, будь ты хоть сто раз Таисия, бывший инструктор политотдела!

Его никто не окликал, трамвайный вагон был все же длинный и порядочно наполненный, легко было затеряться. И когда кондукторша хрипло объявила Садово-Триумфальную, Аврам сделал последнее усилие, протолкался в тесноте передней площадки и выскочил через ступени на мостовую.

Не оглядываясь, быстро перешел на тротуар и зашагал вперед с бьющимся сердцем, все еще ожидая оклика по имени и отсчитывая секунды, пока дребезжащий трамвай катил мимо, обгоняя его и оставляя в покое.

Трамвай прошел.

Гуманист вздохнул спокойнее. Отсюда до Страстной площади было уже недалеко...

Ф. Г. БИРЮКОВ, доктор филологических наук, профессор

НА ПУТИ К ИСТИНЕ

«Красные дни» Анатолия Знаменского — документальный роман о командарме Второй конной армии Филиппе Кузьмиче Миронове.

Родился он 14 (26) октября 1872 года в станице Усть-Медведицкой (ныне г. Серафимович Волгоградской области). Из казаков. В 1898 году окончил Новочеркасское юнкерское училище. Участвовал в русско-японской войне 1904—1905 годов: командовал в Маньчжурии сотней разведчиков, совершал смелые рейды в тыл японцев. За короткий срок был награжден четырьмя орденами и произведен в чин подъесаула.

Вернувшись на Дон, стал в центре народного движения. Казаки требовали отмены мобилизации второй и третьей очереди, которая необходима была царизму для усиления полицейской службы, подавления революции. Миронов произнес по этому случаю на сходе в Усть-Медведицкой зажигательную речь. Он выдвигал широкую программу: свержение царизма, который привел страну к обнищанию и поражению в русско-японской войне, изъятие земли у всех крупных владельцев, бесплатное обучение детей и бесплатная медицинская помощь, восьмичасовой трудовой день для рабочих. За агитацию Миронов был посажен в местную тюрьму.

Станичники добились его освобождения и послали вместе с казаком Коноваловым в Петербург для передачи в Государственную думу Наказа. В Наказе было сказано: «Для общего блага России не мобилизация нужна, а необходимо накормить голодных крестьян и оградить рабочих законом от гнета и произвола фабрикантов и заводчиков» (ЦГИАЛ, ф. 1405, оп. 530, д. 588, л. 7). За это Миронов был уволен с военной службы.

Во время первой мировой войны он командует отрядом разведчиков. За боевые заслуги награжден четырьмя орденами и Георгиевским оружием. На фронте понес тяжелую утрату: посланный им в разведку сын Никодим был убит.

События этого времени отражены ранее в первой книге романа-хроники А. Знаменского «Красные дни», пролог которой печатается в настоящем издании.

После февральской революции Миронов был избран командиром 32-го Донского казачьего полка. Развернул среди фронтовиков агитацию, привел под революционным знаменем свой полк на Дон, участвовал в борьбе за Советскую власть. Был окружным комиссаром на Верхнем Дону, командовал полком, бригадой, 23-й стрелковой дивизией, группой войск 9-й армии. Соратники Миронова вспоминали потом своего командира как энтузиаста революции, защитника народа, называли «дедушкой Мироновым», шли за ним, верили в него до конца. Он владел редким искусством военного маневра, берег жизнь каждого бойца. В 1918 году был удостоен редкой для того времени награды — ордена Красного Знамени.

В марте 1919 года как решительный противник левацкой политики «расказачивания» был под видом повышения в должности удален с Дона, назначен помощником и врид командующего Литовско-Белорусской армией, в июне — вридом командующего 16-й армией на Западном фронте. Это была первая провокация троцкистов против Миронова.

Когда, вследствие авантюристической установки донских руководителей на массовые репрессии, «расказачивание», поднялось повсеместное восстание станиц, Миронова возвратили на Дон тушить пожар. Он получил задание сформировать Особый Донской казачий корпус, был кооптирован в члены казачьего отдела ВЦИК.

8 июля его принял в Кремле В. И. Ленин. Присутствовали М. И. Калинин и комиссар по казачьим делам ВЦИК М. Я. Макаров. Ленин одобрил те предложения, которые Миронов изложил в докладной записке еще от 16 марта в Реввоенсовет Республики. Но записка там так и пролежала. Ленин, выслушав Миронова, сказал: «Жаль, что вовремя мне этого не сообщили».

Ленин и Калинин обещали оказать содействие в формировании корпуса.

Местом формирования определили Саранск. Миронов с энтузиазмом взялся за дело. Но провокаторы из «леваков» делали все возможное, чтобы сорвать его планы, изгнать с командной должности. Все это привело к тому, что 24 августа он выступил с частями не до конца сформированного корпуса против Деникина, широким фронтом наступавшего с юга. Самовольное выступление Миронова было квалифицировано в приказах Троцкого как мятеж авантюриста, предателя, пособника Деникина. Миронов был объявлен вне закона. Мироновцы были разоружены, взяты в плен.

В октябре состоялся балашовский процесс. Миронов и его десять соратников были приговорены к расстрелу. Но ВЦИК помиловал осужденных. Политбюро ЦК РКП (б) реабилитировало Миронова. Ему разрешено было вступить в партию. Поручился за него Ф. Э. Дзержинский.

В январе 1920 года Миронов был введен в состав Донисполкома, заведовал земельным отделом.

Но вскоре события развернулись так, что необходимо было снова браться за оружие: начался поход белополя-

ков, наступал Врангель, засевший в Крыму. Миронов просился на фронт. В сентябре он вступает в командование Второй конной армией, участвует в боях против Врангеля. За исключительные успехи награждается двумя орденами Красного Знамени и почетным революционным оружием.

После Крыма Миронов должен был приехать не позже 15 февраля в Москву, занять пост инспектора кавалерии РККА. По пути заехал в родные места — станицу Усть-Медведицкую. Там был избран делегатом на местную партийную конференцию, которая состоялась 10 февраля в Михайловске. Миронов выступил с резкой критикой местных властей, оторвавшихся от народа, по-прежнему, как и год назад, они опирались на террор.

В ту же ночь он был арестован как якобы организатор готовящегося восстания и препровожден в Москву. Находился на Лубянке, затем в Бутырской тюрьме. В обстоятельствах этой третьей провокации не захотели разобраться и в Москве. До нас дошло письмо Миронова В. И. Ленину, в свое время перехваченное кем-то. Это была предсмертная исповедь. Виновным себя он не признал. 2 апреля 1921 года был убит во дворе тюрьмы.

В 1959—1960 годах было проведено дополнительное расследование по усть-медведицкому делу. Определением Военной коллегии Верховного суда СССР от 15 ноября 1960 года была установлена невиновность Миронова. Так только через сорок лет видный военачальник, герой гражданской войны, большой общественный деятель перестал быть изменником, контрреволюционером, мятежником.

Журналист В. Гольцев в «Неделе» от 3 июня 1961 года выступил с очерком «Командарм Миронов». Важные сведения содержала изданная через пять лет документальная книга Ю. Трифонова «Отблеск костра», в которой были материалы и о Миронове. В 1968 году вышла книга В. Душенькина «Вторая конная». Эти три автора пытались дать представление о забытом герое. Однако в журнале «Вопросы истории КПСС» (1970, № 2) появилось странное письмо за подписью С. М. Буденного «Против искажения исторической правды», в котором можно прочитать такое: «РВС Южного фронта просил удалить Миронова из казачьих районов. Перемещение Миронова в сложнейшей обстановке было правильным и необходимым, ибо диктовалось интересами Советского государства и стремлением партии и правительства помочь трудовому казачеству твердо и бесповоротно встать на путь активной борьбы за Советскую власть, а Миронову давало возможность осознать свои грубые политические ошибки, которые могли перерасти в прямую контрреволюцию» (с. 110—111).

Так снимались грубые политические ошибки с «леваков» и перекладывались на Миронова. Это письмо было воспринято в издательствах как бесспорная точка зрения и надолго приостановило публикацию объективных материалов о Миронове. Заявки на книги и статьи о Миронове не принимались. Ю. Трифонову после этого в повести «Старик» пришлось менять фамилию Миронова на Мигулина; только таким косвенным образом он смог передать некоторые подлинные факты и документы. Упоминание имени Миронова нередко в нашей печати не допускалось.

В 1972 году мне привелось беседовать с М. Шолоховым. Он тогда прочитал неизвестные ему письма Миронова, сказал: «Очень интересные материалы». С огорчением заметил: «Думенко и Миронов — реабилитированы. Конечно, очень хорошо. А кто знает об этом?»

И вот с февраля 1978 года краснодарский журнал «Кубань» начал публикацию глав из романа А. Знаменского «Золотое оружие» — о Миронове. Сразу было видно, что произведение основано на тщательно систематизированном подлинном материале, что затрачены огромные усилия по собиранию разнообразных сведений, что автор руководствуется выверенной концепцией, сложившейся в результате многолетнего исследования темы, что им движет стремление воздать должное замечательному сыну России. Он так писал об этом сыну Миронова Артемию Филипповичу в Брянскую область: «Я не перестаю восхищаться Филиппом Кузьмичом. Он был герой и кристальной чистоты человек, он понимал события лучше многих, стоявших на вершине власти, и не мог предпринять никаких других шагов кроме тех, которые героически предпринимал. Другого выхода ни для самого Миронова, ни для народа Дона, который он горячо любил и защищал, не было. В этом вся трагедия и все величие этого человека с большой буквы. Он сгорел в этом пожаре гражданской войны не как рядовая фигура, а как горьковский Данко, который разорвал свою грудь и отдал сердце людям...»

Жизнь Миронова была полна стремительных взлетов и падений. А. Знаменский воссоздает огромный исторический фон, соотносит судьбу героя с судьбой казачества на переломе времени, входит в этот мир, полный противоречий, обостренно трагический в годы гражданской войны, известный нам по «Тихому Дону» М. Шолохова. А. Знаменский хорошо осознает, кому выгодно было опорочивание казаков и представление их в виде темной реакционной силы в нашей публицистике и исторической науке двадцатых — сороковых годов.

Более того, встает вопрос о крестьянстве в целом. Как он решался теоретически и практически в конкретном случае? Кто и какую политику предлагал и осуществлял?

Автор, вдумываясь в ход гражданской войны, особенно на юге, решил сказать свое слово о том, почему она стала такой жертвенной и затяжной. А чтобы рассуждения не были чисто головными, отвлеченными, А. Знаменский опирается на подлинные факты и документы. Отсюда — объемность романа. Многое в нем для большинства читателей оказывается новым, они, несомненно, задумаются над сложными путями, которыми шла страна в годы революции.

Казачий вопрос — это тот же крестьянский вопрос, но в более трудном варианте. Идея дружбы, сотрудничества пролетариата и трудового крестьянства, провозглашенная Советской властью, полностью относилась и к донскому, кубанскому, уральскому, терскому, сибирскому, уссурийскому и прочему казачеству. Правда, эти окраины были заметно отдалены от институтов общерусской демократии и в большей мере сохраняли пережитки прошлого. Но и в казачьих районах действовали законы классового размежевания. Это видно было задолго до 1917 года, когда казаки стремились сложить с себя полицейские обязанности, устраивали лагерные бунты.

Не удалось контрреволюционерам — Каледину, Краснову, Богаевскому, Деникину, Врангелю — превратить Дон в Вандею и после Октября.

К этому времени определились два разных подхода к донской проблеме. В первом случае подразумевалось прочное соглашение с трудовым народом Дона, привлечение его на нашу сторону методами агитации, опытом революции, советского строительства. Учитывались и всяческие сложности: сословные предрассудки, замкнутость, политическая отсталость, влияние верхов казачества, бытовые пережитки, тянувшие в прошлое. Но все это воспринималось не как непроходимая пропасть, отделяющая казаков от нового. Была твердая уверенность, что Советская власть, и только она, способна объединить в общую семью всех трудящихся, вывести казаков на широкий путь гражданской и духовной жизни.

Во втором случае исходили из представления о казачестве как монолитном сословии, являющемся оплотом империализма и наемной силой царя, как о нагаечниках и душителях революционного движения. Казачество якобы окаменело в своих старорежимных представлениях; живет без признаков демократических чувств. Здесь тактика была рассчитана в основном на применение силы, репрессий, подавление свободного выражения мысли и воли.

Первую линию проводили на Дону Ковалев, Бураго, Дорошев, Щаденко, Миронов, отец и сын Серафимовичи, Сокольников, Сдобнов, Трифонов, Ефремов, члены казачьего отдела ВЦИК. Они опирались на ленинский декрет (июнь 1918 года), в котором была определена политика в отношении казачества, рассчитанная на прочный союз.

Вторую линию осуществляли Троцкий, Сырцов, Френкель, Ларин, Гроднер, Ходоровский, Якир, Кржевицкий. Ярким выражением их установок стала директивная статья «Борьба с Доном», напечатанная в газете «Известия Наркомвоена», где отношение к донцам определялось так: «Стомиллионный русский пролетариат даже с точки зрения нравственной не имеет права здесь на какое-то великодушие».

В 1919 году одержала верх вторая линия. Она нашла свое подтверждение в циркулярном письме Оргбюро ЦК РКП(б) от 29 января 1919 года, где вменялось в строгую обязанность военным трибуналам, ревкомам «провести массовый террор против богатых казаков, истребив их поголовно, провести массовый террор по отношению ко всем казакам, принимавшим какое-либо прямое или косвенное участие в борьбе с Советской властью».

На основе этого указания донские деятели во главе с Сырцовым разработали свою детальную и еще более беспощадную директиву: расстрелы, конфискации, насильственное искоренение всех обычаев, организация коммун и так далее.

Миронова отстранили от командования, удалили. Началась вакханалия расправ над населением.

«Леваки», чуждые казачеству, да и всему трудовому крестьянству, подорвали веру донцов в Советскую власть, вызвали повсеместное восстание, массовый переход казаков в лагерь контрреволюции.

А. Знаменский в подлинности представил эту труднейшую ситуацию, которая заставила Миронова выйти на открытый бой с загибщиками, противопоставить их планам свои продуманные предложения, чтобы закрепить наши победы на юге.

Троцкистская тактика привела к развалу Южного фронта, к поражению, окрылила Деникина, а в результате бывшая Область Войска Донского, как хорошо известно по «Тихому Дону», стала ареной братоубийственной войны.

Комиссар Особого экспедиционного корпуса, член РВС Республики В. Трофонов писал тогда А. Сольцу: «На Юге творились и творятся величайшие безобразия и преступления, о которых нужно во все горло кричать на площадях... Южный фронт — это детище Троцкого и является плотью от плоти этого... бездарнейшего организатора» (Ю. Трифонов, «Отблеск костра», 1966, с. 151).

Естественно, самой ненавистной фигурой для Миронова был Троцкий — главный вдохновитель политики «расказачивания», «раскрестьянивания». И понятно, почему А. Знаменский так много внимания уделил этому деятелю, виновнику многих бед и зол.

Чем объяснить, что «леваки» одержали верх и нанесли тяжелый урон Республике? А. Знаменский исследует это явление со всей тщательностью. Он указывает на хитрую демагогию, пышное фразерство, на тактическую ловкость выдвигать себя и «своих» на руководящие места, на спаянность беспринципных политиканов, их взаимную круговую поруку.

Он пишет в своем романе-хронике: «Упорная работа Троцкого по укомплектованию армейских кадров и Гражданупра «своими» работниками с непременным шельмованием неугодных, честных партийцев и командиров лишала людей уверенности. Исчезали куда-то опытные работники вроде комиссара Бураго, начдива-15 Гузарского (оба старые большевики), другие ходили не у дел, третьи в непонимании разводили руками. Неуклонное проведение подрывной линии Троцкого приводило к краху всю позитивную работу, разваливало армию. Непостижимо, но факт: только с осени прошлого года в 8-й армии сменилось шесть командующих: Чернавин, Гиттис, Тухачевский, Хвесин, Любимов, Ратайский... 11-й армии уже не существовало, умерла, не родившись, 12-я, в связи с чем наркомвоен Троцкий выдвинул «спасительную идею»: в целях выравнивания фронта... оставить Астрахань. В степях Причерноморья, под Одессой, вспыхнул мятеж Григорьева, разлившийся по всей Таврии. Глухой ропот сочился из всех щелей деревянной и посконной сельщины. Красный Царицын отбивался в полуокружении и просил помощи, но помощи требовали и другие армии.

Чрезвычайный комиссар Юга Серго Орджоникидзе писал в эти дни Ленину: «Что-то невероятное, что-то граничащее с предательством... Где же порядки, дисциплина и регулярная армия Троцкого?! Как же он допустил дело до такого развала? Это прямо непостижимо...»

Изгнание Автономова, расстрел Матвеева, Думенко, Миронова, обвинение Жлобы в дезертирстве, непроясненная история с Сорокиным...»

Автор далее комментирует: «Каждая из этих историй, как видно, не производила, да и не могла произвести на сограждан особого впечатления: чего, дескать, не бывает на войне, тем более — гражданской! Но, собранные воедино, эти трагедии командиров, корпусных и дивизионных начальников совершенно непроизвольно и вдруг выявляли одну старательно маскируемую сущность. А именно ту, которая сводилась к злой и неуклонной дискредитации, с последующим уничтожением, всех народных вожаков и героев, выдвигаемых стихией революции и гражданской

войны, делавших революцию и побеждавших в открытом бою белых генералов».

Только при этих условиях могли возвышаться по служебной лестнице такие карьеристы, как Аврам Гуманист, приспосабливаться и проводить подрывную работу типы вроде Носовича, Всеволодова, Ковалевского, Щегловитова, Барышникова, Мосина. И именно в такой обстановке уходили от нас демократически настроенные люди — писатель короленковского направления Федор Крюков, хорунжий Павел Кудинов.

«Леваки» подорвали престиж идей Советской власти, казаки стали думать, что разницы между старым и новым режимом нет, там и тут — насилие. Политработникам и командирам, выправлявшим положение, в том числе и вернувшемуся на Дон Миронову, пришлось прилагать много усилий, чтобы привлечь на нашу сторону трудового казака.

В книге содержится обширный фактический материал о том, как Миронов создавал Особый конный корпус. Несмотря на то что это задание поддержали Ленин и Калинин, влиятельные силы из окружения Троцкого сделали все, чтобы сорвать планы, довели Миронова до отчаяния. Рьяно действовали присланные в Саранск с Дона те самые политработники, которые оставили там во время «расказачивания» преступные следы.

Балашовский процесс, когда судили разом 430 человек — борцов за Советскую власть, рвавшихся на фронт, — ясно показал суть двух направлений в решении казачьего вопроса. С одной стороны, блестящая речь Рыбакова, защищавшего мироновцев от скоропалительных обвинений. О ней, к сожалению, ничего не сказано в книге. С другой — развязная демагогия государственного обвинителя И. Смилги, выдержанная в форме подчеркнутого презрения к подсудимым.

«Красные дни» подводят к логическому заключению: костер гражданской войны раздувался двумя силами: реставраторами старых порядков и экстремистами. Война на Дону была бы менее острой и кровопролитной, менее длительной, если бы руководство оставалось за такими людьми, как Ковалев, Миронов, Дорошев, Сдобнов, Ефремов.

Мы привыкаем теперь говорить прямо, открыто, честно о нашем времени и о прошлом, выявляем, кто есть кто. Роман «Красные дни» — одно из верных доказательств отрадных перемен, происходящих в нашем общественном сознании.

Н. Н. ЯКОВЛЕВ, доктор исторических наук, профессор

ПОДВИГ И ТРАГЕДИЯ

Обратившись в июле 1988 года к личности легендарного командарма Второй конной армии Ф. К. Миронова, «Советская Россия» писала: «Сегодня наступила трудная, но долгожданная пора возвращения к правде. Архивные документы, дневники, письма, скупые строки военных реляций, постановлений, листовок возвращают нам имена революционеров, которые прежде обходились молчанием. Один из таких людей — Филипп Кузьмич Миронов. Историкам еще предстоит изучить его богатейший архив и, вероятно, написать о нем не одну документальную книгу».

Долгий путь пришлось пройти нашей литературе, прежде чем через густое «белое пятно», залившее память о Ф. К. Миронове, начали проступать контуры исторической правды. Судьба Миронова — это судьба трудового казачества Юга России в эпохальные годы гражданской войны. Вероятно, М. Шолохов в «Тихом Доне» был первым, кто попытался приоткрыть завесу недомолвок, наброшенную на «верхнедонское восстание, оттянувшее с Южного фронта значительное количество красных войск». Да, это восстание серьезно осложнило положение Советской республики. В нем, как в фокусе, сосредоточились противоречия тогдашней героической эпохи, в которой значительная часть казаков моталась между противоположными концами политического спектра.

М. Шолохов поставил вопросы, но в силу определенных обстоятельств не смог дать на них полные ответы. Оно и понятно: помимо прочего, ему приходилось обозревать происходившее на тихом Доне с учетом того, что писал, например, «в исторической записке Ленину товарищ Сталин», или указывать на «последствия пораженческого плана Троцкого». А. Знаменский в наше время имеет возможность сказать больше, полнее, воздав должное Ф. К. Миронову, само имя которого во времена сталинщины находилось под запретом до гражданской и политической реабилитации в 1960 году.

В самом конце 1918 года белоказачьи полки открыли Калачево-Богучарский фронт перед Красной Армией. Они получили заверения личной неприкосновенности за лояльность к Советской власти. В ответ по инициативе Троцкого началось «расказачивание». В книге приводится немало документальных свидетельств этой ужасающей политики, резко обострившей обстановку на Дону. А. Знаменский приводит ряд свирепых решений местных властей, а стоило бы более подробно процитировать (в книге это сделано мельком) директиву Оргбюро РКП(б) от 26 января 1919 года, подписанную Я. М. Свердловым. Она гласила:

«Необходимо, учитывая опыт гражданской войны с казачеством, признать единственно правильным самую беспощадную борьбу со всеми верхами казачества, путем поголовного их истребления.

1. Провести массовый террор против богатых казаков, истребив их поголовно, провести массовый террор по отношению ко всем казакам, принимавшим какое-либо прямое или косвенное участие в борьбе с Советской властью.

К среднему казачеству необходимо применить все те меры, которые дают гарантию от каких-либо попыток с его стороны к новым выступлениям против Советской власти...» Во исполнение этой директивы Оргбюро ЦК ВКП (б) Донбюро рассылало по ревкомам собственные свирепые директивы. И закрутилась кровавая спираль массовых расстрелов по станицам и хуторам. В этой обстановке и пришлось Ф. К. Миронову и шедшим за ним и с ним казакам биться за Советскую власть. Роман-хроника А. Знаменского освещает эту драматическую коллизию, говоря словами Миронова, между «Деникиным и контрреволюцией», с одной стороны, и «новыми вандалами» — с другой.

Вот эта навязанная раздвоенность — трагедия жизни Филиппа Кузьмича Миронова. Он был непримиримым борцом с контреволюцией, за власть Советов. Как известно, белые люто ненавидели его уже за то, что он, кадровый офицер, военный интеллигент, сражается в рядах Красной Армии. С ними у Миронова был один язык — язык оружия. Как он владел им, свидетельствует тот факт, что 25 ноября 1920 года ВЦИК удостоил Ф. К. Миронова высшей боевой награды того времени — почетного революционного оружия (в числе всего 22-х героев за всю гражданскую войну). Во ВЦИКе понимали, что он сделал во имя и для революции.

Но в те времена на местах было немало партийных и советских работников, которые не могли подняться выше своих пристрастий, хотя бы из-за возраста и скудости жизненного опыта. Сознательный борец за дело народа, Ф. К. Миронов на полях гражданской войны доживал пятый десяток, а упоминающийся в книге Крайний (настоящее имя Моисей Израилевич Шнейдерман) в 1918 году был председателем Северо-Кавказского крайкома РКП (б) в 20 лет. Абрам Израилевич (Авраам Изоргиевич Рубин), который был моложе Миронова почти на 15 лет, стоял в 1918 году во главе Северо-Кавказской Советской республики. С людьми этого поколения отношения у Миронова, профессионального военного, складывались трудно, в то время как с ровесниками, скажем, с действующим на страницах романа-хроники членом РВС Юго-Западного и Южного фронтов Сергеем Ивановичем Гусевым (Яковом Давидовичем Драпкиным), он без больших сложностей находил общий язык.

В октябре 1919 года в Москве Миронов прочитал статью Троцкого о себе, которая заканчивалась так: «В могилу Миронова история вобьет осиновый кол как заслуженный памятник презренному авантюристу и жалкому изменнику». Освобожденный на заседании Политбюро ЦК РКП (б) 23 октября 1919 года от всех наказаний, Ф. К. Миронов написал короткие воспоминания, своего рода исповедь:

«Льстит моему самолюбию, что осиновый кол будет вбиваться не руками человека, всегда пристрастного, а руками истории, а для этой старушки отказать в искренности и чистоте исповеди — преступно...

Как я понимал свое назначение среди человечества, скажут эти мои записки, но не статьи Троцкого, Черноморцева и др., приписывающих мне карьеризм, авантюризм и т. п. ...Девиз моей жизни — ПРАВДА!

...Все несчастье моей жизни заключается в том, что для меня — когда нужно сказать чистую правду — не существует ни генерала царской армии, ни генерала Красной Армии. Правда, как всем нам известно, есть общественная необходимость. Без нее жизнь немыслима. Правда, являясь двигателем лучших, возвышенных сторон человеческой души, должна чутко оберегаться от захватывания ее грязными руками. Она, в своем голом виде, тяжела, и кто с ней подружится,— завидовать такому человеку не рекомендуется. Для нее нет ни личных, ни политических соображений — она беспристрастна, но жить без нее немыслимо. Правда, как говорит наш народ, ни в огне не горит, ни в воде не тонет. И всю жизнь я тянусь к этому идеалу, — падаю, снова поднимаюсь, снова падаю, больно ушибаюсь, но тянусь... мы обязаны идти, если живем не во имя личного эгоизма...»

Филипп Кузьмич Миронов всю жизнь был верен избранному им высокому идеалу. В этой книге сделан большой шаг к пониманию мотивов одухотворенности людей, свершивших революцию и отстоявших ее в гражданской войне.

Да, придут еще книги о героях тех лет, но А. Знаменский останется пионером, стершим «белое пятно» в истории и мартирологе гражданской войны в нашей стране.

И. П. ОСАДЧИЙ, доктор исторических наук, профессор

ПРАВДА ИСТОРИИ

Двадцать с лишним лет назад, в год полувекового юбилея Советской Армии, изданная Воениздатом книга В. Душенькина «Вторая конная» породила немалое смятение не столько в умах широкого круга читателей, сколько у историков. Это было время, когда уже пошел на убыль поток книг, брошюр и статей о героях борьбы за власть Советов, за социализм, ставших жертвами беззакония во второй половине тридцатых годов. В отличие от них книга В. Душенькина, как и ранее опубликованный в «Неделе» очерк В. Гольцева «Командарм Миронов», рассказывала о командарме Второй конной армии Филиппе Кузьмиче Миронове, жизнь которого оборвалась отнюдь не в 37-м году, а в далеком 21-м, во дворе Бутырской тюрьмы.

Что было известно «до того» моему поколению историков о Ф. К. Миронове? Только то, что о нем было сказано в 4-м томе «Истории гражданской войны в СССР», изданной в 1957 году (до реабилитации Миронова). А сказано было буквально следующее:

10 сентября 1919 года корпус Буденного, направлявшийся против Мамонтова, получил задание «ликидировать

мятеж Миронова». Миронову, бывшему казачьему полковнику, перешедшему с первых дней революции на сторону Советской власти, во время борьбы с Деникиным было поручено сформировать в районе Саранска Пензенской губернии конный корпус. Но под влиянием успехов Деникина и усилившихся колебаний среди донских и кубанских казаков, которых немало было в формировавшемся корпусе, Миронов, не обладавший достаточным политическим кругозором, стал сомневаться в успехе борьбы с Деникиным. Он считал, что Советское правительство ущемляет интересы казаков, не доверяет им, умышленно задерживает формирование конного казачьего корпуса.

Миронов заявил, что он начинает борьбу на два фронта: против Деникина, который посягает на казачьи вольности, и против Советской власти, которая не доверяет казачеству. Сняв сформировавшиеся части, Миронов двинул их по направлению к фронту. В корпусе в это время насчитывалось около пяти тысяч человек, из них около двух тысяч вооруженных, в том числе около тысячи конных. Миронов стремился соединиться с частями 23-й дивизии (9-я армия), которой он до этого командовал, надеясь, что дивизия примкнет к нему и даст тем самым возможность вооружить остальную часть людей.

Кроме корпуса Буденного на ликвидацию мятежа Миронова были брошены некоторые части 1-й, 4-й и Западной армий из Казани, а также войска самарского укрепленного района, которые раньше предполагалось направить на подкрепление группы Шорина.

Мятеж Миронова был вскоре ликвидирован Конным корпусом Буденного. Участие остальных войск не потребовалось.

Сам Миронов и его сообщники были привлечены к суду и приговорены к расстрелу, но затем помилованы...» (История гражданской войны в СССР, т. 4. М., Политиздат, 1957, с. 216.)

Примерно такими же были сведения о Ф. К. Миронове и в первой книге воспоминаний С. М. Буденного — «Пройденный путь» (М., Воениздат. 1958, с. 234—245).

В том же духе оценил действия Миронова и генерал армии И. В. Тюленев в книге «Советская кавалерия в боях за Родину» (М., Воениздат, 1957, с. 76). Причем И. В. Тюленев прямо писал, что Миронов «начал борьбу против Советской власти» и потому «был объявлен вне закона».

В 1960 году вышел в свет 5-й, завершающий том «Истории гражданской войны в СССР». В нем рассказывалось и о военных действиях Второй конной, но имя командарма (а таковым был Ф. К. Миронов) даже не упоминалось.

И вот появляются очерк В. Гольцева и книга В. Душенькина, взорвавшие (точнее, основательно поколебавшие) установившуюся в истории точку зрения о Ф. К. Миронове. Фактически они обнародовали совершившийся факт: к тому времени Ф. К. Миронов уже был реабилитирован. Но что же это за реабилитация, если и сегодня трудно установить, когда, кем и на каком основании он был расстрелян?

Тем временем правда о нем все больше пробивала себе дорогу.

Из-под пера писателя Юрия Трифонова выходят повесть «Отблеск костра» и роман «Старик». В образе главного трифоновского героя читатель легко узнал командарма Второй конной. Имя его все чаще встречается в научной, учебной и мемуарной литературе, на страницах периодической печати.

И все же в застойное, брежневско-сусловское, время тема Миронова остается весьма «спорной», надолго затихает и получает широкое отражение лишь в 1984—1988 годах. Ему и Второй конной посвящаются многие страницы монографии «Советская кавалерия» (М., Воениздат, 1984), научные доклады и сообщения на конференциях историков Северного Кавказа, в публикациях В. Белякова, Г. Воскобойникова, Д. Прилепского, Н. Соколова-Соколенка и других. Последняя документальная публикация о Филиппе Кузьмиче Миронове, подготовленная Евгением Лосевым, — 10 июля 1988 года в «Советской России».

Четверть века потребовалось, чтобы вернуть из «безвременья», из сорокалетнего забвенья имя и славу, подвиги и тревоги командарма Второй конной. Но и сегодня мы все еще на пути к истине, к подлинной правде о его героико-драматической и, в конечном счете, трагической судьбе.

У многих, в том числе и у меня, как историка, рождались и оставались спорными два вопроса. Вопросы жесткие, суровые, но и закономерные.

Первый вопрос. Время гибели Ф. К. Миронова — 1921 год. В. И. Ленин еще у руководства Советским государством. Что же получается? Если ни Миронова, ни Думенко не удалось спасти, если они (да и не только они!) пали жертвами клеветы и произвола, значит, и тогда происходили незаконные репрессии над неугодными людьми? Или, точнее, партия вела борьбу с Троцким как претендентом в диктаторы, а троцкизм как явление вовсе не брался в расчет!

И второй вопрос. Почему ни в период борьбы с троцкистами (1923—1927 годы), ни после ликвидации оппозиции и выдворения ее главаря из СССР никто ни разу не припомнил Троцкому преступных действий в отношении трудового казачества и коварной расправы над героями гражданской войны — Думенко и Мироновым?

Как все это объяснить? Кому было выгодно оставлять Б. М. Думенко и Ф. К. Миронова в стане «мятежных» лиц в отношении Советской власти, фактически убрать их имена из истории борьбы за власть трудового народа, оставив лишь упоминание о них как об «анархистах» и мятежниках, выступавших с лозунгом кронштадтской и прочей мелкобуржуазной контрреволюции: «За Советы без коммунистов»?

Может быть, главная причина все же в том, что мы и сегодня по-прежнему пишем историю черно-белыми тонами, а ее следует писать, как советовали К. Маркс и Ф. Энгельс, «рембрандтовскими красками»? Ведь подлинная история не терпит мифологизации и должна быть свободна от всяких мифов как со знаком плюс, так и со знаком минус. Не найти человека, безошибочно прошедшего весь свой путь. Аксиоматичны ленинские слова: «К политике и партиям применимо — с соответственными изменениями — то, что относится к отдельным людям. Умен не тот, кто не делает ошибок. Таких людей нет и быть не может. Умен тот, кто делает ошибки не очень существенные и кто умеет легко и быстро исправлять их» (Полн. собр. соч., т. 41, с. 18).

От упоминания ошибок, допущенных человеком, сумевшим исправить их, он не станет менее значительным, не

потускнеет, не измельчает его образ, не померкнут его подвиги. Более того, он, прошедший сквозь тернии сомнений и ошибок и в конце концов нашедший путь к правде, познавший истину, предстанет перед нами еще более мужественным и значительным.

И, напротив, объективная оценка действий отрицательных личностей не снизит негодования у читателей по поводу их злонамеренных, коварных шагов.

«Сочинить, милый, можно все, — ты мне правду скажи...» — суждение, вложенное в уста одного из героев «Купины неопалимой» А. Знаменского — стратегический ориентир и в творчестве писателя. Поиск истины — для него самое главное. И следует признать, что все, что им создано, и «Красные дни» в особенности, это — путь к истине.

Как-то один из рецензентов еще в 1983 году назвал юбилейную статью об А. Знаменском (к 60-летию со дня рождения) — «Красный цвет жизни». А ведь это было задолго до выхода в свет романа «Красные дни». Не боюсь сказать, что этим, главным трудом своей жизни, писатель в полной мере отработал столь яркую оценку им прожитого и свершенного.

...Рассказывают, что, когда Михаила Шолохова упрекали в «неполноте картины революции» в «Тихом Доне», он ответил: «Я написал о том, как воевали в гражданской войне белые. А как воевали красные, об этом я не писал, об этом, видимо, напишут другие...»

Анатолий Знаменский называет свои «Красные дни» скромным комментарием к великой эпопее Михаила Шолохова. Фактически писатель создал монументальное произведение о казачестве в революции, о том казачестве, которое приняло социалистическую революцию, а в годы гражданской войны сражалось за Советскую власть, за власть трудового народа. Это и есть главный замысел писателя: отразить художественно-документальными средствами тему «как воевали красные», и прежде всего революционное казачество Дона.

А. Знаменский глубоко вспахивает целинные пласты благороднейшей темы. Он не просто отвечает на вопрос: «как воевали красные», а показывает чрезвычайно сложную, драматическую судьбу, выпавшую на долю тех, кто всем сердцем принял революцию, но не фанатично, не с закрытыми глазами, а с честолюбивым, в лучшем смысле этого слова, ревностным чувством заботы о ее высочайшем назначении, об очищении ее от всей той скверны, от всей «грязной пены», которая неизменно поднимается на поверхность штормовой революционной волной.

«Красные дни» — многоплановое произведение, написанное на одном дыхании, с большим мастерством. Его историческая основа покоится на неопровержимых документах, множество которых (так и хочется сказать: «вводится впервые в научный оборот») впервые увидели свет, после стольких десятилетий пребывания в «небытии», под недоступным грифом совершенной секретности. Документы такого свойства и содержания, само существование которых не мог предвидеть самый смелый и многоопытный историк.

Естественно, читатели будут спорить о романе А. Знаменского, да еще в наши дни, в условиях небывалой и непривычной гласности, открытости, возможности вести острую полемику, отстаивать свои взгляды, принципы, убеждения. Но в этом ведь тоже бесспорное достоинство произведения.

Чрезвычайно острым и сложным в исторической и художественной литературе остается вопрос о роли казачества в революции. Как решают историки (и не историки) этот вопрос на протяжении всей советской истории? Они, как правило, занимают диаметрально противоположные полюса в оценке казачества. Одни пытаются писать о нем как об изначально свободолюбивом, демократическом сословии с богатыми традициями освободительной борьбы. Другие подчеркивают «вандейские» свойства казачества, его военно-реакционную, полицейскую сущность.

Говорят, что истина посередине. А мое убеждение: посередине лежит проблема, решить которую историкам пока не удалось.

1 марта 1920 года в речи на 1-м Всероссийском съезде трудовых казаков В. И. Ленин высоко оценил тот факт, что трудовое казачество после долгих, мучительных колебаний в большинстве своем сделало выбор в пользу Советской власти: «И если что решило исход борьбы с Колчаком и Деникиным в нашу пользу, несмотря на то что Колчака и Деникина поддерживали великие державы, так это то, что в конце концов и крестьяне, и трудовое казачество, которые долгое время оставались потусторонниками, теперь перешли на сторону рабочих и крестьян, и только это в последнем счете решило войну и дало нам победу» (Полн. собр. соч., т. 40, с. 183).

Роман-хроника не заглушит, а, быть может, еще более обострит и обнажит спор в среде историков, в особенности об «удельном весе» казаков в революции и контрреволюции, о роли «сословного» элемента в сурово-драматических событиях гражданской войны, и даже о «мятежных душах» Ф. К. Миронова и Б. М. Думенко. Но вряд ли спорящие будут при этом сомневаться в их революционной честности, их бескорыстном служении трудовому народу, в их не антисоветском, не антиленинском «бунтарстве», а высоком, свободолюбивом, революционно-демократическом стремлении к подлинной правде и справедливости.

...Мрачной тенью по страницам романа А. Знаменского проходит «некое туманное созвездие», или фракционное скопление сторонников Льва Троцкого.

Неисчислимые беды принесла трудовому народу, и трудовому казачеству в частности, деятельность этого «созвездия», или «когорты славных», как называли себя сторонники Троцкого, не страдавшие скромностью. Сплошь и рядом они вносили склоки и путаницу в ряды красных войск, то и дело обвиняли преданных партии и народу полководцев то в «сепаратизме», то в «бонапартизме», подрывая дисциплину в войсках, порождая лихорадочную нервозность при проведении боевых операций.

А. Знаменский показывает в романе: не опасение, что казачество не пойдет за революцией, а опасение, что казачество отвергнет фарисейско-диктаторские планы Троцкого, и побудило его подручных прибегнуть к экстремистской акции «расказачивания».

Менее всего приходится говорить о главном герое «Красных дней». И «виной» тому писатель: по его словам, судьба Ф. К. Миронова стала его судьбой. Читатель убедился, что этому нельзя не верить.

А. Знаменскому не просто удалось воссоздать героико-драматическую судьбу и трагический финал Ф. К. Ми-

ронова, но показать его таким, что он, бесспорно, станет сегодня значительным и близким нынешним поколениям советских людей, станет столь же любимым и родным, каким он был в пору своего чрезвычайно беспокойного, тревожного, но неповторимо значительного буреломного времени для трудового народа...

Закончу строками из рецензии, опубликованной в местной, краснодарской газете (Советская Кубань, 1988, 27 февраля):

«А. Д. Знаменскому не просто далось столь глубокое проникновение в историю... Роман он начал писать задолго до перестройки. И только необоримая вера в ее неизбежность, грядущее торжество правды и животворной исторической идеи помогли писателю выстоять морально и физически. Он вышел победителем».

Анатолий Дмитриевич Знаменский

КРАСНЫЕ ДНИ

Роман-хроника

(Окончание)

Редактор *Г. Панкратова*

Рис. *В. Терещенко*

Художественный редактор *А. Максимов*

Технический редактор *Л. Ковнацкая*

Корректоры *Н. Замятина, Т. Сидорова*

Сдано в набор 13.10.88. Подписано в печать 29.11.88. Формат 84×108¹/₁₆. Бумага газетная. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 13,44. Усл. кр.-отт. 14,7. Уч.-изд. л. 18,61. Тираж ЧПК — 3 000 000 экз. Заказ 2728. Цена 1 р. 64 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература»

Адрес редакции: 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Трудового Красного Знамени Чеховский полиграфический комбинат ВО «Союзполиграфпром» Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 142300, Чехов Московской обл.

В «Литературной газете» от 31.03.88 было опубликовано письмо журналиста из Кишинева Л. Макарова «О некоторых тенденциях «Роман-газеты». В нем автор, в частности, пишет: «Вместо того чтобы знакомить читателя с новинками отечественной и зарубежной литературы, как говорится, «из первых рук», «Роман-газета» потчует нас произведениями, уже давно известными по журнальным публикациям или отдельным изданиям».

В нашу редакцию приходят письма, в которых читатели выражают несогласие с позицией Л. Макарова, хотят с ним поспорить. Сегодня мы публикуем один из таких характерных откликов:

«Произведения, помещенные в «Роман-газете» «вторым экраном», устраивают, по-моему, большинство подписчиков. Свидетельством того является рост тиража с 1609 тыс. в 1978 г. до 3500 тыс. в 1988 г.

Печатать не новинки, а самое лучшее — вот наше желание. А когда оно печаталось ранее, в книге или журнале — какая разница!

Важно, что все, что печатается теперь, мы читаем с интересом, ждем с нетерпением встречи с долгожданным произведением.

И еще: журнал «Роман-газета» задуман Горьким как самое недорогое издание для широких масс лучших произведений отечественной и мировой литературы.

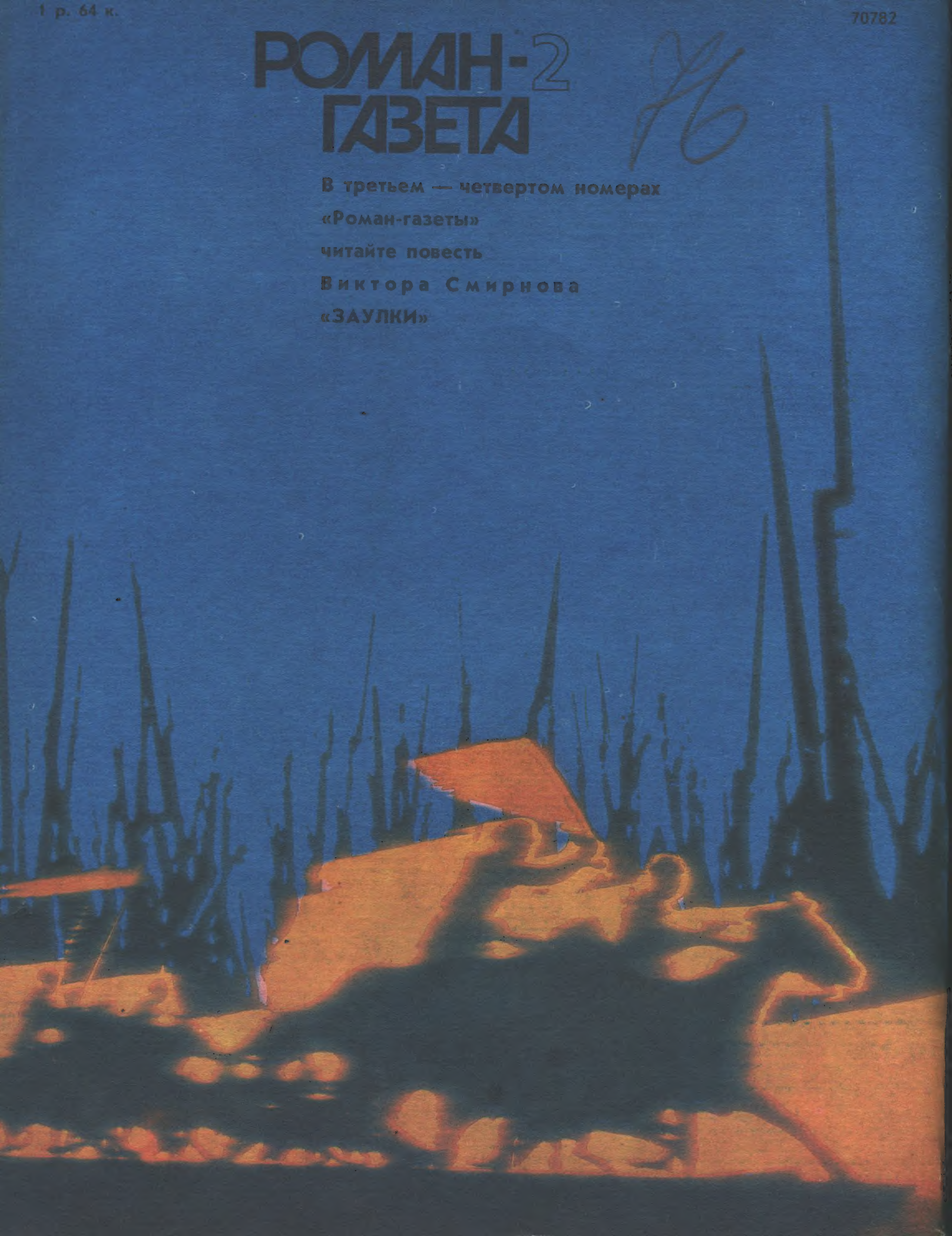
Лично я потеряю много, если «Роман-газета» изменит свое направление.

Любой толстый журнал будет для меня как бы «однобоким», а «Роман-газета» придает «равновесие».

С искренним уважением ЧЕРЕШКОВА А. Г.,
ветеран труда (г. Калинин)»

Вопрос, поставленный Л. Макаровым, на наш взгляд, выражает естественное желание большинства читателей быстрее знакомиться с новинками отечественной и зарубежной литературы, поскольку книги (прохождение рукописи в издательстве 2—3 года) выходят с опозданием, тиражи их, как правило, не удовлетворяют читательский спрос. Видимо, надо ставить вопрос о новом издании, специализирующемся на публикации новинок. А перед «Роман-газетой» со дня основания была поставлена иная задача: печатать произведения, получившие широкое признание общественности, знакомить с ними самые широкие читательские массы. И когда Л. Макаров пишет: «Запомнились... газетного формата номера с «Брусками» Панферова, «Лаптями» Замойского, первые книги «Тихого Дона», подчеркивая, что в те годы наше издание публиковало «новинки молодой советской литературы буквально «из-под пера» писателя», он не прав. Первая и вторая книги шолоховского романа прежде были опубликованы в журнале «Октябрь» (№ 1—10 за 1928 год), названные произведения Панферова и Замойского тоже предварительно печатались в журналах «Красная новь», «Крестьянский журнал», «Журнал крестьянской молодежи», газетах «Поволжская правда», «Литературная газета» и других изданиях.

Редакция «Роман-газеты»


1 р. 64 к.
70782
РОМАН-ГАЗЕТА 2
В третьем — четвертом номерах
«Роман-газеты»
читайте повесть
Виктора Смирнова
«ЗАУЛКИ»